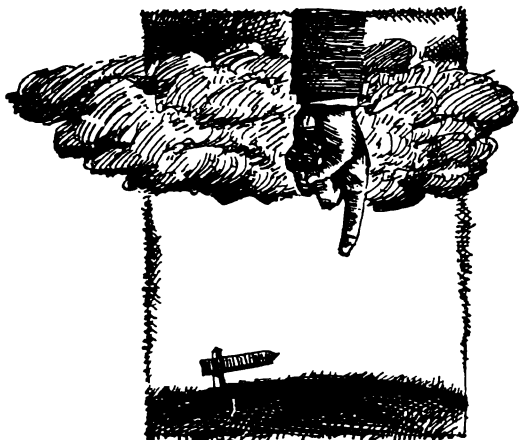


БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ





БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ

ПОВЕСТИ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990

ББК 84Р7
А 16

А 4702010201—034 136—90
078(02)—90

© **Издательство**
«Молодая
гвардия»,
1990 г.

ISBN 5-235-00857-X

СТЕНА

Повесть

Дом был огромный, кирпичный, многоэтажный, многоподъездный, дом-бастион, дом-крепость, с грязно-серыми стенами, с не слишком большими окнами и уж совсем крохотными балконами, на которых не то чтоб чаю попить летним вечерком — повернуться-то затруднительно. Его возвели в конце сороковых на месте старого кладбища, прямо на костях возвели, на бесхозных останках неизвестных гражданок и граждан, давным-давно забытых беспечной родней. Впрочем, о кладбище ведали ныне лишь старожилы дома, а их оставалось все меньше и меньше, разлетались они по новым районам столицы, разъезжались, съезжались, а то и сами тихонько отходили в иной мир, где всем все равно: стоит над тобой деревянный крест, глыба гранитная с золотой надписью либо означенный автором дом.

К слову, автор провел в том доме не вполне безоблачное детство и теперь легко припоминает: никого из жильцов ни разу не беспокоили всякие там мертвые души, всякие там тени, загробные потусторонние голоса. Пустое все это, вздорная мистика, вечерние сказки для детей младшего дошкольного возраста. Да и то сказано: **ж и т ь ж и в ы м...**



Крепостным фасадом своим дом выходил на вольготный проспект, на барский проспект, по которому носились как оглашенные вместительные казенные легковушки, в чьих блестящих черных капотах дрожало муштрованное московское солнце. Ноблес оближ, говорят вольноопытные французы, положение, значит, обьявляет... Зато во дворе дома солнце ничуть не робело, гуляло вовсю, больно жгло спины мальчишек, дотемна игравших в футбол, в пристеночек, в зоску, в «третий лишний», в «чижика», в лапту и еще в десяток хороших игр, исчезнувших, красиво выражаясь, в бездне времен. Мальчишки загорали во дворе посреди Москвы ничуть не хуже, чем в деревне, на даче или даже на знойном юге, мальчишки до куриной кожи купались в холодной Москве-реке, куда с риском для рук и ног спускались по крутому, заросшему репейником и лебедой обрыву; а летними ночами обрыв этот использовали для своих невинных забав молодые влюбленные, забредавшие сюда с далекой Пресни и близкой Дорогомиловки. Короче, чопорный и мрачно-парадный с фасада, с тыла дом был бедовым расхристанным шалопаем, да и жили в нем не большие начальники, а люди — различные, кто побогаче жил, кто победнее, кого-то, как пословица гласит, щи жидкие огорчали, а кого-то — жемчуг мелкий, разные были заботы, разные хлопоты, а если и было что общее, так только двор.

Здесь автору хочется перефразировать известное спортивное выражение и громко воскликнуть: о, двор, ты — мир! Автор рискует остаться непонятым, поскольку нынешнее, вчерашнее и даже позавчерашнее поколения мальчишек и девчонок выросли в аккуратно спланированных, доступных всем ветрам, архитектурно-элегантных кварталах, где само понятие «двор» больно режет слух, а миром стал закрытый каток для фигурных экзерсисов, или теплый бассейн, или светский тен-

нисный корт, или, на худой конец, тесная хоккейная коробка, зажатая между английской и математической спецшколами. Может, так оно и лучше, полезнее, продуктивней. А все-таки жаль, жаль...

А собственно, чего жаль? Прав поэт-современник, категорически заявивший: «Рубите вишневый сад, рубите! Он исторически обречен!»

Позже, в пятидесятых, в исторически обреченном дворе построили типовое здание школы, разбили газоны, посадили цветы и деревья, понаставили песочниц и досок-качелей, а репейную набережную Москвы-реки залили асфальтом и устроили там стоянку для личных автомобилей. Цивилизация!

В описываемое время — исход восьмидесятых годов века НТР, май, будний день, десять утра — во двор вошел молодой человек лет эдак двадцати, блондинистый, коротко стриженный, невесть где по весне загорелый, естественно — в джинсах, естественно — в кроссовках, естественно — в свободной курточке, в таком белом куртеце со множеством кармашков, заклепочек и застежек-«молний». Тысячи таких парнишек бродят по московским дневным улицам и по московским вечерним улицам, и мы не замечаем их, не обращаем на них своего занятого внимания. Привыкли.

Молодой человек вошел во двор с проспекта через длинную и холодную арку-тоннель, вошел тихо в тихий двор с шумного проспекта и остановился, оглядываясь, не исключено — пораженный как раз непривычной для столицы тишиной. Но кому было шуметь в эти рабочие часы? Некому, некому. Вон молодая мама коляску с младенчиком катит, спешит на набережную — речного овона перехватить. Вон бабулька в булочную порулила, в молочную, в бакалейную, полиэтиленовый пакет у нее

в руке, а на пакете слова иностранные, бабушке непонятные. Вон из школьных ворот вышел пай-мальчик с нотной папкой под мышкой, Брамса торопится мучить или самого Людвига Ван Бетховена, отпустили пай-мальчика с ненужной ему физкультуры. Сейчас, сейчас они разойдутся, покинут двор, и он снова станет пустым и словно бы ненастоящим, нежилым — до поры...

— Эт-то хорошо, — загадочно сказал молодой человек и сам себе улыбнулся.

Вот тут-то мы его и оставим — на время.

В таком могучем доме и жильцов, сами понимаете, — легион, никто никого толком не знает. В лучшем случае: «Здрасьте-здрасьте!», — и разошлись по норкам. Это раньше, когда дом только-только построили, тогдашние новоселы старались поближе друг с другом познакомиться: добрый дух коммунальных квартир настойчиво пробовал прижиться и в отдельных. Но всякий дух — субстанция непрочная, эфемерная, и этот, коммунальный — не исключение, выветрился он, испарился, уплыл легким туманом по индустриальной Москве-реке. Не исключено — в Оку, не исключено — в Волгу, где в прибрежных маленьких городах, как пишут в газетах, все еще остро стоят квартирные проблемы. А в нашем доме сегодня лишь отдельные отдельные граждане прилично знакомы были, ну и, конечно, пресловутые старожилы, могиране, вымирающее племя.

Старик из седьмого подъезда жил в доме с сорок девятого года, въехал сюда крепким и сильным мужчиной — с женой, понятно, и с сыном-школьником, до того — войну протрубил, потом — шоферил, до начальника автоколонны дослужился, с этой важной должно-

сти и на пенсию отправился. Сын вырос, стал строителем, инженером, в данный конкретный момент обретался в жаркой Африке, в дружественной стране, всюю помогал слаборазвитым товарищам чего-то там возводить — железобетонное. Жена старика умерла лет пять назад, хоронили на Донском, в старом крематории, старушки соседки на похороны не пошли: страшно было, сегодня — она, а завтра кто из них?..

Короче, жил старик один, жил в однокомнатной — в какую сорок лет назад въехали — квартире, сам в магазины ходил, сам себе готовил, сам стирал, сам пылесосом орудовал. Стар был.

Судя по краткому описанию, старика следует немедленно пожалеть, уронить скупую слезу на типографский текст. Однако автор панически боится мелодрамы, слез не терпит и просит воспринимать печальные факты стариковской жизни философски и не без здорового юмора. В самом деле, никто ни от чего не застрахован и, как не без иронии утверждает народная мудрость, все там будем...

Он лежал в темном алькове на узкой железной кровати с продавленной панцирной сеткой, укрытый до подбородка толстым ватным одеялом китайского производства. Старику было знобко этим майским утром, старику хотелось горячего крепкого чаю, но подниматься с кровати, шаркать протертыми тапками в кухню, греть чайник — сама мысль о том казалось старику вздорной и пугающей, прямо-таки инопланетной.

У кровати на тумбочке, заваленный дорогостоящими импортными лекарствами, стоял телефонный аппарат, пошедший вулканическими трещинами: бывало, ронял его старик по ночам, отыскивая в куче лекарств какой-нибудь сустав или адельфан. Можно было, ко-

нечно, снять трубку, накрутить номер... Чей?.. Э-э, скажем, замечательной фирмы «Заря», откуда за доступную плату пришлют деловую дамочку, студентку-заочницу — вскипятить, купить, сварить, постирать, одна нога здесь, другая — там: «Что еще нужно, дедушка!» Но старик не терпел ничьей милости, даже оплаченной по прейскуранту, старик знал, что вылежит еще десять минут, ну, еще полчасика, ну, еще час, а потом встанет, прошаркает, вскипятит, даже побриться сил хватит, медленно побриться вечным золингеновским лезвием, медленно одеться и выйти во двор, благо — лифт работает. Но все это — потом, позже, обождать, обождать...

Старик прикрыл глаза и, похоже, уснул, потому что сразу провалился в какую-то черную бездонную пустоту и во сне испугался этой пустоты, космической ее бездонности испугался — даже сердце прижало. С усилием, с натугой вырвался на свет божий и — уж не маразм ли настиг? — увидел перед собой, перед кроватью странно нерезкого человека, вроде бы в белом, вроде бы молодого, вроде бы улыбающегося.

— Кто здесь? — хрипло, чужим голосом спросил старик.

Пустота еще рядом была — не оступиться бы, не увиснуть черт-те куда — с концами.

— Вор, — сказал нерезкий, — домушник натуральный... Что ж ты, дед, квартиру не запираешь? Или коммунизм настал, а я проворонил?

Пустота отпустила, спряталась в кокон, затаилась, подлая. Комната вновь обрела привычные очертания, а нерезкий оказался молодым парнем в белой куртке. Он и впрямь улыбался, щерился в сто зубов — своих, небось не пластмассовых! — двигал «молнию» на куртке: вниз — вверх, вниз — вверх. Звук этот — зудящий, шмелиный — почему-то обозлил старика.

— Пошел вон, — грозно прикрикнул старик.

Так ему показалось, что грозно. И что прикрикнул.

— Сейчас, — хамски заявил парень, — только шнурки поглажу... — Никуда он вроде и не собирался уходить. — Болен, что ли, аксакал?

— Тебе-то что? — старик с усилием сел, натянул на худые плечи китайское одеяло.

Он уже не хотел, чтобы парень исчезал, он уже пожалел о нечаянном «Пошел вон», он уже изготовился к мимолетному разговору с неожиданным пришельцем: пусть вор, пусть домушник, а все ж живой человек. Собе-сед-ник! Да и что он тут хапнет, вор-то? Разве пен-ию? Нужна она ему, на раз выпить хватит...

— Грубый ты, дед, — с сожалением сказал парень, обросил куртку на стул и остался в синей майке-безру-кавке. — Я к тебе по-человечески, а ты с ходу в мор-ду. Нехорошо.

— Нехорошо, — легко согласился старик. Славный разговорчик завязывался, обстоятельный и поучитель-ный, вкусный такой. — Но я же тебя не звал?

— Как сказать, как поглядеть... — таинственно за-метил парень. — Слушающий да услышит... — замол-чал, принялся планомерно оглядывать квартиру, изу-чать обстановку.

Обстановка была — горе налетчикам. Два книжных шкафа с зачитанными, затертыми до потери названий томами — это старик когда-то собирал, читал, перечи-тывал, мусолил. Облезлый сервант с кое-какой пристой-ной посудой — от жены-покойницы осталась. телеви-зор «Рекорд», черно-белый, исправный. Шкаф с мутно-ватым зеркалом, а в нем, в шкафу — старик знал, — всерьез пожить-ся вряд ли чем можно. Ну, стол, ко-нечно, стулья венские, диван-кровать, на стене — фотки в рамках: сам старик, молодой еще, жена — тоже мо-лодая, круглолицая, веселая, сын-школьник, сын-сту-дент, сын-инженер — в пробковом шлеме, в шортах, сзади — пальма... Ага, вот: магнитофон с приемником японской марки «Шарп-700», вещь дорогая, в Москве

редкая, сыном и привезенная — сердечный сувенир из Африки. На тыщу небось потянет...

— Своруешь? — спросил старик.

Глаза его — когда-то голубые, а теперь выцветшие, блеклые, стеклянные — застыли выжидающе. Ничего в них не было: ни тоски, ни жадности, ни злости. Так, одно детское любопытство.

— Ты, дед, и впрямь со сна спятил, — парень вдруг взмахнул рукой перед лицом старика, тот от неожиданности моргнул, и из уголка глаза легко выкатилась жидкая слеза. — Не плачь, не вор я, не трону твоё добро. Мы здесь по другой части... — и без перехода спросил: — Есть хочешь?

— Хочу, — сказал старик.

— Тогда вставай, нашел время валяться, одиннадцатый час на дворе. Или не можешь? Обветшал?

— Почему не могу? — обиделся старик. — Могу.

Он спустил ноги с кровати, нашаркал тапочки, поднялся, держась за стену.

— Орел, — сказал парень. — Смотри не улети... Сам оденешься или помочь?

— Что я тебе, инвалид? — ворчал старик и целенаправленно двигался к стулу, где с вечера оставил одежду.

— Ты мне не инвалид, — согласился парень. — Ты мне для одного дела нужен. Я к тебе первому пришел, с тебя начал, тобой и закончу. Понял?

Старик был занят снайперской работой: целился ногой в брючину, боялся промазать. Поэтому парня он слушал вполуха и ничего не понял. Так и сообщил:

— Не понял я ничего.

— И не надо, — почему-то обрадовался парень. — Не для того говорено...

Старик наконец справился с брюками, одолел рубаху, теперь вольно ему было отвлечься от сложного процесса утреннего одевания, затаенная доселе мысль вырвалась на свободу:

— Слушай, парень, раз ты не вор, то кто? Может, слесарь?

— Если не вор, то слесарь. Логично, — одобрил мысль парень, но от прямого ответа уклонился: — А ты что, заявку в домоуправление давал? Унитаз барахлит? Краны подтекают? Это мы враз...

И немедленно умчался в ванную, любезно совмещенную с сортиром, и уже гремел там чем-то, пускал воду, чмокал в раковине резиновой прочищалкой, которая, по всей вероятности, имеет определенное название, но автор его не знает. В чем кается.

Старик, малость ошарашенный космическими скоростями гостя, постоял в раздумьях, стронулся с места, добрался до ванны, а парень-то все закончил, краны завернул, «чмокалку» под ванну закинул.

— Шабаш контора, — сказал.

— погоди, шальной, — старик не поспевал за действиями парня, а уж за мышлением его — тем более, и от того начинал чуток злиться: торопыга, мол, стрекозел сопливый, не дослушает толком, мчит, сломя голову, а куда мчит, зачем? — Я тебе о кранах слово сказал? Не сказал. В порядке у меня краны, зря крутил. У меня вон приемник барахлить начал, шумы какие-то на коротковолновом диапазоне, отстроиться никак не могу. Сумеешь, слесарь?

— На коротковолновом? Это нам семечки! — победно хохотнул парень и тут же слинял из ванной, буд-то и не было его. В одной фантастической книжке — старик помнил — подобный эффект назывался нуль-транспортировкой. Да и как иначе обозвать сей факт, если старик только на дверь глянул, а из комнаты уже доносился ернический говорок парня: — А ты, отец, жох, жох, короткие волны ему подавай... Небось вражеские голоса ловишь, а, старый? А ты «Маячок», «Маячок», он на длинных фурычит, и представь — без никакой отстройки...

— Дурак ты! — легонько ругнулся старик. — Ба-

лаболка дешевая... — опять тронулся догонять парня, даже о чае забыл — так ему гость голову заморочил. Шел по стеночке — по утрам ноги плохо слушались, слабость в них какая-то жила, будто не кровь текла по жилам, а воздух. — Вражеские голоса я слушаю, как же... Я против них, гадов, четыре года, от звонка до звонка, ста километров до Берлина не дошел... Буду я их слушать, щас, разбежался... Делать мне больше нечего...

— Извини, отец, глупо пошутил, — парень стоял у тумбочки, а на ней, на связанной женой-покойницей кружевной салфетке, чистым стереоголосом орал подарок из Африки, бодрым стереоголосом певца-лауреата сообщал о его любви к созидательному труду. — А хочешь — так, — парень чуть тронул ручку настройки, и лауреата сменил целый зарубежный ансамбль, и тоже — безо всяких шумов, без хрипа с сипом. — Или так, — и радостная дикторша обнадежила: «Сегодня в столице будет теплая погода без осадков, температура днем восемнадцать-двадцать градусов».

— Неужто починил? — изумился старик.

— Фирма веников не вяжет, — сказал парень и выключил приемник. — Еще претензии имеются?

— Вроде нет...

— А раз нет, сядем. Разговор будет, — парень уселся на венский стул верхом, как на коня, из заднего кармана джинсов достал сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его. Листок — заметил старик — весь исписан был. — Сядь, сядь, нет правды в ногах, дет ее и выше. Слушай сюда... Твоя фамилия Коновалов, так?

Точно, слесарь, подумал старик, усаживаясь на диван, иначе откуда ему фамилию знать?

— Ну, — подтвердил.

— Павел Сергеевич?

— И тут попал.

— Я тебе, Пал Сергеич, буду фамилии называть, а

ты отвечаешь: слышал о таких или не слышал. Первая: супруги Стеценко.

— Это какие же Стеценко? — призадумался старик. — Из второго подъезда, что ли? «Жигуль» у них синий, да... Этих знаю. Сам-то он где-то по торговой части, товаровед, кажется, из начальников, а жена — учительница, химию в нашей школе преподает. Моя Соня-покойница поговорить с ней любила.

— Про химию?

— Почему про химию? Про жизнь.

— Хорошие люди?

— Обыкновенные. Живут, другим не мешают... Соня как-то деньги дома забыла, а в овощном помидоры давали, так химичка ей трешку одолжила.

— Вернули?

— Трешку-то? А как же! В тот же день. Соня и сходила.

— Значит, говоришь, другим не мешают?

— Не мешают. А чего? Вон, трешку одолжили...

— Большое дело, — то ли всерьез, то ли с издевкой сказал парень и что-то пометил на листке шариковым карандашиком. — Подавший вовремя подает вдвое... Ладно, поехали дальше. Пахомов Семен, пятьдесят седьмого года рождения, Пахомова Ирина, шестьдесят первого.

Старик оживился:

— Сеньку знаю. Сеньку все знают. Я еще мать его помню, Анну Петровну, святая тетка была. Муж у нее по пьяному делу под машину попал — ну, насмерть. В шестьдесят первом вроде?.. Ага, тогда Сеньке как раз четыре стукнуло... Анна его тянула-тянула, на трех работах работала, уборщицей. А что? Тяжко, конечно, а ведь под две сотни в месяц выходило. Это теперь двести целковых — тьфу, а тогда — ба-а-льшие деньги. Сенька не хуже других одевался, ел, пил...

— Пил? — быстро спросил парень.

— Лимонад. Это потом он за крепкое взялся.

За крепкое — крепко... — старик засмеялся неожиданному каламбуру, но парень вежливо перебил:

— Короче, Пал Сергеич, время ограничено.

— У меня не ограничено, — будто бы обиделся старик, а на самом деле ничуть не обиделся: просто так огрызнулся, для проформы, чтоб не давать спуску начальному слесарю. — И у Сеньки не ограничено. Он, как выпьет, сразу во двор. И ля-ля, и ля-ля — о кем ни попадя. Известно: у пьяного язык без костей. Ирка за ним: «Сеня, пойдем домой, Сеня, пойдем домой». Где там!

— Бьет?

— Ирку-то? Этого нет. Любит ее до потери пульса. Сам говорил...

— И все знают, что пьет?

— Знают.

— И ни гу-гу?

— А чего гу-гу? Нынче он куда меньше засаживает, государство позаботилось, позакрывало шалманы-то.

— А если б не государство, так и помалкивали бы?

— Чего ж зря встревать?

— Позиция... — протянул парень и опять карандашом на бумажке черкнул. — Так. Следующий. Топорин Андрей Андреевич.

— Хороший человек, — быстро сказал старик. — Солидный. Профессор. Книги по истории пишет. Я, когда покрепче был, за их «Волгой» ухаживал: масло там, клапана, фильтры. Сейчас не могу, силы не те... А он, Андрей Андреевич, хоть и ровесник мой, а живчик, сам машину водит, лекции читает... Я вот тоже историей интересуюсь, так он мне свою книгу подарил, с надписью, — старик сделал попытку встать, добраться до книжного шкафа и предъявить парню означенный том, но парень интереса не проявил.

— На фиг мне его книга. — грубо заявил, — Сиди,

отец, не прыгай, у меня еще вопросы есть. Внука его знаешь?

— Павлика? Вежливый, здоровается всегда...

— И все?

— А что еще? Ему под двадцать, мне под восемьдесят, здоровается — и ладно.

— Ладно так ладно, — засмеялся парень, сложил листок, сунул в карман, встал. — Все. Допрос окончен. Вы свободны, свидетель Коновалов.

— погоди, стой, — старик неожиданно резко — собеседник славный, похоже, утек! — вскочил, цапнул парня за локоть. — Ты из милиции, точно!

— Ну ты, дед, даешь! — парень легко высвободил локоть. — Сначала вор, а теперь милиционер. Вот слесарь — это еще туда-сюда, давай на слесаре остановимся. И тебе понятно, и мне спокойно... А ты времени не теряй, завтракай — и во двор. Дыши кислородом, думай о возвышенном. Хочешь — об истории. Вот тебе, кстати, тема для размышлений: почему при Екатерине Второй люди ходили вверх головой? — засмеялся шутке и к выходу направился. Но вдруг притормозил, посмотрел на вконец растерянного старика. Сказал серьезно: — Да, про мелочишку забыл. Ноги у тебя болеть не станут. И сердчишко малость притихнет. Так что пользуйся, живи, не жалея себя. Себя жалеть — пустое дело. Вот других... — не закончил, открыл рывком дверь.

Старик совсем растерялся — и от царских обещаний парня, и, главное, от того, что он уходил, спешил, уж и на лестничную площадку одной ногой вторгся. Любопытный вопрос: чем бы ни задержать — лишь бы задержать! Успел вслед — жалобно так:

— Может, ты доктор?

— А что? — парню, похоже, домысел по душе пришелся. — Может, и доктор. Чиним-лечим, хвастать нечем... — и вдруг сжалился над стариком: — Не горюй,

отец, еще увидимся. Я же сказал: с тебя начал, тобой и закончу.

— Чего начал-то?

— Чего начал, того тебе знать не надо, — наставительно сказал парень. — А почему с тебя — объясню. Хороший ты человек, Пал Сергееч.

— Ну уж, — почему-то сконфузился старик, хотя и приятно была ему похвала парня. — Хотя оно конечно: жизнь прожил, зла никому не делал...

Старик вспомнил Соню-покойницу. Это ее слова, в больнице она умирала, понимала, что умирает, тогда и сказала старику: «Жизнь прожила, зла никому не делала».

— Зла не делать — это пустое. Это из серии: «Моя хата с краю», — сказал парень. — Я тебя, Пал Сергееч, хорошим потому назвал, что ты и о добре не забывал.

— Это когда же? — искренне удивился старик. — О каком добре? Ты чего несешь?

— Что несу — все мое, — хохотнул парень. — Не морочь себе голову, отец, живи, говорю, — и хлопнул дверью.

Был — и нет его. Ну, точно нуль-транспортировка!

Старик по инерции шагнул за ним — звать-то, звать его как, не спросил, дурак старый! — уперся руками в закрытую дверь и вдруг ощутил, что стоит прочно, уверенно стоит, не как давеча, когда ноги, как мягкие воздушные шарики, по полу волочились. А сейчас — как новые, не соврал парень. Притопнул даже: не болят — и все.

Время к одиннадцати подкатило, у школьников образовалась переменка — короткая, на десять минут всего. Но и десять минут — срок, если его с толком провести. В школьном дворе, отделенном от общего зеленым реечным забором, октябратская малышня гоняла в

салки, потные от обилия знаний пионеры играли в интеллектуального «жучка», похожие на стюардесс старшеклассницы в синих приталенных пиджачках чинно гуляли, решали, должно быть, проблемы любви и дружбы — любовь приятней дружбы, какие уж тут сомнения! — а их великовозрастные одноклассники, не страшась педсоветов, привычно дымили «Явой» и «Столичными». Можно сказать, изображали взрослых. Но сказать так — значит соврать, ибо они уже были взрослыми, ладно — не по уму, зато — по виду. Этикие дяденьки, по недоразумению надевшие кургузые форменные куртки.

Конечно же, автору никак не нравится, что подрастающее поколение, надежда нации, с юных лет травит себя вредным для здоровья никотином. Но как, посоветуйте, с этим бороться? Отнимать сигареты? Новые купят, карманные деньги у всех водятся. Пороть? Попробуй справишься с такими, уложи их поперек лавки! Читать лекции о вреде курения? Они такими лекциями по горло сыты, ни одну на веру не принимают, а понадобится — сами произнесут и сигареткой переложат. Демагогия — грустный знак времени... Помнится автору, отец поймал его, тринадцатилетнего, за тайным курением, скандалить не стал, а взял сыночка «на слабо», заставил его выкурить целую пачку, двадцать сигарет «Новость» подряд. Результаты были ох как печальны, не стоит о них... Но это — мера негуманная, несовременная, никак не совместима с нынешним понятием о правильном воспитании!

Так что вот вам проблема — почище любви и дружбы.

Парень вышел из подъезда, немедленно заметил курильщиков, оккупировавших лавочку возле песочницы, и подошел к ним.

— Здорово, отцы, — сказал парень, как красноармеец Сухов из любимого нашими космонавтами фильма «Белое солнце пустыни». Поскольку «отцы», как и в фильме, не ответили, а лишь окинули парня ленивыми, не без высокомерия, взглядами, он продолжил:

— Капля никотина убивает лошадь.

— А две капли — инвалидную коляску, — скучно сообщил один, самый, видать, остроумный. — Шли бы вы, товарищ, своей дорогой...

— Дорога у нас одна, — не согласился парень. — К светлому будущему. Там и встретимся, если доживете... Но я не о том. Знаете ли вы некоего Топорина Павла?

— Зачем он вам? — спросил остроумный, аккуратно гася сигарету о рифленую подошву кроссовки «Адидас».

— «Инюрколлегия» разыскивает, — доверительно сказал парень. — Такое дело: умерла его двоюродная бабушка, миллионерша и сирота. Умерла в одночасье на Бермудских островах и завещала внучатому племяннику хлопоты бубновые, пиковый интерес.

Курильщики изволили засмеяться, шутка понравилась.

— Ну, я Топорин, — сказал остроумец в кроссовках. — К дальней дороге готов.

— Не спеши, наследник, — охладил его парень. — У тебя впереди физика и сдвоенная литература. Классное сочинение на тему: «Чужого горя не бывает» — о коммунистической морали. Генеральная репетиция перед выпускными экзаменами.

И в это время над двором прокатился раскатистый электрический звон. Перемена закончилась.

— Откуда вы тему знаете? — спросил, вставая, Топорин Павел.

И приятели его с детским все-таки удивлением смотрели на залетного представителя «Иньюрколлегии».

— По пути сюда в роно забежал, — усмехнулся парень. — Иди, Павлик, учи уроки, слушайся педагогов, а в три часа жду тебя на этом месте. Чтоб как штык.

— В три у меня теннис, — растерянно сказал Павел.

Ошарашил его загадочный собеседник, смял сопротивление наглым кавалерийским наскоком, а главное — заинтриговал, зацепил т а й н о й.

— Теннис отменяется, — парень был категоричен. — Тем более что корты сегодня заняты: мастера «Спартак» проводят внеплановую тренировку. Все, — повернулся и пошел прочь, не дожидаясь новых возражений.

А их и не могло быть: звонок прозвенел вторично, а школа — не театр, третьего не давали.

А старик Коновалов тем временем съел калорийную булочку, густо намазанную сливочным маслом, запил ее крепким чаем, подобрал со стола в горстку крошки арахиса, кинул в рот, прожевал пластмассовыми надежными кусалками. Потом пошел в комнату на новых ногах, вынул из ящика серванта тетрадь в клеточку, карандаш, надел пиджак — и к выходу. Зачем ему понадобились письменные принадлежности, он не ведал. Просто подумал: а не взять ли? И взял, ноша карман не тянет.

Автор понимает, что выражение «пошел на ногах» звучит совсем не по-русски, но трудновато иначе определить механику передвижения Коновалова в пространстве: ноги и впрямь казались ему чужими, приставленными к дряхлому телу для должной устойчивости и скоростных маневров.

У Сеньки Пахомова был бюллетень. Простудился Сенька у себя на стройке, смертельно просквозило его на девятом этаже строящегося в Чертанове жилого дома, продуло злым ветром толкового каменщика Сеньку Пахомова, когда его бригада бесцельно ждала не подвезенный с утра цементный раствор. Температура вчера была чуть не до сорока градусов, мерзкий кашель рвал легкие, и не помогла пока ни лошадиная доза бисептола, прописанного районной врачихой, ни банки, жестоко поставленные на ночь женой Ирккой.

Ирка ушла на работу рано, мужа не будила, оставила ему на тумбочке у кровати таблетки, литровую кружку с кислым клюквенным морсом и веселый журнал «Крокодил» — для поднятия угасшего настроения. Да, еще записку оставила, в которой обещала отпроситься у начальницы с обеда.

Отпустит ее начальница, ждите больше, тоскливо думал Сенька, безмерно себя жалея. Решит небось вредная начальница почтового отделения, в котором трудилась Ирка, что снова запил, загулял, забалдел парнишка-парень, шалава молодой, что не домой надо Ирке спешить, не к одру смертному, а в вытрезвитель — умолять милицейских, чтоб не катили они телегу в Сенькино стройуправление.

Одно утешало Сеньку: в бригаде знали о его болезни, он с утра себя хреново почувствовал, сам бригадир ходил с ним в медпункт и лично видел раскаленный Сенькиным недугом градусник. «Лечись, Семен, — сказал ему на прощание бригадир, — нажимай на лекарства, а то, сам знаешь, конец квартала на носу».

Приближающийся конец квартала волновал Сеньку не меньше, чем бригада. Бригада тянула на переходящий выпел, пахло хорошей квартальной премией, и то, что один боец выпал из боевого строя, грозило моральными и материальными неприятностями. Вопреки мнению старика Коновалова, Сенька Пахомов любил не только пить фруктовое крепленое, но и рас-

тить кирпичную кладку, что, к слову, делал мастерски — споро и чисто. У него, если хотите знать, даже медаль была, блестящая медалька «За трудовую доблесть», полученная три года назад, когда — тут следует быть справедливым! — Сенька пил поменее. Да ведь это как поглядеть — поменее, поболее! Раньше просто было: заначил от Ирки трешку, сходил в «Гастроном» напротив, взял «фаустпатрон» и принял содержимое его на свежем воздухе, где-нибудь на Москве-реке. А теперь где этот «патрон» достать? На весь район одна точка спиртным торгует, полдня в очереди промаяться надо. А время откуда взять? От работы не оторвешь, вечером — не успеешь до семи. Только бюллетени и помогали: печень у Сеньки всерьез пошаливала, камни, что ли, в ней наблюдались. Придешь в поликлинику, поплачешься, тут тебе сразу три дня — на размышление... Правда, после таких бюллетеней печень и вправду прихватывало, но Сенька меру знал, медициной не злоупотреблял: пару аллохолин в рот — и на трудовой подвиг, план стране давать.

Ирку, конечно, жалко. Ирке эти бюллетени тяжело давались, но терпела пока, мучилась и терпела. Сенька иногда думал: неужто до сих пор любит она его? Думал так и сам себе не очень верил, смутно понимал: терпит его из-за Наденьки. Да и то сказать: получал Сенька прилично, до двухсот пятидесяти в месяц выходило. Плюс Иркины девяносто — сумма!

Квартальная премия нужна была позарез: свозить Наденьку на лето в Таганрог, к теплему морю, к Иркиным родителям.

Сенька, постанывая, выколупнул из обертки две таблетки бисептола, запил теплым морсом, стряхнул градусник и сунул его под мышку, заметив время на будильнике: тридцать пять минут первого...

И в тот же момент в дверь позвонили.

Сенька нехорошо матюкнулся, не вынимая градусника, пошел открывать: неужто кого из дружков при-

несло? Нашли время, сейчас ему только до выпивки, о ней и подумать сейчас тошно.

Пока шел до двери — искашлялся. И то дело: пусть дружки незваные знают, что Семен Пахомов не сачкует, а взаправду заболел. Но за дверь оказался не очередной алкореш, а совсем чужой, незнакомый парень в белой куртке и в джинсах, по виду — не то из управления, из месткома, не то адресом ошибся.

— Чего надо? — невежливо спросил Сенька.

— Есть дело, — таинственным шепотом сказал парень.

— Болен я, — сообщил Сенька, но заинтересованно спросил: что за парень такой? Что за дело у него? Да и не из алкашей вроде, нормальный такой парень, чистенький, ухоженный.

— Это нам не помешает, — весело заявил парень. — Это даже к лучшему. А ты не болтайся голый, дуй в постель, а дверь я замкну.

Вошел в квартиру, чуть подтолкнул вперед Сеньку, обхватил его за талию, как раненого, и повел, приговаривая:

— Сейчас мы ляжем, сейчас мы полечимся...

— Пить не буду, — твердо, как сумел, сказал Семен.

— И я не буду, — с чувством сообщил парень. — Оба не будем. Коалиция!

Семен лег обратно в постель — на правый бок, на градусник, а парень заходил по комнате от окна к Сенькиному одру, ловко, как слаломист, обходя стол и стулья.

Минутная стрелка на будильнике подползла к цифре 9.

— Вынимай, — сказал парень.

Сенька не стал удивляться тому, что парень угадал время, у Сеньки никаких лишних слов не было, чтобы чему-нибудь удивляться; он вытащил градусник, глянул на него и мрачно, с надрывом, произнес:

— Фигец котенку Машке.

— И не фигец вовсе, — не согласился парень, не глядя, однако, на градусник. — Тридцать семь и семь, нормальный простудифилис, вылечим в минуту.

— Х-ха! — не поверил Сенька и от этого «х-ха» зашелся кашлем, весь затрясся, как будто в груди у него проснулся небольших размеров вулкан.

Парень быстро положил руки Сеньке на грудь, прямо на майку, слегка надавил. Кашель неожиданно прекратился, вулкан стих, притаился. Сенька кхекнул разок для проформы, но парень строго прикрикнул:

— Цыц! — И, приподняв ладони, повел их над майкой — сантиметрах так в пяти, двигал кругами: правую ладонь — по часовой стрелке, левую — против.

Сеньке стало горячо, будто на груди лежали свежие, только из аптеки, горчичники, но горчичники жгли кожу, а жар от ладоней парня проникал внутрь, растекался там, все легкие заполнил и даже до живота добрался, хотя живот у Сеньки не болел.

Парень свел ладони прямо над сердцем, и Сенька вдруг почувствовал, что оно притормаживает, почти останавливается, и кровь останавливает бег, свертывается в жилах, и меркнет белый свет в глазах, и только жар, жар, жар — вон и одеяло, похоже, задымилось...

— Хватит... — прохрипел Сенька.

— Пожалуй, хватит, — согласился парень и убрал руки.

Сердце вновь пошло частить, но ровно и весело; жечь в груди перестало, да и болеть она перестала, руки-ноги шевелились, в носу — чистота, никаких завалов, дышать легко — жив Семен!

— Все, — подвел итоги парень. — Ты здоров как сто быков, пардон за рифму.

— А температура? — воспротивился Сенька. — Тридцать семь и семь!

— Тридцать шесть и шесть не хочешь?

— Хочу.

— Бери, — разрешил парень. — Ставь градусник, Фома неверующий. Десять минут у меня есть.

Соглашаясь с ощущениями, Сенька, человек современный, хомо, так сказать, новус, больше доверял точным приборам, не поленился снова поставить градусник, хотя и понимал, что парень не соврал.

Спросил:

— Ты экстрасенс?

Спросил больше для порядка, потому что и так ясно было: парень обладал могучим биополем и умело с ним управлялся. Почтище знаменитой Джуны.

— В некотором роде, — туманно отговорился парень.

— Нет, ты скажи, — настаивал упорный Сенька, — тайно практикуешь или при институте каком?

— Слушай, Сеня, — раздраженно сказал парень, — ты анекдот про мужика, который такси ловил, слышал?

— Это какой?

— Мужик у вокзала такси ловит. Подъезжает к нему частник, говорит: «Садись, довезу». А мужик машину оглядел, спрашивает: «Где же у тебя шашечки?» Ну, частник ему в ответ: «Тебе что, шашечки нужны или ехать?»

Сенька засмеялся.

— Ты это к чему?

— Про тебя анекдот. Много будешь знать, скоро состаришься.

— Не хочешь говорить — не надо, — Сенька был человеком понятливым, про государственные тайны читал в многочисленных отечественных детективах, пытаться парня не стал, а вынул градусник, глянул — точно, тридцать шесть и шесть. В момент температура упала!

— Иди сюда, — сказал парень.

Он стоял у окна и глядел во двор. Сенька подошел и встал рядом: хоть всего и третий этаж, а двор — как на ладони. А погода-то, погода — прямо лето!

— Завтра на работу пойду, — сообщил Сенька.

— Вряд ли, — задумчиво произнес парень. — Завтра не успеешь.

— Это почему?

— Ну, во-первых, у тебя бюллетень и врачах только послезавтра явится. Явится она, а дома никого, больной испарился. Ее действия?

— Обозлится.

— Точно. И бюллетень не закроет. В результате — прогул без оправдательного документа. Какая там статья КЗоТа?

— Я к ней сегодня схожу.

— Можешь, — кивнул парень, — но только не ста-
нешь. За добро добром платить надо. Я тебя на ноги поставил — досрочно, а ты мне помоги.

— Я-то пожалуйста, — сказал Сенька, — но ребята без меня зашиваются. Может, я тебе вечером помогу, после работы?

— Вечером тоже, Сеня. А скорей — ночью. Дел не-
впроворот, успеть бы...

— Что за дела?

— Двор видишь?

— Не слепой. Я его наизусть знаю, ночью с завязанными глазами пройду — не споткнусь.

— А надо, чтоб споткнулись, — непонятно сказал парень.

Сенька рассердился.

— Слушай, не темни, чего делать-то?

Парень посмотрел на Сеньку, будто прикинул: поймет — не поймет? Решился:

— От твоего подъезда и до двенадцатого надо построить сплошную кирпичную стену.

— Через весь двор? — Сенька даже засмеялся. — Слушай, друг, а ты самого себя лечить не пробовал?

— Я не шучу.

— Я тоже, — твердо сказал Сенька. — Ты меня вылечил — спасибо. Могу заплатить, могу какую-нибудь

халтурку сварганить. Это по-честному. А не хочешь, так и иди себе, дураков здесь нет.

— Дураков здесь навалом, — парень не обиделся, говорил спокойно и даже ласково. Как с ребенком. — Хочется, чтоб они поняли свою дурость.

— И для этого стену?

— И для этого стену... Помимо всего прочего...

Нет, парень был определенно со сдвигом по фазе. Видно, экстрасенсорные способности сильно сказываются на умственных. С такими надо осторожненько, слышал Сенька, не возражать им, во всем соглашаться. Чтоб, значит, не раздражать.

— А что прочее? — вежливо спросил Сенька.

— Прочее — не по твоей части. Ты — стену.

— В два кирпича? — Сенька был — сама предупредительность.

— Лучше в три. Прочнее.

— Можно и в три, — Сенька лихорадочно соображал, как бы отвлечь парня, добраться до телефона, накрутить 03, вызвать медицинский «график» с крепкими санитарами. — А высота какая?

— Два метра.

— Стропила понадобятся.

— Все будет.

— А кирпича сколько уйдет — тьма!

— О кирпиче не волнуйся. Сколько скажешь, столько и завезем.

— А сроки?

— Ночь. Сегодняшняя ночь.

Парень по-прежнему задумчиво смотрел в окно, и Сенька потихоньку начал отступать к телефону, бубня:

— За такой срок никак не успеть. За такой срок только и сделаем, что разметку...

— Стой! — парень резко повернулся, шагнул к Сеньке и положил ему руки на плечи. Сенька вдруг обвис, обмяк, как паяц на ниточке, а парень смотрел прямо в глаза и тихо, монотонно говорил: — Сегодня в

полночь ты выйдешь во двор и начнешь класть стену. Ты будешь ее класть и не думать о времени, ты будешь ее класть там, где она давно стоит, только ты ее не видишь, и никто не видит, а ты ее построишь, и это будет всем стенам стена. Все! — парень убрал руки, и Сенька плюхнулся на к месту подвернувшийся стул.

В голове было пусто, как после крепкого похмелья. И гудело так же. Потом откуда-то из глубины выплыла хилая мыслишка, потребовала выхода.

— А люди? А милиция? Заберут ведь...

— Не твоя забота, — высокомерно сказал парень. — Никто не заберет. Все законно, на казенных основаниях... А сейчас ляг и спи, — взял сумку, повесил через плечо. — Да, Ирке ни слова. Государственная тайна, сам знаешь. В полночь я тебя встречу. Чао!

И ушел. Дверью хлопнул.

А Сенька вдруг понял, что если не заснет немедленно, в ту же минуту, то умрет без возврата, разорвется на мелкие части — не собрать, не склеить. Плюхнулся в кровать, укрылся с головой одеялом и напроочь отключился от действительности.

Во двор въехал оранжевый самосвал КамАЗ, груженный кирпичом. Шофер, совсем молодой парнишка, притормозил, высунулся из кабины, спросил прохожего ровесника в белой куртке:

— Куда сыпать?

— Сыпь на газон, — ответил парень, — не поколется.

— Так трава ведь... — засомневался шофер.

— Трава вырастет, — уверил парень, — а кирпич нам целый нужен.

— Тоже верно, — сказал шофер, подал самосвал задом, потянул в кабине какую-то нужную рукоятку, и

красный кирпич с шумом рухнул на газон. Куча образовалась приличная.

— И так вдоль всего двора, — пояснил парень и пошел себе, не дожидаясь остальных машин.

Старик Коновалов вышел из профессорского подъезда, посмотрел на электрические часы на фронтоне школы: полпервого уже натикало. Пора бы и перекусить поплотнее, но старик Коновалов в данный текущий момент твердо знал, что не до перекусов ему, не до личных забот. Его вроде бы что-то вело, и на сей раз привело к куче кирпича, выросшей на свежем газоне. Старик Коновалов прямо по газону отмерил от нее четыре шага и встал по стойке «вольно». Здесь, точно знал он, нужно будет ссыпать кирпич со следующей машины.

Алевтина Олеговна Стеценко плотно сидела дома и проверяла тетради десятиклассников, немыслимую гору тетрадей с контрольными задачами по химии. Работа была объективно не из веселых, механическая и оттого занудная, но к завтрашнему уроку следовало подвести итоги, сообщить результаты, и Алевтина Олеговна терпеливо, хотя и не без раздражения, брала с горы тетрадку за тетрадкой, перелистывала, проглядывала, черкала где надо красной шариковой ручкой, выводила оценки. По всему выходило, что будущих химиков в школьном выпуске не ожидалось. Добралась до тетради Павлика Топорина, толкового мальчика, отличника и общественника, внимательно прошлась по цепочке формул, все же зацепила ошибку. Подумала секунду — править, не править? — не стала разрушать общую картину, вывела внизу аккуратную красную пятерку. Поторопился мальчик, проявил невнимательность, с кем не бывает, так зачем и ему и себе портить настроение перед экзаменом?..

От доброго поступка настроение улучшилось, да и гора непроверенных контрольных стала заметно ниже. Алевтина Олеговна не очень любила ставить двойки, не терпела конфликтов, никогда не стремилась вызывать в школу родителей отстающих учеников, справедливо считала: кто захочет, тот сам попросит помощи, после уроков останется. А не захочет — зачем заставлять? Главное — желание, главное — интерес, без него не то что химии не постичь — обыкновенного борща не сварить. К слову, сейчас ее гораздо больше контрольной волновал варившийся на плите в кухне борщ, любимое кушанье любимого мужа Александра Антоновича, да и всерьез занимало мысли недошитое платье, наизящнейшее платье модного стиля «новая волна» — из последней весенней «Бурды». Платье это Алевтина Олеговна шила для невестки, женщины капризной и требовательной, но шила его с удовольствием, потому что вообще любила эту работу, считала ее творческой — в отличие от преподавания химии...

Итак, Алевтина Олеговна проверяла тетради, когда в дверь кто-то позвонил. Алевтина Олеговна отложила шариковую ручку, пошла в прихожую, мимоходом оглядела себя в настенном, во весь рост, зеркале — все было в полном ажуре: и лицо, и одежда, и душа, и мысли — открыла дверь. За оной стоял приятной наружности совсем молодой человек, почти мальчик, в модной белоснежной куртке.

— Добрый день, — вежливо сказал молодой человек и слегка склонил голову, что выдавало в нем хорошее домашнее воспитание. — Я имею честь видеть Алевтину Олеговну Стеценко?

— Это я, — согласилась с непреложным Алевтина Олеговна, более всего ценившая в людях куртуазность манер. — Чем, простите, обязана?

— Ничем! — воскликнул молодой человек. — Ни-

чем вы мне не обязаны, уважаемая Алевтина Олеговна, и это я должен просить у вас прощения за приход без звонка, без предупреждения, даже без рекомендательного письма. Так что простите великодушно, но по судите сами: что мне было делать?..

Алевтина Олеговна не успела прийти в себя от напористой велеречивости, без сомнения, куртуазного незнакомца, как он уже легко втерся между ней и вешалкой, как он уже закрыл за собой дверь, подхватил Алевтину Олеговну под полную руку и повел в комнату. Заметим, в ее собственную комнату. И что характерно: все это не показалось Алевтине Олеговне нахальным или подозрительным; она с какой-то забытой легкостью поддалась властному и вкрадчивому напору обаятельнейшего юноши, может, потому поддалась, что ее уже лет десять никто не цапал за локоток, не обдавал терпким запахом заграничного одеколона «Арамис», не тащил в комнату, пусть даже, повторим, в ее собственную.

Народная поговорка гласит: в сорок пять баба — ягодка опять. Или что-то вроде... Ну-ка, сорокапятки, кому из вас не хочется ощутить себя ягодкой, а?.. Молчание — знак согласия.

Молодой человек бережно усадил Алевтину Олеговну на диван и сам сел напротив, на стул.

— Дорогая Алевтина Олеговна, — начал он свой монолог, — вы меня совсем не знаете, и вряд ли я имею право льстить себя надеждой, что вы меня когда-нибудь узнаете лучше, но разве в этом дело? Совсем необязательно съедать пресловутый пуд соли, чтобы понять человека, чтобы увидеть за всякими там це два аш пять о аш или натрий хлор то, что скрыто в глубине, что является затаенной сутью Личности — да, так, с большой буквы! — увидеть талант, всегдашней сутью

которого была, есть и будет доброта. Да, да, Алевтина Олеговна, не спорьте со мной, но талант без доброты — не талант вовсе, а лишь ремесленничество, не одухотворенное болью за делаемое и сделанное, ибо только боль, только душевная незащищенность, я бы сказал — обнаженность, движет мастерством, а вы, Алевтина Олеговна — опять не спорьте со мной! — мастер. Если хотите, от бога. Если хотите, от земли.

Тут молодой человек вскочил, пронесся мимо вконец ошарашенной потоком непонятных фраз Алевтины Олеговны, исчез из комнаты, в мгновение ока возник вновь, сел и буднично сообщил:

— Борщ я выключил, он сварен.

— Но позвольте... — начала было Алевтина Олеговна, пытаюсь выплыть на поверхность из теплого, затягивающего омута слов, пытаюсь обрести себя — серьезную, умную и рациональную учительницу химии, а не какую-нибудь дуру с обнаженной душой. С обнаженной — фи!..

Но молодой человек не дал ей выплыть.

— Не позволю, не просите. Вы — мастер, и этим все сказано. Я о том знаю, мои коллеги знают, коллеги моих коллег знают, а об остальных и речи нет.

— Какой мастер? О чем вы? — барахталась несчастная Алевтина Олеговна.

— Настоящий, — скучновато сказал молодой человек, сам, видать, утомившийся от лишних слов. Разве конкретность непременно? Мастер есть мастер. Это категория физическая, а не социальная. Если хотите, состояние материи.

— А материя — это я? — Даже в своей пугающей ошарашенности Алевтина Олеговна не потеряла, оказывается, учительской способности легко иронизировать. Вроде над собой, но на самом деле над оппонентом. — Вы, молодой человек, простите, не знаю имени, тоже мастер. Зубы заговаривать...

— Грубо, — сказал молодой человек. — Грубо и не-

женственно. Не ожидал... Хотя вы же химик, представительница точной науки! Прекрасно, конкретизируем сказанное!.. Вы могли бы украсить собой любой Дом моделей — раз. Вы могли бы стать гордостью общественного питания — два. Вы прекрасно воспитали сына — значит, в вас не умер Песталоцци — три. И поэтому вы — замечательный школьный преподаватель химии, хотя вот уже двадцать с лишним лет не хотите себе в том сознаться.

— Я плохой преподаватель, — возразила Алевтина Олеговна. — Мне скучно.

Отметим: с тремя первыми компонентами она спорить не стала.

А молодой человек и четвертому подтверждение нашел.

— Виноваты не вы, виновата школьная программа. Вот она-то скучна, суха и бездуховна. Но саму-то науку химию вы любили! Вы были первой на курсе! Вы закончили педагогический с красным дипломом! Вы преотлично ориентируетесь во всяких там кислотах, солях и щелочах, вы можете из них чудеса творить!.. — Тут молодой человек проворно соскочил со стула, стал на одно колено перед талантливым химиком Алевтиной Олеговной. — Сотворите чудо! Только одно! Но такое... — не договорил, зажмурился, представил себе ожидаемое чудо.

— Скорее встаньте, — испугалась Алевтина Олеговна. Все-таки ей уже исполнилось сорок пять, и такие порывы со стороны двадцатилетнего мальчика казались ей неприличными. — Встаньте и сядьте... Что вы придумали? Что за чудо? Поймите: я не фокусник.

Заинтересовалась, заинтересовалась серьезная Алевтина Олеговна, а ее последняя реплика — не более чем отвлекающий маневр, защитный *ложный* выпад, на который молодой человек конечно же не обратил внимания.

— Нужен дым, — деловито сообщил он. — Много дыма.

— Какой дым? — удивилась Алевтина Олеговна.

И надо сказать, чуть-чуть огорчилась, потому что в тайных глубинах души готовилась к иному *чуду*.

— Обыкновенный. Типа тумана. Смешайте там что-нибудь химическое, взболтайте, нагрейте — вам лучше знать. В цирке такой туман запросто делают.

— Вот что, молодой человек, — сердито и не без горечи заявила Алевтина Олеговна, вставая во все свои сто шестьдесят три сантиметра, — обратитесь в цирк. Там вам помогут.

— Не смогу. Во всем нашем доме нет ни одного циркового. А вы есть. И я пришел к вам, потому что вы — одна из тех немногих, на кого я могу рассчитывать сразу, без подготовки. Я ведь не случайно сказал о вашей душе...

— При чем здесь моя душа?

— При том... — молодой человек тоже поднялся и осторожно взял Алевтину Олеговну за руку. — Рано утром вы придете в школу, — он говорил монотонно, глядя прямо в глаза Алевтине Олеговне, — вы придете в школу, когда там не будет никого; ни учителей, ни учеников. Вы откроете свой кабинет, возьмете все необходимое, вы начнете свой главный опыт, самый главный в жизни. Пусть ваш туман выплывет в окна и двери, пусть он заполнит двор, пусть он вползет в подъезды, заберется во все квартиры, повиснет над спящими людьми. Вы сделаете. Вы сможете...

У Алевтины Олеговны бешено и страшно кружилась голова. Лицо молодого человека нерезко качалось перед ней, как будто она уже сотворила туман, чудеса начались с ее собственной квартиры.

— Но зачем?.. — только и смогла выговорить.

— Потом поймете, — сказал молодой человек. Взмахнул рукой, и туман вроде рассеялся, голова почти перестала кружиться. — Все, Алевтина Олеговна,

сеанс окончен. Жду вас у подъезда ровно в пять утра, — и молниеносно ретировался в прихожую, крикнув на прощание: — Мужу ни слова!

Хлопнула входная дверь. Алевтина Олеговна как стояла, так и стояла — этакой скифской каменной бабой. Глянула на письменный стол с тетрадками, потом — на обеденный с недошитым платьем. Медленно-медленно, будто в полусне, пошла в кухню — к газовой плите. А молодой человек, оказывается, не соврал: борщ и впрямь был готов.

Когда пресловутый молодой человек проходил по двору, старик Коновалов по-хозяйски принимал уже пятую машину с кирпичом. Хорошо ему было, радостно, будто вернулись счастливые деньки, когда он, солидный и авторитетный, командовал своей автоколонной, в которой, кстати, и КамАЗы тоже находились. И тетрадка, кстати, пригодилась: Коновалов в ней ездки записывал.

— Осаживай, осаживай! — кричал он шоферу. — Ближе, ближе... Сыпь!

И очередная кирпичная гора выросла на аккуратном газоне, заметно уродуя его девственно-зеленый, ухоженный вид.

Коновалов увидел парня, споро подбежал к нему — именно подбежал! — и торопливо спросил:

— Путевки шоферам подписывать?

— А как положено? — поинтересовался парень.

— Положено подписывать. И ездки считать. Они же сдельно работают...

— Подписывай, Пал Сергеич, — разрешил парень. — И считай. Но чтоб комар носа не подточил.

— Понимаю, не впервой, — и помчался к КамАЗу, откуда выглядывал шофер, тоже на удивление юный работник.

А парень дальше пошел.

Исторический профессор Андрей Андреевич Топорин в текущий момент читал лекцию студентам истфака, увлекательно рассказывал любознательным студентам о Смутном времени, крушил Шуйского и с одобрением отзывался о Годунове.

— У меня вопрос, профессор, — поднялся с места один из будущих столпов исторической науки.

— Валяйте, юноша, — поощрил его Топорин, любящий каверзные вопросы студентов и умеющий легко парировать их.

— Имеем ли мы право термин «Смутное время» толковать в ином смысле? То есть не от слова «смута» — в применении к борьбе за престол, и только к ней, а как нечто неясное, непонятное, до сих пор толком не объяснимое?

— Термин-то однозначен, — усмехнулся Топорин, прохаживаясь перед рядами столов, — термин неизбежен, как своего рода опознавательный знак его величества Истории. Но вот понятие... Обложившись словами-знаками, мы зачастую забываем истинные значения этих слов. Да, смутный — мятежный, каковым, собственно, и был доромановский период на Руси. Но вы правы, юноша: смутный — значит зыбкий, нерезкий, неясный. Если хотите, непонятный... Но тогда взглянем пошире: а что в истории человечества предельно ясно? Факты, голые факты. Был царь. Был раб. Был друг и был враг. Была война, которая продолжалась с такого-то года по такой-то. И прочее — в том же духе. А каков был этот царь? А что думал раб? И был ли друг другом, а враг врагом?.. Это уже область домыслов, а она, юноша, всегда смутна. Человеческие отношения и сегодня для нас самих полны смутности. Я уже не говорю о родной планетке — о любой семье такое сказать можно. Смута... — поднял палец к небу, будто изрек нечто исторически важное. Спыхватился. — Но все это софизм и демагогия. История — наука достаточно точная и по возможности опирается

на те самые голые факты, которые мы с вами обязаны одеть в строгие одежды не домыслов, но выводов. Мы, историки... — тут он взгляделся в задавшего вопрос студента — коротко стриженного блондина в белой спортивной куртке. — А вы, собственно, откуда, юноша? Что-то я вас не припомню...

— А я, собственно, с параллельного курса, — скромно ответил юноша. — Я, собственно, не историк даже, а скорей социолог-философ. Меня привлекла к вам гремящая слава о ваших лекциях.

— Ну, н-ну, полегче, — строго сказал Топорин, хотя упоминание о славе сладко польстило профессорскому самолюбию. — Мы с вами не на светском рауте, поберегите комплименты для женского пола... Ладно, бездельники, на сегодня закончим, — подхватил «дипломат»-чемоданчик и пошел к двери. Легко пошел, спортивно, ничем не напоминая старика Коновалова, который, как мы помним, был его ровесником. Но — теннис трижды в неделю, но — сорокаминутная зарядка плюс холодный душ по утрам, но — строгий режим питания, и вот вам наглядный результат: Коновалов — дряхлый старичок-боровичок, а профессор Топорин — пожилой спортсмен, еще привлекательный для не слишком молодых дам типа... кого?.. Ну, к примеру, типа Алевтины Олеговны.

И студенты споро потянулись на перемену. И философ-социолог тоже влился в разномастную толпу сверстников.

Давайте не станем гадать: был ли вышеупомянутый любознательный студент нашим знакомцем из опять же вышеописанного двора. Давайте не станем обращать внимания на явное совпадение примет: цвет волос, куртка, джинсы, возраст, наконец... История, как утверждал знаменитый профессор Топорин, должна опираться на голые факты.

А они таковы. Старик Коновалов запарился. Даже новые ноги гудели по-старому. Хотелось есть. А машины шли и шли, красные кирпичные курганы равномерно вздымались вдоль всего двора, старику Коновалову до чертиков надоело давать любопытным жильцам туманные объяснения по поводу массового завоза дефицитных стройматериалов. И ладно бы жильцы, а то сам домоуправ, строгий начальник, подскочил: что? зачем? кто распорядился? Старик Коновалов отговорился: мол, указание свыше, мол, в райисполкоме решили, мол, будут возводить детский городок, спортплощадку, бильярдный зал. Но домоуправ не поверил, помчался звонить в райисполком, но до сих пор не вернулся. Либо не дозвонился, либо что-то ему там путное сообщили, либо другие важные дела отвлекли.

Парень в куртке подошел к усталому старику.

— Пора шабашить, отец.

— А кирпич? — сознательная душа Коновалова воспротивилась неплановому окончанию работ.

— Без тебя справятся. Да и осталось-то с гулькинос. Пойди перекуси. Есть что в холодильнике?

— Как не быть. Слушай, а может, вместе?.. Суп есть куриный, курицу прижарим...

— Спасибо, отец, я не голоден... — парень ласково обнял старика, прижался щекой к щеке, пошептал на ухо: — А после обеда поспи. Подольше поспи, ночь предстоит трудная, рабочая ночка, — отстранился, весело засмеялся. — Не заснешь, думаешь? Заснешь как миленький. И сон тебе обещаю. Цветной и широкоформатный, как в кино.

Ирку Пахомову начальница с обеда отпустила. Ирка купила в «Гастрономе» четыре пакета шестипроцентного молока, завернула в аптеку за горчичниками и явилась домой — кормить и лечить больного супруга. Больной супруг спал, свернувшись калачиком, дышал

ровно, во сне не кашлял. Ирка попробовала губами лоб мужа, слегка удивилась: холодным лоб оказался.

Позвала тихонько:

— Сеня, проснись.

Сенька что-то проворчал неразборчиво, перевернулся на другой бок, сбил одеяло, выпростав из-под него худые волосатые ноги. Ирка одеяло поправила, легко погладила мужа по взъерошенному затылку, решила не будить. Больной спит — здоровье приходит. Эту несложную истину Ирка еще от бабушки знала, свято в нее верила. Сенька зря сомневался: Ирка любила его и по-бабьи жалела, до боли в сердце иной раз жалела, до пугающего холодка в животе, и уж конечно, не собиралась навеки бросать, уезжать с Наденькой в теплый Таганрог, к старикам родителям. А что пьет — так ведь мно-о-го меньше теперь, с прежним временем не сравнишь, а зато когда трезвый — лучше мужа и не надо: и ласковый, и работающий, и добрый. И еще — очень правилось Ирке — виноватый-виноватый...

Издавна в России считалось: жалеет — значит любит. О том, кстати, заявила в известной песне хорошая народная певица Людмила Зыкина.

А между тем время к трем подбиралось, пустой с утра двор стал куда многолюднее. Как отмечалось выше — да простится автору столь казенный оборот! — «проблема кирпича» сильно волновала жильцов, вечно ожидающих от местных властей разных сомнительных каверз. То горячее водоснабжение посреди лета поставят «на профилактический ремонт», то продовольственный магазин — «на капитальный», то затеют покраску дома в веселые колера, и они, эти колера, логично оказываются на одежде, на обуви, и, как следствие, на полу в квартирах. Веселья мало.

А тут — столько кирпича сразу!..

Старика Коновалова раскусили быстро: примазался пенсионер к мероприятию, мается от безделья, занять себя хочет. Пусть его. Но домоуправ-то, домо-вой — он все знать должен!.. Рванули к домоуправлению, а там — замок. И лаконичная табличка, писанная на пишмашинке: «Все ушли на овощную базу».

Кое-кто, конечно, в райисполком позвонил — но и там о предполагаемом строительстве ничего не слышали. Правда, обещали подъехать, разобраться.

И тогда по двору пополз слух о неких парнях в белых куртках, которые-то и заварили подозрительную кашу. То ли они из РайАПУ, то ли из Промстройглавка, то ли из Соцбытремхоза. Где истина — кто откроеет?..

А один юный пионер голословно утверждал, что рано утром на Москве-реке, в районе карандашной фабрики приземлилась небольшая летающая тарелка, из которой высадился боевой отряд инопланетян в белых форменных куртках и с походными бластерами в руках. Но заявление пионера никто всерьез не принял, потому что ранним утром пионер спал без задних ног, начитавшись на ночь вредной фантастики.

Но тут старик Коновалов, умаявшись руководить, ушел домой, грузовики с кирпичом во двор больше не заезжали, и жильцы мало-помалу успокоились, разошлись по отдельным квартирам. Известная закономерность: гражданская активность жильца прямо пропорциональна кинетике общественных неприятностей. Если возможная неприятность потенциальна, то есть ее развитие заторможено и в прямую жилцу не угрожает, то он, жилец, успокаивается и выжидает. Иными словами, активность превращается в свою противоположность.

В этом, кстати, причина многих наших бед. Надо душить неприятность в зародыше, а не ждать, пока она, спеленькая, свалится тебе на голову.

Именно в силу означенной закономерности парень в белой куртке, никем не замеченный, встретился в три часа с Павликом Топориным. А может, потому его не заметили, что он, хитрюга, снял куртку, остался в майке, а куртку свернул и под мышку устроил. Маскировка.

Но у парня, похоже, было другое объяснение.

— Парит, — поделился он метеорологическим наблюдением, садясь на скамейку рядом с Павликом. — Как бы грозы не было.

— А и будет, что страшного? — беспечно спросил Павлик.

— Гроза — это шум. А мне нужна тишина.

— Мертвая? — Павлик был в меру ироничен.

Но парень иронии не уловил или не захотел уловить.

— Не совсем, — ответил он. — Кое-какие звуки возможны и даже обязательны.

— Это какие же? — продолжал усмехаться Павлик.

— Плач, например. Стон. Крик о помощи. Проклятья. Мало ли...

— Ни фиги себе! — воскликнул Павлик. — Вы что, садист-любитель?

— Во-первых, я не садист, — спокойно разъяснил парень. — Во-вторых, не любитель, а профессионал.

— Профессионал — в чем?

— Много будешь знать — скоро состаришься, — банально ответил парень, несколько разочаровав Павлика.

И в самом деле: несомненный флер тайны, витающий над незнакомцем, гипнотическая притягательность его личности, остроумие и вольность поведения — все это сразу привлекло Павлика, заставило отменить важный теннис, а может — в дальнейшем — и кое-какие милые сердцу встречи. А тут — банальная фразочка из репертуара родного деда-профессора. Ф-фу!

Но парень быстро исправился.

— Первое правило разведчика слышал? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, огласил: — Не знать ничего лишнего, — голосом последнее слово выделил.

— Что считать лишним, сеньор Штирлиц? — Павлик позиций не сдавал, считал обязательным слегка по-калывать собеседника — кем бы он ни был.

— Все, что не относится к заданию.

— К какому заданию? К чьему?

— К моему. А какое — сейчас поймешь. Ну-ка, пройдемся, — встал и пошел вдоль школьного забора к выходу на набережную.

Павлику ничего не оставалось делать, как идти следом.

Поверьте, он никогда бы не поступил так, если б не обыкновенное юношеское любопытство. И что ж тут постыдного — удовлетворить его? Удовлетворим — и в разные стороны, никто никому ничем не обязан... Если, конечно, помянутое задание не окажется адекватным желанию самого Павлика.

Так он счел. Поэтому пошел за парнем. И ходили они вдоль по набережной минут эдак сорок.

А о чем говорили?..

Здесь автор позволяет себе применить до поры «первое правило разведчика»...

Сеньке Пахомову снился обещанный сон.

Будто сидел он, здоровый и трезвый, на жестком стуле, мертво привинченном к движущейся ленте не то эскалатора, не то какого-то специального транспортера. Движение горизонтальное, плавное, неторопливое, поступательное. Ветерок навстречу — теплый, слабый до умеренного, приятный. Как на Москве-реке утром. А справа, слева, наверху, внизу — всюду, куда взгляд достаёт! — такие же транспортерные ленты с такими же стульями, а на них — люди, люди, люди... И все двигались горизонтально, плавно, медленно и поступа-

тельно — туда же, куда и Семен. В ту же неизвестную, скрытую в сизом тумане сторону.

Где-то я читал про такую катавасию, подумалось Семену, где-то в зарубежной фантастике. Может, у Лема?..

Но не вспомнил, не отыскал затерянное в вязкой памяти худпроизведение, да и лень было напрягать мозг, совсем недавно еще подверженный высокой температуре и гриппозным бациллам; просто расслабился Семен — везут, и ладно! — ехал себе, глазел по сторонам, искал знакомых.

А вот, кстати, и знакомые!

На соседней ленте, метрах в пяти от Семена, плыла вперед строгая учителька Алевтина Олеговна, аккуратно сложила на круглых коленях пухлые руки — спина прямая, взгляд целенаправлен в туманную даль.

— Алевтина Олеговна! — радостно заорал Семен, даже со стула привстал, — это ж я, Семен Пахомов!..

Но Алевтина Олеговна не услышала его, да и сам Сенька себя не услышал, как будто и не орал он вовсе, а лишь подумал о том. Хотя — голову на закланье! — в голос вопил...

Странное какое явление, решил он задумчиво. Видать, тишина во сне стала тугой и плотной, материальной тишина стала. Как вата.

А над Алевтиной Олеговной ехал на стуле тихий пенсионер Коновалов, с которым Семену доводилось, бывало, пропустить в организм пузырек-другой, но — давно, в доуказные времена, теперь-то Коновалов спиртного в рот не берет, бережет организм... А вон и профессор Топорин Андрей Андреевич стульчик себе облюбывал, знатный, обеспеченный человек, наяву, на личной «Волге» раскатывает, а здесь — как все, здесь, так сказать, — на общественном транспорте... А там почему два стула рядом? Кому подобные привилегии? Никак Павлуха Топорин, профессорский внучек, супер-

мен и джентльмен, красавец-здоровяк, юный любимец юных дам. Сенька не раз встречал его темными вечерами то с одной прекрасной дамой, то с другой, то с пятой-десятой. И тоже помалкивает, деда не замечает, и не крикнет: мол, куда едем, дед? А может, тишина не дает?..

Сенька подставил ладонь: тишина ощутимо легла на нее, потекла между пальцами, холодила. Облизнул губы: вкус у тишины был мятный, с горчинкой, колющий — как у всесоюзно известных лечебных конфет «Холодок».

А на других лентах смирно ехали другие знакомцы Семена — милые и немилые соседи по дому, со дворики, если можно так выразиться. Вон — чета артистов-эстрадников из первого подъезда. Вон — братья-близнецы Мишка и Гришка, работяги с «Серпа и молота» — из двенадцатого. Вон — вся семья Подшиваловых, папа-писатель, мама-художница, дети-вундеркинды, дед — ветеран войны — из третьего. Вон — полковник из пятого подъезда, тоже с женой, она у него завклубом где-то работает. А дальше, дальше плыли в спокойствии чинном прочие жители родного Сенькиного дома, плыли, скрываясь в тумане, будто всех их подхватил и понес куда-то гигантский конвейер — то ли на склад готовой продукции, то ли на доработку — кому, значит, гайку довинтить, кому резьбу нарезать, кому шарики с роликами перемешать.

Интересное кино получается: все с семьями, все, как в стихах, с любимыми не расстаются, а он один, без Ирки! И Алевтина без своего благоверного. Почему такая несправедливость?

Оглянулся Сенька — вот тебе и раз! Позади, в нижнем ярусе, едут двумя осызкими голубками его Ирка и Алевтинин очкастый, сидят рядышком, хорошо еще — тишина близкому контакту мешает! Как это они вместе, они ж незнакомы?..

Хотел было Сенька возмутиться как следует, встать

с треклятого стула, прыгнуть на нижний ярус, физически разобраться в неестественной ситуации, но кто-то внутри словно бы произнес — спокойно так: не шебуршись понапрасну, Семен, не трать пока силы, пустое все это, ненастоящее, не стоящее внимания. А где стоящее, поинтересовался тогда Семен. И тот, внутри, ответил: впереди.

И успокоился Сенька во сне, перевернулся с боку на бок, ладонку под щеку удобно положил.

А туман впереди рассеивался, и стало видно, что все транспортеры стекаются к огромной площади, похожей на Манежную, стулья с лент неизвестным образом сближаются, выстраиваются в ряды, будто ожидается интересный концерт на свежем воздухе. Сенькин стул тоже съехал в соответствующий ряд, прочно встал — справа Алевтина Олеговна концерта ждет, слева — пенсионер Коновалов.

Какой же концерт в такой тишине, удивился Сенька, да и сцены никакой не видать...

Но тут впереди возник репродуктор-великан, повис над толпой на ажурной стальной конструкции, похожей на пролет моста, кто-то сказал из репродуктора мерзким фальцетом:

— Раз, два, три, четыре, пять — проверка слуха...

И после секундной паузы приятный, хотя и с некоторой хрипотцой, бас произнес непонятный текст:

— Все, что с вами произойдет, — с вами давно произошло. Все, что случится, — случилось не сегодня и не вчера. То, что строили, — строили сами, никто не помогал и никто не мешал. А не нравится — пеняйте на себя. Впрочем... — тут бас замолк, а мерзкий фальцет вставил свое, явственно подхихикивая:

— Погодите, строители, не расходитесь. Еще не все.

А пока — гимн профессии, — и пропел без всякого присутствия музыкального слуха, фальшивя и пуская петуха: — Я хожу одна, и что же тут хорошего, если нет тебя со мной, мой друг...

Но в репродукторе зашипело, зашкворчало, громко стрельнуло. Усилитель сдох, ошалело подумал Сенька.

— Прямо апокалипсис какой-то, — возмущенно сказала Алевтина Олеговна. — Я в этом фарсе участвовать не хочу.

— Выходит, можно разговаривать! — обрадовался Сенька, вскочил с места, закричал:

— Ирка, Иришка, ты где?

— А ну сядь, — одернул его за трусы старик Коновалов. — Сказано же: еще не все.

Но Сенька ждать не хотел. Он начал пробираться вдоль ряда, наступая на чьи-то ноги, опираясь на чьи-то плечи, слыша вслед ворчанье, кое-какие ругательства, в том числе и нецензурные. Но плевать ему было на отдавленные ноги, на соседей его недовольных, Сенька и наяву не слишком-то с ними церемонился — подумаешь, цацы! — а во сне и подавно внимание не обращал.

— Ирка! — орал он как оглашенный, — отзовись, где ты?

Но не отзывалась Ирка, не слышала мужа. Наверное, занес конвейер ее невесть куда — может, в бельэтаж, а может, и вовсе на галерку.

А туман опять сгустился, укрыл спящих, отделил их друг от друга. Туман буквально облепил Сенькино лицо, туман стекал холодными струйками по щекам, по шее, заплывал под майку — она вся промокла насквозь. Сенька, как пловец, разгребал туман руками, а он густел киселем, и вот уже мучительно трудно стало идти, а кричать — совсем невозможно.

— Ирка! Ирка! — Сенька выдавливал слова, и они повисали перед лицом — прихотливой туманной вязью, буквы налезали одна на другую, сплетались в узоры, а

нахальные восклицательные знаки норовили кольнуть Сеньку — и все в глаза, в глаза. Он отщелкивал восклицательные знаки пальцами, они отпрыгивали чуток — и снова в атаку.

А голос из репродуктора грохотал:

— Ищите друг друга! Прорывайтесь! Не жалейте себя! Выстроенное вами да рухнет!..

И опять фальцетик нахально влез:

— Ой, не смогут они, ой, сил не хватит, ой, обленились, болезные, привычками поросли...

— Ирка! — прохрипел Сенька.

А тот, тайный, внутри его, сказал тихонько:

— Неужто не сможешь, Сеня? А ну, рвани!

И Сенька рванул. Разодрал руками сплетенные из тугого тумана слова, нырнул в образовавшуюся брешь, судорожно вдохнул мокрой и горькой слизи, выхаркнул ее в душном приступе кашля...

И увидел свет...

И ослеп на мгновение от резкого и мощного света, но не успел испугаться, потому что сразу же услышал внутри себя удовлетворенное:

— Теперь ты совсем здоров.

Сенька поверил тайному и открыл глаза.

В комнате горела люстра, а Ирка сидела на стуле перед кроватью и плакала. Слезы текли у нее по щекам, как туман в Сенькином сне.

— Ты чего? — Сенька по-настоящему испугался, во сне не успел, а тут — сразу: уж не случилось ли что? — Почему рев?

— Сенечка.. — всхлипывала Ирка, — родной ты мой...

— Кончай причитаты! Живой я, живой.

— Да-а, живой... — ныла Ирка. — Ты меня во сне звал, так кричал страшно... Я тебя будила, тряслатрясла, а ты спишь...

— Проснулся. Все. Здоров, — Сенька сел на кровати, огляделся. — Где мои штаны?

— Какие штаны? Какие штаны? Лежи! У тебя температура.

— Нету у меня температуры. Сказал: здоров.

— Так не бывает, — слезы у Ирки высохли, и поскольку муж показывал признаки малопонятного бунта, в ее голосе появилась привычная склочность. — А ну ляг, говорю!

— Ирка, — мягко сказал Сенька, и от этой мягкости, абсолютно чуждой мужу, Ирка аж замерла, затаилась. — Ирка-Ирка, дура ты моя деревенская, ну, не спорь же ты со мной. А лучше собери что-нибудь пожевать, жрать хочу — умираю. Наденька где?

— В садике. Я ее на ночь оставила. Ты же больной...

— В последний раз оставляешь, — строго заявил Сенька. — Ребенок должен регулярно получать родительское воспитание.

Этой официальной фразой Сенька добил жену окончательно.

— Хочешь, я схожу за ней? — растерянno спросила она.

— Сегодня не надо. Сегодня я буду занят.

— Чем? — растерянность растерянностью, а семейный контролер в Ирке не дремал. — Магазины уже закрыты.

— При чем здесь магазины? — Сенька разговаривал с ней, как будто не он болен, а она, как будто у нее — высокая температура. — Некогда мне по магазинам шататься, некогда и незачем. Все, Ирка, считай — завязал.

— Ты уж тыщу раз завязывал.

— Посмотришь, — не стал спорить Сенька, взял со стула джинсы и начал натягивать их, прыгая на одной ноге.

И это нежелание доказывать свою правоту, спорить, орать, раскаляться докрасна — все это тоже было не Сенькино, чужое, пугающее.

— У тебя кто-нибудь есть? — жалобно, нелогично и невпопад, спросила Ирка.

Сенька застыл на одной ноге — такой удивленной цаплей, не удержал равновесия, плюхнулся на кровать.

Засмеялся:

— Ну, мать, ты даешь!.. Дело у меня есть, дело, понятно?

— Понятно, Сеня, — тихо сказала Ирка, хотя ничего ей понятно не было, и пошла в кухню — собирать на стол, кормить странного мужа.

А Сенька застегнул джинсы, босиком подошел к окну, прикинул расстояние от своего подъезда до двенадцатого. Получалось: стена закроет выход на набережную, превратит двор в замкнутый со всех сторон бастион. А если еще и ворота на проспект запереть...

— Почему я? — с тоской спросил Сенька. И тайный внутри ответил:

— Потому что ты смог.

— Что смог?

Но тайный на сей раз смолчал, спрятался, а Ирка из кухни крикнула:

— Ты мне?.. Все готово. Хочешь — в постель подам?

Ох, не верила она, что Сенька враз выздоровел, ох, терзалась сомнениями! И пусть бы — температура упала, бывает, но с психикой-то у мужа явно неладно...

И Сенька ее сомнений опять не опроверг.

— Вот еще, — сказал он, — будешь ты таскаться взад-вперед. Ты что, не устала, что ли? Работаешь, как клоун... Слушай, может, тебе перейти? Может, в са-

дик к Наденьке — воспитательницей? Давай прикинем... — вошел в кухню, сел за стол.

Ирка тоже села — ноги не держали. Сказала покорно:

— Давай прикинем.

Будучи в командировке в одной из восточных стран, автор не пожалел мелкой монетки для уличного гадальщика. Белый попугай-ара встряхнул хохолком, порылся клювом в деревянном расписном ящике, вытащил аккуратно сложенный листок бумаги. Гадальщик с поклоном протянул его автору:

— Ваше счастье, господин.

На листке печатными буквами значилось по-английски: «Бойтесь тумана. Он не дает увидеть лица близкого вам человека».

Когда с работы вернулся муж, Алевтина Олеговна уже вчерне сметала на руках платье для невестки, оставалось только прострочить на машинке и наложить отделку. Муж оставил портфель в прихожей, сменил туфли на домашние тапочки, вошел в комнату, привычно поцеловал Алевтину Олеговну в затылок. Как клюнул.

— Всешьшь, — сказал он, констатируя увиденное. — Из Свердловска не звонили?

— Никто не звонил, — Алевтина Олеговна отложила шитье, поставив локти на стол, подперла ладонями подбородок. Следила за мужем.

Стеценко снял пиджак, повесил его на спинку стула, распустил узел галстука, пуговку на рубаше растегнул.

— Жарко сегодня, — подошел к телевизору, ткнул кнопку.

— Не надо, — попросила Алевтина Олеговна.

— Почему? — удивился Стеценко. — Пусть гудит.

— Не надо, — повторила Алевтина Олеговна. — Там сейчас ничего интересного, а я устала. И ты устал, Саша.

— Тишина меня душит, — сообщил Стеценко, усаживаясь в кресло и укладывая ноги на пуфик. — А с чего бы ты устала, интересно? У тебя же свободный день.

— Ничего себе свободный! Одних тетрадей — гора. И платье для Симы.

— Все равно дома — не в офисе. Могла и отдохнуть, подремать...

Экран нагрелся, и на нем возник цех какого-то передового металлургического завода. Раскаленный брусок металла плыл по рольгангам, откуда-то сверху спустились железные клещи, ухватили брусок, уложили его на ровную площадку. Тут на него упала баба молота, сдавила — взлетели небольшим фейерверком огненные искры.

— Я спала, — сказала Алевтина Олеговна.

— Вот и ладушки, — обрадовался Стеценко. — И я немножко вздремну, с твоего позволения. Полчасика. Хорошо? Ты меня не трогай...

— А я сон видела, — совсем тихо добавила Алевтина Олеговна, но муж не слышал ее, он уже посапывал в кресле, а на экране телевизора герои-металлурги без устали давали стране металл.

Сон Алевтины Олеговны был неинтересен Стеценко.

Она аккуратно сложила платье для Симы, спрятала его в шкаф, туда же повесила на плечиках пиджак мужа. Подошла к книжному шкафу, открыла створку, пробежала кончиками пальцев по корешкам книг, вытащила потрепанный институтский учебник по химии, машинально, не вглядываясь, перелистала его. Прислонилась лбом к жесткой полке.

— Почему я? — с тоской спросила вслух, даже не ведая, что слово в слово повторила вопрос малознако-

мого ей Сеньки Пахомова, так загадочно возникшего рядом в ее суматошном апокалипсическом сне.

И словно бы кто-то тайный внутри ее пояснил:
— Потому что ты сможешь.

— Что смогу? — автоматически поинтересовалась Алевтина Олеговна и сама себе ответила: — Если бы смогла...

Тайный не подтвердил и не опроверг слов Алевтины Олеговны, да она и не ждала ничего, не верила в потусторонние голоса. Она села за письменный стол, вновь раскрыла старый учебник и стала искать указаний, как сделать «дым типа тумана» с помощью химических препаратов, имеющихся в наличии в школьной лаборатории.

Показалось или нет: стало темнее, вещи потеряли четкие очертания, словно несделанный ею туман тихонько проник в квартиру...

По всему выходит, что Алевтина Олеговна видела тот же сон, что и Сенька Пахомов? Может быть, может быть... Автор хочет обратить читательское внимание на то, что в описываемой истории вообще слишком много поворотов, одинаковых ситуаций и даже одинаково произнесенных реплик — разными, заметьте, людьми. Увы, это так...

А где, любопытно, наш молодой человек в белой куртке, непонятный молодой человек, невесть откуда взявшийся, невесть чего задумавший? Исчез, испарился — как возник. Фантом. Не личность — знак. Но знак — чего?..

Смутный персонаж, сказал бы профессор Топорин, употребив знакомый термин в неисторическом смысле.

— Дед, — спросил профессора внук Павлик, входя к нему в кабинет, — твои студенты интересуются, как ты к ним относишься?

— Переведи на общедоступный, — попросил профессор, зная склонность внука к ненужной метафоричности.

— Что ты думаешь о моем поколении?

— Я на институтском диспуте?

— Ты дома, дед. Оглядись: представители парткома, профкома, ректората и прессы отсутствуют. Говори, что хочешь.

— Ты считаешь, в присутствии указанных представителей я говорю не то, что хочу? Однако...

— Не так, дед. Ты всегда говоришь, что хочешь. Но в разных ситуациях желания у тебя разные. Ваше поколение отлично умеет управлять собственными желаниями.

— Это плохо?

— Это удобно. Безопасно.

— Напомню тебе не столько историческую, сколько бытовую закономерность: неуправляемые желания всегда ведут к катастрофе.

— Случается, житейские катастрофы приводят к душевному равновесию, к обретению себя как личности.

— Софизм, внук. Оправдание для труса, которого подобная катастрофа приводит, например, в монастырь.

— Демагогия, дед. Я имел в виду героя, которого подобная катастрофа приводит, например, на костер.

— Ты научился хорошо спорить.

— Твоя школа, дед. Но ты так и не ответил... Не управляй желаниями, костра не будет. Как, впрочем, и монастыря.

— Ты несправедлив, Павел. Я никогда не боялся костров.

— А что такое костер в наши дни? Общественное собрание? Заседание парткома? Приглашение «на

ковер»?.. Ты не боялся костра, потому что он тебя грел...

— Извини, Павел, но в таком стиле я не желаю продолжать разговор.

— Что ж, тоже метод — уйти от ответа.

— Ты хочешь ответа? Пожалуйста! Ваше поколение инфантильно и забаловано. Вы еще не научились строить, но уже всю рветесь крушить. Причем крушить то, что построено не вами...

— Прости, дед, перебую... Но — для нас?

— И для вас тоже.

— А если нам не нравится то, что вы построили для нас? А если мы хотим строить сами?

— Так стройте же, черт побери! Стройте, а не ломайте!

— На чем? И как?.. Вы же точно знаете, что нам любить, чем заниматься, во что верить. Чуть что не повашему, вы сразу — цап за руку: не так, детки, строите! Вот мы в ваши годы... Пстой, дай договорить... Да, вы в наши годы сами решали, как вам жить. А теперь у вас другие задачи: вы решаете, как жить нам. По-твоему, справедливо?.. Мы выросли на красивых примерах: Гайдар в девятнадцать лет командовал полком, Фрунзе в двадцать четыре — фронтом... Знаешь, сколько лет было забытому ныне Устинову, когда он стал наркомом вооружения? Тридцать два! А сегодня комсомолом руководят те, которым под сорок. Они точно знают, что нужно семнадцатилетним... Увы, дед, семнадцатилетние инфантильны только потому, что так решили вы. Решили — и точка! — Павлик встал. — Ладно, будем считать, что ты мне ответил.

Профессор смотрел в стол, в какую-то рукопись на зеленом сукне, вертел в руках очки в тонкой золотой оправе. Поднял глаза.

— И что же вы хотите разрушить? — он старался говорить спокойно, но в десятилетиями отработанной

профессорской интонации слышалось-таки раздражение. — Все, что мы построили?

— Мы не варвары, дед, — усмехнулся Павлик, — и не идиоты. И уж во всяком случае не те беззаботные пташки, за которых вы нас держите. Если мы и хотим что-то разрушить, то всего лишь стены.

— Какие стены?

— Да мало ли их понастроено!.. Стены равнодушия, недоверия друг к другу, стены вранья, фальши, лицемерия. Если хочешь, стену непонимания — хотя бы между мной и тобой.

— Павлик, — неожиданно ласково сказал Топорин, — я был прав: наивность — составная часть инфантильности.

— Значит, наличие стен ты признал, — опять усмехнулся Павлик. — Уже прогресс. Дальше — дело техники.

— Какой техники? Лома? Отбойного молотка? Чугунной бабы на стрелке экскаватора?

— Зря иронизируешь, дед. Вы такой техникой пользовались с успехом — в наши годы... — Павлик повернулся и пошел к двери. И уже закрывая ее за собой, сунул в щель голову, сказал: — Я тебя очень люблю, дед.

Профессор тоже встал и подошел к раскрытому окну, сел на подоконник — спиной к воле. Сильно зажмурил глаза, надавил на них пальцами: теннис теннисом, а зрение сдает, глаза устают, слезиться начали, даже крупный шрифт в книге без очков не виден. А сейчас и вовсе померещилось: какой-то туман в кабинете, заволок мебель, книги, вон и люстра едва проглядывается... Надо бы к врачу сходить.

Парень в белой куртке и в джинсах шел по двору. Старик Коновалов, слегка очумевший от увиденного после обеда сна, вышел подышать свежим воздухом,

стоял на пороге подъезда, ждал ночи, ждал обещанной ночной работенки. Заметил парня, бросился к нему:

— Эй, постой!..

— В чем дело? — Парень обернулся, и старик с ходу притормозил: на него смотрел Павлик Топорин, профессорский внучек.

— Извини, тезка, обознался, — сказал Коновалов. — За одного тут принял...

— Бывает, Павел Сергеевич, — засмеялся внучек. — Приняли за одного, а нас — много, — и вдруг подмигнул старику: — Все путем, Павел Сергеевич, все будет, как задумано. Чуть-чуть осталось...

И пошел себе.

А как похож, стервец, подумал Коновалов, со спины — одно лицо...

Не станем упрекать пенсионера в незнании русского языка. Ну, оговорился — с кем не бывает! Но ведь прав же, прав: похож, стервец...

— Я пойду, — сказал Сенька Пахомов. — Мне надо.

— Куда это? — вскинулась Ирка. — Ночь на дворе.

Сенька помялся — соображал: как бы соврать ловчее.

— Халтурка одна подвернулась. Денежная.

— Какая халтура ночью? Зачем ты врешь, Сенья... — Ирка отвернулась к стене, накрыв голову одеялом.

Слышно было: опять заплакала.

Сенька переступил с ноги на ногу.

— Ирка, — сказал он ласково, — хочешь верь, хочешь нет, но я тебя люблю по-страшному. И никогда тебя не предаю... А идти мне надо, честно. Я тебе потом расскажу, ладно?

Ирка не ответила, из-под одеяла не высунулась. Но плакать перестала, затихла: слов таких от мужа давно не слыхала.

Сенька пошел в прихожую, открыл стенной шкаф, достал инструмент — надежный, для себя сработанный. Прислушался: в спальне было тихо.

Все расскажу, виновато подумал Сенька, железно, расскажу. Вот построю, что надо, и сразу — Ирке...

Заметим: он уже не сомневался, что сумеет построить за ночь, все, что надо.

Алевтина Олеговна не спала. Лежала на широкой супружеской кровати, слушала, как тихонько сопит муж. Туман в комнате стал гуще, а Стеценко его и не заметил. Алевтина Олеговна, когда ложилась, спросила:

— Дымно у нас как-то, верно.

— Выдумываешь все, — ответил муж. — Давай спать, тебе завтра рано...

Он не ведал, что попал в точку, просто сказал и сказал — слова же зачем-то придуманы...

Во дворе было пусто и темно, лишь тусклые ночники освещали над дверями таблички с номерами подъездов, да у выхода на набережную ветер раскачивал подвешенный на тонких тросовых растяжках фонарь.

Парень уже ждал Сеньку, похаживал по асфальту, насвистывал что-то неуловимо знакомое — то ли из песенного репертуара любимого Иркой Валеры Леонтьева, то ли из чуждого нам мюзикла «Стена» заграничного ансамбля «Пинк Флойд».

— Тьма египетская, — поеживаясь, сказал Сенька, — хрен разметишь...

— И не надо, — сказал парень. — Ты клади кирпичики, а они сами, как надо, построятся.

— Что за бред?

— Кому бред, а кому — нет, — в рифму сообщил парень, засмеялся. — Клади-клади — увидишь.

— Что здесь увидишь? — проворчал Сенька, надел рукавицы. — А раствор где?

— Все здесь.

Сенька пригляделся: у стены дома и впрямь стоял ящик с раствором, а куча кирпича невесть когда переместилась с газона на тротуар, к Сенькиному подъезду. Сенька ткнул мастерком в ящик — свежий раствор, самое оно.

— Без подручного трудно будет. Поможешь?

— Конечно, — сказал парень, снял куртку, повесил ее на кустовую ветку тополя, велением домоуправа подстриженного «под бокс». — Все помогут.

— Кто все? Все спят...

— Кто не спит, тот и поможет, — непонятно заявил парень, тем более непонятно, что во дворе по-прежнему никого не было.

— Ну, лады, — вроде бы соглашаясь с неизбежным, протянул Сенька, взял из кучи кирпич, постучал по нему — целый! — зачерпнул раствор, шлепнул его прямо на асфальт у стены дома. Потом аккуратно уложил кирпич на растворенную лепешку, поерзал им, пристукивал сверху деревянной ручкой мастерка. — Давай следующий, не спи!

Парень проворно подал ему кирпич, Сенька снова зачерпнул, снова шлепнул, уложил, поерзал, пристукивал...

— В три ряда, говоришь?

— В три ряда.

— Годится!

Сеньку неожиданно охватило знакомое чувство азарта — как всегда, когда дело пошло и времени на него отпущено — с гулькин нос, и бригадир бубнит:

«Давай-давай!», и подручный сбивается с ног, таская ведра с раствором к месту кладки, и кирпичи целенькие в руку идут — хоть в домино ими играй! — и кладка получается ровная, прочная, раствор схватывается быстро, и ты уже не думаешь о часах, не глазеешь по сторонам, ты уже весь — в гонке, в тобой самим заданном ритме, а кладка растет, она тебе — по пояс, по грудь, а ты — дальше, дальше, ничего не слышишь, разве что прорвется откуда-нибудь пустяковый вопросик:

— Что ты делаешь, Сеня?!

Кто это?.. Вот тебе раз — Ирка! Не выдержала, дуриха, вылезла из постели, пошла среди ночи пропавшего мужа искать. А он не пропал, он — вот он!

— Строю, Ирка!

— Что?!

— Стену!

— Зачем?!

— Чтоб лучше было!

— Кому?!

— Всем, Ирка, всем! Чего стоишь? Помогай, раз пришла...

— Ты когда начал?!

Дурацкий вопрос. Будто сама не знает...

— Только что и начал!

— Как только что?! Как только что?! Ты посмотри...

Глянул: батюшки-святые, когда и успел столько?! От Сенькиного подъезда до самого Сеньки, застывшего на секунду с кирпичом в руке, было никак не меньше пятидесяти метров. И на всех этих чертовых метрах темнела стена. Мрачной громадой высилась она вдоль двора, именно высилась, поскольку была выше Сеньки сантиметров на тридцать. А он ведь — пока помоста нет — всего по грудь и клал...

— Эй, парень! — испуганно крикнул Сенька.

Тот сразу возник сбоку — запарившийся.

— Чего тебе?

— Откуда это все?

— От верблюда! — хохотнул наглый, хлопнул Сеньку по спине. — Ты, мастер, ее только сажаеть, а уж растет она сама...

— Как растет?!

— Как в сказке. Не бери в голову, Сеня, бери в руки, — и кирпич сует.

Сенька кирпич оттолкнул:

— погоди, у меня есть... Но ведь так не бывает!

— Бывает — не бывает, какая теперь разница? Есть она, Сеня, есть, и стояла здесь давно. Ты ее лишь проявил, а для этого много времени не надо: одна ночь — и вся наша. Смотри зорче...

Он взмахнул рукой, и в неверном свете дворовых ночников Сенька увидел, что с другой стороны двора, от двенадцатого подъезда, навстречу тоже растет стена, и к каждому подъезду от нее перпендикулярно уходят такие же высокие «отростки» в те же три кирпича, вползают на ступеньки, скрываются в доме.

— В дом-то зачем? Так не договаривались...

— Я же говорю: она здесь была. Она есть, Сеня, только никто раньше ее не замечал, не хотел замечать, а теперь увидят — придется! — наткнутся на нее, упрутся лбами, завоюют от страха: как дальше жить?.. Давай, мастер, работай. Закончишь — поймешь.

— Что пойму?

— Как жил. Как все живут. И как жить нельзя.

— За стеной?

— При чем за глухой. За кладбищенской.

— Выходит, и мы с Ирккой...

— Вы свою стену сегодня разрушили. Сон помнишь?

— Странный какой-то...

— Не странный, а испытательный. Не прорвался бы ты к Ирке, не разодрал бы плетенку из слов,

стояла бы у вас сегодня стена. Да она и стояла — то-
ненькая пока. Ну, может, в один кирпич.

— Во сне туман был. И слова.

— Туман еще будет. А слова — это и есть кирпичи. Лишнее слово — лишний кирпичик, стена и растет. Сколько мы их за жизнь наговариваем — лишних-то! Ложь, равнодушие, непонимание, обида, ссора — мало ли? И все слова. Кирпичик к кирпичику. Где уж тут друг к другу продрасться?

— Просто слов не бывает. Слово — дело...

— Философски мыслишь, мастер! Кончай перекур!

— Погоди... Неужто никто этого не понимает?

— Все понимают, но иначе не умеют. А кто хочет попробовать, тот сейчас здесь.

Сенька посмотрел по сторонам. Чуть светало уже, видны были часы на фронтоне школы. Половину четвертого они показывали. Сенька увидел старика Коновалова, увидел деда Подшивалова из третьего подъезда, внуков его увидел. А еще — полковника — с женой — из пятого, и близнецов Мишку и Гришку — из двенадцатого... А все же больше, куда больше было молодежи — совсем юных парней и девчонок, Сенька и не помнил всех. Хотя нет, кое-кого узнал: вон Павлик Топорин промелькнул, вон — его одноклассник, сын библиотекаря, а вон — еще ребята, тоже вроде знакомые...

— Молодых-то сколько!..

— Им эти стены — во где! — парень провел ладонью по горлу. — Устали биться.

— Значит, видят?

— Лучше всех!

— А зачем сейчас строят?

— А ты зачем?.. Чтоб все увидели.

— А потом что?

— Потом суп с котом. Люди работают, Сеня, а мы стоим. Неудобно.

— Подавай! — Сенька как очнулся, зачерпнул ра-

створ, уложил в стену кирпич, выхватил другой из рук парня. — Ирка, включайся, раз не спишь!

— А я уже, Сеня, — ответила Ирка.

Она и рукавицы где-то раздобыла, тащила, скособочившись, ведро с раствором.

Сенька обеспокоился:

— Не тяжело?

— Теперь нет, — ответила весело, поставила ведро на асфальт возле Сеньки. — Я тебе помогать буду, тебе, ладно?

— Валяй!

И пошло-поехало, стена росла и впрямь как в сказке: за одну ночь — дворец. Только на кой нам дворец? Дворец нам держава за бесплатно построила, а мы лучше — стену, мы за нее дорого заплатили — кто чем! Впрочем, о цене уже говорено, не стоит повторяться... А вместо девицы-волшебницы, ускорению темпов весьма способствующей, у нас — обыкновенный паренек в куртке, типичный представитель юного поколения, славной смены отцов и дедов, никакой не фантом, наш с вами современник — школьник, пэтэушник, студент, работага. Вон они, типичные, по двору носятся — кто с кирпичом, кто с лопатой, кто с ведром, в котором — песок, цемент или вода, три волшебных составных части сказки.

— Подноси! — кричат. — Замешивай! Клади!

Стену строим!

Столько лет всем колхозом возводили — пора бы и лбом в нее ткнуться...

Ровно в пять утра Алевтина Олеговна вышла во двор. Остановилась, глазам своим не поверила, спросила:

— Что это?

— Стену строим! — подскочил к ней давешний молодой человек.

— А стена в подъезде — тоже ваша работа?

— Почему наша? Ваша, общая.. А высоко ли она забралась?

— До второго этажа. По лестнице спускаться трудно...

— Хорошо — успели! Через час-другой стена в квартиры прорастет — не войти, не выйти.

— А зачем? Зачем?

— Для лучшей коммуникабельности, — научно ответил молодой человек, — для удобства общения... А вы спешите, спешите, уважаемая Алевтина Олеговна, нам вашего тумана ох как не хватает...

— Был уже туман.

— Вечером-то? Не туман — так, намек. Зрячие поняли, слепые не заметили. Ваш муж, например... Ведь не заметил, нет?

— Нет.

— А надо, чтоб и слепые прозрели.

— Прозреть в тумане? Парадокс!

— Это ли парадокс!.. Вы байку слышали? Безработных у нас нет, а уйма людей не работает; они не работают, а зарплату получают... Про такие парадоксы сейчас в газетах пишут, по телевизору — каждый день. А мы — без газет, мы — сами с усами. Тумана не видно? Мы его таким сотворим — никто шагу не сделает. А сделает — в стену упрется.

— Это больно, — тихо сказала Алевтина Олеговна.

Молодой человек сделался серьезным, глупое свое ерничение прекратил. Так же тихо ответил:

— Прозреть всегда больно, Алевтина Олеговна, процесс это мучительный. Но — целебный... Сказано: увидеть — значит понять. Но как увидеть? Чтобы понять, надо глубоко-о смотреть, не в лицо — в душу. А тогда и стен не будет.

— Их еще сломать надо...

— Это уж кто сумеет, кто решится. Тоже, знаете ли,

подвиг. А иные не захотят, так и жить станут — как жили.

— Как жили... — эхом откликнулась Алевтина Олеговна. Опомнилась, сказала решительно: — Я пойду.

— Идите, — кивнул ей молодой человек, — и помните: ваш туман станет катализатором. Вы только в окно его выпустите и можете быть свободной.

— Свободной? — невесело усмехнулась Алевтина Олеговна. — От чего свободной?

Молодой человек тоже усмехнулся, но — весело:

— От того, что в тумане увидите... Опять парадокс получается! Ну просто никуда без них...

Старик Коновалов кладку растил, а Павлик Топорин ему кирпичи подавал, раствор подносил. Ладно трудились.

— Хороший вы народ, мальцы, — сказал между делом Коновалов.

— Интересно, чем? — спросил Павлик.

Весь он был в цементном растворе — и майка, и джинсы, и руки, и лицо. Даже волосы слиплись — не разодрать.

— Понимающий, — со значением изрек Коновалов.

— Что же это мы понимаем?

— Что жить открыто надо. Был бы поэтом, сказал бы: распахнуто.

Павлик засмеялся.

— Говорят: распахнуто жить — опасно. Вместе с хорошим всякая дрянь залететь может.

— А голова на что? Глаза на что? Дрянь, она и есть дрянь, ее сразу видно. У тебя в доме двери — настежь, ты ее и вымети, не храни.

— Неплохая метафора, — оценил Павлик.

— Не метафора это никакая, — сердито сказал Коновалов. — Житейское дело.

— А если житейское, чего ж не выметаем? Дряни накопили...

— А ты не копи.

— Совет принял. Но для-меня что копить, что мести — все еще впереди. А сами-то вы как?

— Я, тетка, не копил. И сына тому учил, вот только...

— Не усек науку?

— Похоже на то.

— Почему?

— Понимаешь, тетка, мы в ваши годы такими же были — ну, сказано, распахнутыми. И Вовка мой, и Вовкины сверстники — тоже. Да только время — штука страшная, сопротивляться ему — большая сила нужна. Тебе сейчас сколько?

— Семнадцать.

— Немало.

— Что вы! Нас детьми считают.

— Дураки считают. Но я не к тому. За семнадцать лет сколько заборов тебе понаставили? С первых шагов: туда не ходи, этого нельзя, сюда не садись, там не стой, того не делай, сего не моги — целый лабиринт из «нельзя», мудрено выбраться. Вот ты и привык осторожничать: как бы чего не вышло...

— Не привык я!

— И молодец, вижу! А другие вон привыкают, еще и обживаются... Меня раз в школу позвали, как ветерана войны и труда: мол, расскажите, Пал Сергееч, о вашем героическом прошлом. Сидят передо мной пионерчики — чистые, глаженные. Рассказываю я им о чем-то, а сам подмечаю: они меня-то слушают, а сами нет-нет да на учительницу косятся. Та в ладоши хлопает, они — следом. Та сидит смирно — и они сидят. Дай, думаю, расшевелю, пусть посмеются. Война, она хоть и страшная гадина, а смешного тоже много было. А чего? Жизнь!.. Вспомнил я, как в сорок третьем, под Барановичами, фашист на нашу роту напал, когда мы

спали. Не ждали нападения, разведка ничего не донесла, разлеглись кто как: кто одни сапоги снял, а кто и штаны с гимнастеркой. Лето, жара. Ну, фрицы и вмазали. Ротный орет: «Тревога! В ружье!» Мы — кто в чем был — автоматы в руки и в атаку... Так, босиком да в подштанниках, фашиста и отбросили. Вот ты рыгочешь сейчас, а пионерчикам тогда тоже весело было. Они — в смех, а учительница им: «Прекратить сейчас же! Как не стыдно! Война — это героизм, это каждодневный подвиг, и ничего смешного в истории товарища Коновалова я не вижу». Понял: она не видит. Значит, и они видеть не должны. И что ты думаешь? Стихли, заскучали... Жалко мне их стало — ну, до боли. Вырастут, что про войну нашу знать будут? Что она — каждодневный подвиг? Что мы — не люди, а какие-то каменные истуканы с памятников?.. Опять я не о том... Я к чему? Эти пионерчики уже застегнуты на все пуговицы. А дальше — больше. И их застегивают, и они ручонками помогают: так, мол, надо. Кому надо? Учительнице этой, мымре?.. Меня вон батяка всего и учил! никогда не ври. Заставлять будут, а ты все одно не ври. Он сам по правде жил, да и я вроде... А тут — ты уж извини, тезка, — твоего деда назвать хочу. Может, не помнишь, давно дело было, чинил я Андрею Андреевичу его тачку, он рядом пасса. А тут ты бежишь: «Деда, деда, тебя к телефону». Ну, он и скажи, сердито так: «Я же тебя предупредил: всем говорить, что меня нет дома». Мелочь вроде, а тоже, знаешь, кирпичик...

— В стену? — Павлик молчал-молчал, слушал коноваловский монолог, а сейчас прорвался с репликой.

— В нее, родимую! Я про заборы сказал, которые мы вашему брату ставим — вот они-то в стены и вырастают. Вы — ребятки умные, уроки на лету схватываете, со временем такие стены выкладываете — только на цыпочках через них видать. Да и куда видать? Только вдаль, только в светлое будущее. А что рядом, по ту сторону стены — и на цыпочках не увидишь...

— Опять мы виноваты!.. Я ж вас так понял, что молодым стены — не помеха.

— Как не помеха? Помеха. Но фокус в том, что вы их видите, а значит, и сломать поможете. И уж, конечно, новых не строить! Но для этого, тетка, молодым надо всю жизнь оставаться. Ты оглянись кругом: разве только твои дружки дело делают? Я вот с тобой. Вон еще моих ровесников сколько! И, как говорится, среднее поколение тоже в наличии... Да и сам посуди: не одни молодые страну нашу выстроили. Страна — не стена, ее построить куда тяжелее. А ведь стоит...

— И стена стоит.

— Точно! — Коновалов любовно поглядел на стену, почти законченную уже, — ну, может, метров в пять просвет посередине остался, там Сенька Пахомов со стариком Подшиваловым в четыре руки трудились. — Вон она какая...

Стена и вправду впечатляла. Массивностью своей, аккуратностью штучной кладки, апокалиптической бессмысленностью впечатляла. Двери подъездов выходили в глухие кирпичные тупички, наглухо отрезавшие жильцов от мира. Разве что через стену — в мир, но для этого каскадерская подготовка требуется... И что характерно, с удивлением отметил Павлик, все строители оказались по одну сторону стены — как сговорились. У них-то выход имелся: на набережную и — на все четыре стороны...

— А как же в школу? — праздно поинтересовался Павлик. — Ни пройти, ни проехать.

— Школа на сегодня отменяется, — сказал Коновалов. — Считай, каникулы.

— Вряд ли. Из соседних дворов ребята придут. По набережной.

— Откуда ты знаешь: может, в соседних дворах такие же стены стоят...

— Верно! — Павлик аж поразился столь простой

догадке, почему-то миновавшей его суперумную го-лову.

И в это мгновение кто-то крикнул:

— Смотрите: пожар!

Из трех окон второго этажа школьного здания валил густой сизый дым. Вопреки здравому смыслу он не подымался к небу, не улетал к Москве-реке, сносимый ветром, — медленно и неуклонно сползал вниз, струился по земле, заполнил весь школьный двор, выплыл из ворот, из щелей в заборе, потек по асфальту к стене. Его прибывало все больше и больше; казалось, что он рождается не только в недрах школы, а конденсируется прямо из воздуха. Все во дворе стояли по пояс в дыму, и Павлик подумал, что кричавший ошибся: это был не пожар. Дым не пах гарью, он вообще не имел никакого запаха, он скорее походил на тот, который используют в своих мистификаторских фокусах падкие на внешние эффекты цирковые иллюзионисты. И еще туман — он походил на обыкновенный ночной туман, обитающий на болотах, в мокрых низинах, а иной раз и на кладбищах. Туман этот легко перевалил через стену, вполз в раскрытые настежь двери подъездов, а там — можно было догадаться! — вором проник в замочные скважины, просочился в поддверные щели, обосновался в квартирах. Вот он уже показался в форточках, в открытых окнах, но — опять же вопреки здравому смыслу! — не потек дальше, не завершил предписанный физическими законами круговорот, а повис на стене дома перед окнами — множество уродливых сизых нашлепок на крашенной веселенькой охрой стене.

Дом ослеп.

— Не хотел бы я проснуться в собственной постели, — философски заметил Павлик.

— О своих подумал?

— О деде.

— Да-а уж... — неопределенно протянул Коновалов. — Страшновато, тетка?

- Малость есть.
- А деду — вдесятеро будет. Он ведь не знает.
- Что же делать?
- Вопрос.
- Нам всем надо было быть там...
- Кроме меня, — грустно сказал Коновалов. — У меня бояться некому...

Алевтина Олеговна закрыла окна химического кабинета, в последний раз оглядела его. Все чисто, пробирки, реторты, колбы вымыты, реактивы — на своих местах, газ отключен, вода перекрыта. Можно уходить.

Тумана в кабинете совсем не было. Отводные резиновые трубки вывели его из окна — весь, без остатка.

Алевтина Олеговна заперла кабинет, спустилась по лестнице, повесила ключ на положенный ему гвоздик в шкафчике над сладко спящей сторожихой. Сторожиха почмокала во сне губами, улыбнулась чему-то. Через час она проснется, дозором пройдет по этажам, сдаст сменщице ночное дежурство и уедет домой — в другой район необъятной столицы. Там, конечно, тоже есть свои школы, а в них — Алевтина Олеговна усмехнулась — свои Алевтины Олеговны. Интересно: что они сегодня ночью делали?..

Алевтина Олеговна вышла во двор. Он был пуст, ночные строители куда-то подевались, но стена стояла по-прежнему — высокая, могучая, угрюмая, на редкость диссонирующая с солнечным утром, с весенним ветерком, с сочно-зелеными майскими кронами дворовых деревьев.

Тумана не было и во дворе. Он, похоже, целиком всосался в дом, в квартиры. А сам дом выглядел жутковато, ослепший, без привычных глазу рядов окон, вместо них — неровные куски тумана, словно приклеенные к оконным рамам и стеклам.

По двору, навстречу Алевтине Олеговне, неторопли-

вошли старик пенсионер Коновалов и знакомый молодой человек, оба выглядели, как утверждают борзые журналисты, усталыми, но довольными.

— Спасибо, Алевтина Олеговна, — сказал молодой человек. — Вы и вправду мастер. Туман вышел на славу.

— На чью славу? — невесело пошутила Алевтина Олеговна.

Она думала о муже, который еще спит и к которому теперь не пробраться — как в недавнем дурацком сне. Но выходит, что не таком уж и дурацком...

— О славе завтра подумаем, — вмешался вдруг Коновалов. — А сейчас домой надо, баньки.

— Какие баньки? Вставать пора... — констатировала Алевтина Олеговна.

Часы на школе отмерили половину седьмого.

— То-то и оно, — непонятно согласился Коновалов.

А молодой человек подтвердил:

— Вы правы, Алевтина Олеговна, самое время вставать.

И Алевтина Олеговна почувствовала вдруг, как неведомая сила подхватывает ее, поднимает над землей, закручивает, швыряет невесть куда — в туман, в неизвестность, в кромешную темноту.

Зазвонил будильник, и Алевтина Олеговна с трудом открыла глаза. Первая мысль была до зевоты банальной: где я? Но и банальные мысли имеют полное право на существование, без них в нашем повседневном житье-бытье не обойтись. В самом деле: секунду назад стояла во дворе перед стеной, а сейчас — это Алевтина Олеговна мгновенно определила! — лежит в собственной постели, причем не в костюме и туфлях, а в ночной рубашке и босиком.

Подумала: неужто опять сон?

Но нет, не сон: слишком хорошо, слишком четко по-

мнилась ей пролетевшая ночь. И как долго ждала пяти утра, и как торопливо шла по двору, как лавировала между сновавшими туда-сюда жильцами, которые дружно возводили стену, и ясно помнилась и гулкая пустота школьного здания, и сизый дым, вырывающийся в окна из толстых резиновых трубок...

Но почему ничего не видно?

Туман, созданный химическим опытом Алевтины Олеговны, по-хозяйски обосновался в ее квартире. Он был густым и на глаз плотным — как черничный кисель, но движений отнюдь не сковывал. Да и дышалось легко. Алевтина Олеговна встала и, вытянув вперед руки, пошла по комнате — ощупью, как слепая. Наткнулась на что-то, ударилась коленкой — больно. Сдержала стон, опустила руку — точно, туалетный столик. Надо левой... Двинулась вперед, нащупала спинку кровати, вцепилась в нее, как в спасительный ориентир — сейчас по нему и до спящего мужа доберется. Еще шаг, еще... Алевтина Олеговна уперлась руками во что-то холодное, массивное, неподвижное. И опустила в бессилье руки, прижалась лбом к этому холодному, пахнущему улицей, пылью, цементом — чужому.

Ничего не было сном. Кирпичная стена наглухо отделила ее от мужа, перерезала комнату, надвое разделила кровать.

Павлик проснулся сразу — будто и не спал вовсе. И сразу сообразил: конечно, не спал! Все это — не более, чем хитрый трюк хитрого парня в белой куртке. Или не его, нет! Когда он с Павликом впервые беседовал, когда они ушли на набережную, подальше от чужих глаз и ушей, когда парень поведал ему план, Павлик особенно не удивлялся. Просто сказал:

— Ну, допустим, все будет именно так. Но для этого нужен как минимум один профессиональный вол-

шебник, — вроде бы он так элегантно шутил, а вроде бы — всерьез прощупывал загадочного парня.

А тот с ходу ответил:

— Волшебник есть.

Тоже не поймешь: хохмил или взаправду...

— Ты, что ли? — спросил Павлик.

— Почему бы и нет? — вопросом на вопрос.

— Давно практикуешь?

— Может день, а может, всю жизнь.

— Как понять, маэстро?

— Так и понимай, — отрезал парень. Но сжалился над Павликом, пояснил темновато: — В каждом из нас спит волшебник, крепко спит, мы о нем и не подозреваем. Но если его разбудить... — не договорил, не пожелал.

Но Павлик не отставал:

— Кто же его разбудил, интересно?

— «Время. События. Люди». Слыхал про такую телепередачу? — парень засмеялся, легонько хлопнул Павлика по спине. — Ох и любопытен же ты, отрок!..

— Я серьезно, — упрямо настаивал Павлик.

— И я серьезно, — парень и впрямь посерьезнел. — Ты вдумайся, вдумайся! Время... События... Люди... И не захочешь, а заставят.

— Слушай, а ты сам откуда? — жалобно спросил Павлик, отчетливо понимая, что ничего больше из парня не вытянешь.

— Отовсюду, — коротко сказал парень. — Привет. Закончили интервью.

— Последний вопрос, — взмолился Павлик. — Почему именно ты?

— Почему я? — удивился парень. — С чего ты взял? Не только я. Нас много.

— Кого нас?

— Ты после школы случаем не на юрфак собрался? — ехидно поинтересовался парень. — Прямо следователь... Ну, все, я пошел.

— Секунду, — быстро сказал Павлик. — Звать тебя как?

— Звать?.. — парень притормозил. — По-разному. Николай. Михаил. Семен. Владимир. Александр... Любое имя. Павел, например.

— Павел?

— А чем плохо? Тебя ж так зовут...

— Я не волшебник.

— А вот это бабушка надвое сказала, — засмеялся парень и свернул во двор.

Надоел ему вопрос.

В свое время, если читатель помнит, автор скрыл этот разговор, сославшись на «первое правило разведчика», помянутое — или придуманное? — парнем. Спрашивается: почему? Вот вам к месту еще одно «правило»: всякая информация полезна лишь в том случае, если приходит вовремя. Момент, считает автор, наступил.

Туман в комнате висел — вытянутой руки не увидеть. Молодец Алевтина, отметил про себя Павлик, толково сработала. Что за прихоти судьбы, размышлял он, в школе Алевтину считают мыррой и сухарем, прозвали «химозой», на уроках сачковали, а она, оказывается, из наших...

Павлик верил всему, что рассказал парень. И в самом деле, стоило Павлику пожалеть, что они с дедом оказались по разные стороны стены, как нате вам, пожалуйста: он — здесь, в своей кровати, а дед дрыхнет в соседней комнате, ни о чем не подозревая. И плохо, что не подозревая: сердце у деда, как говорится, не камень, слабенькое сердчишко, изношенное, как бы он ни хорохорился, ни играл в спортсмена. Проснется старик — не дай бог, инфаркт хватит...

Павлик встал и отправился к деду в комнату.

Легко сказать — отправился! Путешествие в туман

не — дело хитрое, даже если знаешь маршрут назубок, с детства. Но туман прихотливо изменил все масштабы, смазал привычные расстояния, перемешал предметы. На пути неожиданно вырастали то сдвинутый кем-то стул, то острый косяк двери, то сама дверь, почему-то шаловливо гуляющая на петлях, то книжный стеллаж в коридоре, невесть как увеличившийся в размерах. Короче, до кабинета деда Павлик добрался, имея следующие нежелательные трофеи: шишку на лбу — раз, ссадину на руке — два, синяк на колене — три. Или что-то вроде — в тумане не разглядишь.

Сразу за стеллажом коридор сворачивал направо — к дедовским владениям. Павлик уверенно туда последовал и вдруг с ходу уперся во что-то холодное и неподвижное. Прижал к этому «что-то» сразу вспотевшие ладони, бессмысленно напряг руки, пытаясь сдвинуть, столкнуть, сломать препятствие. Куда там! Стену на совесть строили, сам Павлик и строил — в три кирпича, один к одному. Монолит!

— Дед! — яростно выкрикнул Павлик. — Дед, про-
снись!

Алевтина Олеговна, по-прежнему опасливо держась за спинку кровати, вернулась назад, к туалетному столику, пошарила в ящике, нащупала там маленький карандаш-фонарь, который муж привез из заграничной командировки. Не зажигая его, панически боясь, что сели батарейки, пошла обратно. Дойдя до стены, взгромодилась на матрас, потом — на спинку кровати. Стоять на ней босыми ногами было больно, но Алевтина Олеговна на боль не обратила внимания; плевать ей было на боль, потому что стена — как Алевтина Олеговна и надеялась — оказалась той же высоты, что и во дворе, метров двух, не больше, а значит, до мужа можно хотя бы докричаться. Невеликий росточек Алевтины Олеговны позволил ей всего лишь ткнуться носом

в верхний край стены. Алевтина Олеговна схватилась за стену левой рукой, а правую протянула на половину мужа, включила фонарик. Батарейки не сели, он светил исправно, но острый и сильный луч его упирался в плотное тело тумана и, угасая, исчезал в нем. Алевтина Олеговна швырнула фонарь на постель и — в голос:

— Саша, я здесь, не бойся, Саша!

Ирка и Сенька Пахомовы крепко спали, умаявшись за ночь. Сенька кашлянул легонько, перевернулся на другой бок, разбудил Ирку. Ирка открыла один глаз, сразу сощурила его: солнце било сквозь незакрытые шторы, как пограничный прожектор. Прикрывшись от его лучей ладошкой, Ирка глянула на будильник: семь почти. Ну и черт с ним, расслабленно подумала Ирка, не пойду на работу, а днем сбегая, подам заявление. Прав Сеня: лучше в детский сад устроиться. Тем более звали. И Наденька на глазах будет...

Тоже перевернулась на другой бок, обняла сопящего Сеньку. Спать так спать.

— Откуда стена? — расходился Топорин-старший, вдавливая в кирпичи сухие, с гречневой россыпью пятен кулаки. — Я спрашиваю, черт побери, откуда взялась стена в моей квартире? Не смей ерничать, мальчишка, сопляк, отвечай немедленно: откуда эта дрянь?

Можно было, конечно, обидеться на «сопляка», вернуться и скрыться — буквально! — в туманной дали, но Павлик понимал состояние старого деда, делал скидку на стереотип его мышления, на его, мягко говоря, возрастную зашоренность, поэтому вновь терпеливо принялся объяснять:

— Дед, я прекрасно понимаю твое волнение, но прошу тебя: соберись, успокойся, вдумайся в мои слова.

Это — не просто стена. Это — символ. Символ нашей разобщенности, нашего нежелания понять друг друга, нашей проклятой привычки жить только собственными представлениями и неумением принять чужие...

Павлик употребил эти казенные, газетные, стершиеся от многократного пользования обороты и сам себя презирал. Но и деда тоже презирал — так, самую малость. В самом деле, куда проще: между нами — стена. И все сразу понятно, что не сказано — додумай, дофантазируй. Так нет, необходимы слова, много слов, и от каждого несет мертвечиной. Господи, да кому ж это нужно, чтоб родные люди друг перед другом речи держали?! Родные!.. Не вовремя домой явился — лекция. Не ту книгу взял — лекция. Не туда и не с тем пошел — обвинительная речь. Не жизнь, а прения стон. Будто не в отдельных квартирах мы живем, а в отдельных залах суда, нападаем-обвиняем, отступаем-защищаем, казним, милуем, произносим речи обвинительные и оправдательные, ищем улики, ловим на противоречиях. А надо-то всего: намек, взгляд, брошенное вскользь слово, поступок, наконец...

Стеценко проснулся от вопля жены и спросонья ничего не понял. Кругом было белым-бело, бело непроглядно, голос жены слышался откуда-то издалека, не то из другой комнаты, не то из-под одеяла.

— Что случилось? — спросил Стеценко.

— Саша, Сашенька, — причитала жена, — ты только не пугайся, но у нас в комнате — стена.

Нет, не из кухни и не из-под одеяла шел голос, понял он, а вроде бы сверху. На шкаф она, что ли, забралась? Или на люстру?..

— Какая стена? Что за бред? Где ты, Аля?

— Я здесь, Саша, я на кровати. Протяни руку.

Стеценко протянул руку и уперся в стену.

«Сплю я и сон вижу», — нелогично подумал он.

— Это не сон, — продолжала Алевтина Олеговна, — это самая настоящая стена.

Докатались, констатировал Стеценко, уже и мысли читает.

Он ощупал стену. Стена как стена, кирпичная, крепкая. И вдруг разом пришел в себя, сердце больно ухнуло, провалилось куда-то вниз — в желудок, наверно. Стеценко ощутил пугающую пустоту в груди, вскочил на постели, зашарил по стене руками.

— Аля, Аленька, ты где?

— Здесь я, здесь, ты встань на спинку кровати.

Стеценко явственно была нервная дрожь, да и сердце по-прежнему обитало в желудке, екая там и нехорошо пульсируя. Продавливая матрац, он шагнул на постели и взгромоздился на деревянную спинку.

— Видишь фонарик? — спросила Алевтина Олеговна.

Где-то далеко — не меньше, чем в километре! — еле теплился крохотный огонек. Стеценко протянул к нему руку поверх стены, наткнулся на руку жены, цепко схватил ее, сжал, стараясь унять дрожь. Алевтина была рядом, Стеценко слышал ее прерывистое дыхание и чувствовал, как медленно возвращается спокойствие, вот и сердце вроде назад запрыгнуло. Нет, что ни говори, а жена — человек нужный!

— Что случилось, Аля? — повторил он свой первый вопрос.

Высокий рост позволял ему обеими руками навалиться на верхнюю грань стены, а были бы силы — подтянулся бы и перелез к Алевтине: до потолка — сантиметров пятьдесят, вполне можно пролезть. Но как подтянешься, если живот выпадает из трусов, тащит вниз, будто гирия...

— Сашенька, ты только не думай, что я сошла с ума, я не сошла с ума, стена-то — вот она. Она теперь всегда здесь будет.

— Ты что, серьезно? — не понимая, шутит Алевтина или нет, спросил Стеценко.

— Куда уж серьезнее! — с горечью ответила Алевтина Олеговна.

А какие события, какие драмы происходили в то утро в других квартирах дома-бастиона? Какие велись разговоры, какие прения сторон, какие истины открывались, какие спектакли разыгрывались по разные стороны стены, какие копья ломались о пресловутое кирпичное диво?.. Можно догадаться, можно представить... Можно даже вспомнить слова молодого парня в белой куртке, когда он сообщил Павлику Топорину, что обязательными станут «кое-какие звуки»: плач и стон, крики о помощи и проклятия... Ох, нагадал, наворожил, напрогнозировал, ох, получил он все это сейчас, жестокосердный...

А славная чета Пахомовых — Ирка с Сенькой — безмятежно отсыпались, и общий радостный сон их был, возможно, цветным, широкоэкранным и стереоскопическим, произведение искусства, а не сон. И солнце гуляло по их квартире как хотело, по-хозяйски заглядывало во все углы, во все щелочки, вычищенные, выдраенные аккуратной женой Ирккой.

Но вот законный вопрос. Имелись ли в доме-бастионе другие квартиры, где — ни стены, ни тумана, где — лад и согласие, где не жилплощадь общая, а жизнь, как, собственно, и должно быть на общей жилплощади? Хочется верить, что были... Да конечно же, были, к черту сомнения! Ирка, например, если б она проснулась, если б ее спросили, сразу назвала бы не только номера квартир, но и перечислила бы всех, кто в них

прописан, ибо не раз приводила в пример упрямому Сеньке тех, кто жить умеет, любить умеет, верить умеет, понимать друг друга и друг другу помогать. И пить, к слову, тоже умеет...

Последняя формулировка — Иркина. И еще многих граждан нашей обширной державы, оправдывающих таким афористичным образом свой интерес к небогатому ассортименту винных отделов. Лично автор до сих пор не понял хитрого смысла вышеуказанной формулировки, до сих пор наивно считает, что лучше не уметь. Старая, хотя и парадоксальная, истина: не умеющий плавать да не утонет...

В кухне туман был почему-то не столь густым, как в пристенных владениях, и Павлик без труда спроворил несколько бутербродов с сыром, нашарил в холодильнике две бутылки пепси-колы, погрузил все это на сервировочный столик и покатиł его к стене, используя легкую колесную мебелишку в качестве ледокола. Или, точнее, туманокола.

Столик ткнулся в стену, бутылки звякнули, дрогнули, но устояли.

— Дед, — крикнул Павлик, — кушать подано.

— Не хочу, — сказал из кабинета гордый профессор.

— Ну и зря. Твоя голодовка стены не сломает.

— А что сломает? — вроде бы незаинтересованно, вроде бы между прочим спросил Топорин.

Пока Павлик готовил туманный завтрак, у деда было время поразмыслить над ситуацией. Данный вопрос, справедливо счел Павлик, — несомненный плод этих размышлений. И не только плод, но и симптом. Симптом того, что упрямый дед, Фома неверующий, готов, как пишут в газетах, к новому раунду переговоров.

— Не курю, — сказал парень. — Не люблю.

— И правильно, — согласился Коновалов. — Чего зря легкие гробить?.. — помолчал, провожая взглядом «Надежду», уходящую под стальные пролеты виадука окружной железной дороги. Робко, собственного интереса страшась, спросил: — Слушай, паренек, как же они теперь жить станут?

— А как они жили, отец? — вопросом на вопрос ответил парень, не подозревая, что почти буквально повторил слова Павлика Топорина, сказанные им деду в ответ на такой же вопрос.

Но почему — не подозревая? Все-то он подозревал, все-то знал, все ведал — многоликий юный искуситель людских душ, хороший современный парнишка по имени Андрей, Иван, Петр, Сергей, Александр, Николай, Владимир... Или Павел, например.

— Как жили? — озадачился старик Коновалов. — По-разному жили, ни шатко ни валко. В сплошном тумане.

— Оно и видно. А надо бы по-другому.

— Потому и стена, да?

— А что стена? Была и нет... Так, символ. Предупреждение. Чтобы поняли...

— Поймут ли?..

— Поймут, отец.

— Хорошо бы... Отец сына, сын отца, жена мужа... Ах, славно!.. Жаль, сына моего нет...

— Почему нет? Вон он...

Коновалов, не веря парню, оглянулся. Из-за школьного здания на набережную вышел его сын — широкоплечий, дочерна загорелый, в шортах, в рубаше сафари, в пробковом тропическом шлеме, будто не в Москве он

обретался, а в знойной Африке, будто не на столичный асфальт ступил, а на выжженную солнцем землю саванны.

А он, кстати, там и обретался.

— Серега! — крикнул Коновалов сдавшим от волнения голосом.

— Он тебя пока не слышит, — мягко, успокаивая старика, сказал парень.

Сын Серега посмотрел по сторонам и побежал по набережной к обрыву, перепрыгнул через поросшую редкой травой узкоколейку, ведущую к старой карандашной фабрике, начал спускаться к реке по склону, оскользаясь, хватаясь за толстые лопушиные стебли. А следом за ним на набережную выкатилась шумная, пестрая разноголосая людская толпа. Старик смотрел на нее оторопело, подмечая знакомцев. Вон Сенька с Иркой, ночные строители, — бегут, цепко держась за руки. Вон близнецы Мишка и Гришка тянут за собой своих скандальных жен, а те и не скандалят вовсе, охотно бегут, даже смеются. Вон старики Подшиваловы с сыном-писателем, невесткой-художницей, внуками-вундеркиндами — тесной группкой. Вон Алевтина Олеговна, счастливая учителька, — в обнимку с толстым Стеценко. Вон полковник из пятого подъезда с женой. А вон Павлик Топорин с дедом-спортсменом, профессором-историком — эти и на бегу о чем-то спорят, руками размахивают. И остальные жильцы — за ними, через узкоколейку, по обрыву, сквозь лопухи, к реке — кто кубарем, кто на овоем задуге, проверяя крепость штанов, кто на ногах устоял, а кто и на пузе пополз. И — в воду!

Ан нет, не в воду.

Показалось Коновалову, что не река под обрывом текла, а гигантская лента транспортера, и людей на ней

было — как в часы пик в метро, не протолкнуться, и несла она их туда, куда спешил упрямый кораблик с зыбким именем, куда вел он огромную пустую баржу, на которую где-то кто-то что-то обязательно погрузит.

— Что же ты? — укорил парень. — Догоняй!

— А можно? — с надеждой на чудо, спросил Коновалов.

— Конечно, чудака-человек!

И Коновалов рванул к обрыву — торопясь, задыхаясь, ловя открытым в беззвучном крике ртом чистый утренний речной воздух.

Катерок поддал газу, пустил из выхлопных труб вредный канцерогенный дым, и тот мгновенно расплылся над рекой, загустел сизым киселем, скрыл от посторонних глаз и баржу, и сам катер, и веселых жильцов — как не было ничего.

А парень посмотрел на часы, спросил озабоченно:

— А не пора ли нам?..

И сам себе ответил:

— Конечно, пора.

И пошел себе, торопясь. В соседний дом. В соседний город. В соседний край. Далеко ему идти, долго, велика страна.

И звонили будильники, и включалось радио, и распахивались ставни, и весело пела вода в кранах. Просыпался дом, вылетали из окон ночные толковые сны, майский день наступал — новенький, умытый, сверкающий.

НЕФОРМАШКИ

Фантазмагория

Умнов легко повернул руль, плавно вписался в поворот — и сразу ветер ворвался в салон, чуть смазал по физиономии, но тут же высвистел обратно — на волю: где ему, слабому до умеренного, с быстрым Умновым тягаться!

«Хорошо, иду, — разнеженно подумал Умнов. — Мир прекрасен, времени у меня — навалом, целый отпуск, скорость — за сотню, движок фурычит как надо, есть в жизни счастье».

Подумал он так опрометчиво и немедленно был наказан.

Из придорожных кустов споро выпрыгнул на шоссе бравый партизан-гаишник, таившийся до поры в глухом секрете, взмахнул полосатой палкой, прерывая безмятежное счастье Умнова, которое, кстати, он сам и сглазил. Умнов злобно вмазал по тормозам, вырулил на обочину, слегка про себя матерясь, достал из кармана техпаспорт, права, журналистское могучее удостоверение — это на крайний случай, и вышел из машины.

Партизан тут как тут.

— Инспектор ГАИ Др-др-др, — невнятно представился он, — позвольте документики. — Но козырнул, но обаятельно улыбнулся, но сверкнул золотым красивым резцом, серебряным капитанским погоном, начищенными пуговками.

Одно слово — металлист.



— А собственно, в чем дело? — не без высокомерия, но и без хамства спросил Умнов.

— А собственно, ни в чем. Простая проверка с целью выяснения точного статистического баланса, — опять козырнул, явно довольный научной фразой.

— Выясняйте, — успокоился Умнов, поняв, что его суперскоростные маневры остались незамеченными.

Протянул права и текталон партизану, а удостоверение заначил. И впрямь: незачем им зря размахивать, не для того выдано.

Партизан-капитан по имени Др-др-др документы внимательнейшим образом изучил, вернул владельцу, спросил ласково:

— Далеко ли путь держите, Андрей Николаевич?

— На юг, — туманно объяснил Умнов. — На знойный юг, товарищ капитан. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где расцветает миндаль.

— Неблизко, — вроде бы расстроился капитан. — Ночевать где будете?

— Где бог пошлет.

— Дело-то к вечеру, — мелко и будто бы даже подобострастно засмеялся капитан, — пора бы о боге и вспомнить.

— Вспомню, вспомню. Вот проеду еще часок и вспомню.

Честно говоря, Умнов недоумевал: с чего это представитель серьезной власти таким мелким бесом рассывается? С какого это ляда он советы бесплатные раздает и в ненужные подробности вникает? Не нравилось это Умнову. Потому спросил сухо и официально:

— Могу ехать?

— В любую минуту, — уверил разлюбезный капитан. — Только один вопросик, самый последний: вы кем у нас по профессии будете?

— Журналистом я у вас буду, — сказал Умнов. — А также был и есть. Теперь все?

— Все. Счастливо вам, — и помахал Умнову своим черно-белым скипетром.

Но вот странность: садясь в машину, Умнов увидел в панорамном зеркале заднего обзора, как льстивый капитан достал карманную тайную рацию и что-то в нее быстро наговаривал, что-то интимно нашептывал, то и дело поглядывая из-под козырька фуражки на умновский «Жигуль».

«По трассе передает, сучара, — озлился Умнов. — Чтоб, значит, пасли меня, конспираторы рублевые. А вот фиг вам!»

И резко газанул с места, не пожалел сцепления — только гравием из-под колес выстрелил.

А за поворотом, за длинным и скучным тягуном, за невысоким дорожным перевалом вдруг открылся Умнову славный городок, прилепившийся к трассе, нежный такой городок — с церковными игрушечными куполами, со спичечными коробками новостроек, с мокрой зеленью садов и парков, с какой-то положенной ему промышленностью в виде черных труб и серых дымов, открылся он опешившему Умнову в недалеком далеке, километрах эдак в пяти, видный как на ладошке, закатным солнцем подсвеченный, будто нарисованный на теплом лаке папехскими веселыми мастерами.

Что за наваждение, банально подумал Умнов, притормаживая на подозрительно пустом шоссе и доставая из дверного кармана надежный «Атлас автомобильных дорог СССР». Отыскал нужную страницу, нашел на плане проезжее место. Впору и лоб перекрестить, нечистого отогнать: не было на плане никакого подходящего городка. Было большое село Колесное — его Умнов полчаса назад миновал. Было село поменьше с обидным названием Папертники — до него еще километров двенадцать пилить. А между ними — пустота, простор, русское поле, а если и есть что-то жилое, так столь ма-

лое, ничтожное, что «Атлас» им пренебрег... Новый город, не успели внести его в картографические анналы? Да нет, вздор, города — не грибы, растут куда медленнее, да и «Атлас» — свежий, только-только изданный, Умнов его как раз перед отпуском приобрел.

Так что же это такое, позвольте спросить?

Мистика, легко решил Умнов, поскольку городок — вот он, милейший, а «все врут календари» — о том еще классик писал. Да и кому, как не Умнову, сорокалетнему газетному волку, о «календарном» вранье знать? Ошибся художник, отвлекся наборщик, у редактора сын трудно в институт поступал, у корректора зуб мудрости ломило — теперь только читатели ошибку и словят. А читатели у нас — народ боевой, грамотный, к эпистолярному жанру весьма склонный, за ними не заржавеет. Ждите писем, как говорится...

Пять километров — пустое дело для «Жигуля». Умнов их за три минуты одолел.

Городок назывался Краснокитежск, о чем Умнов прочитал на красивой бетонной стеле, установленной на городской границе заботливыми отцами славного Краснокитежска. А возле нее прямо на шоссе, а также на обочинах, на прибитой пылью траве, на том самом русском поле, означенном в «Атласе» и усеянном не то клевером, не то гречихой, не то просто полезной муравой, шумела, колыхалась, волновалась пестрая толпа. Строем стояли чистенькие пионеры в белых рубашках и глаженных галстуках, вооруженные толстыми букетами ромашек и дютиков. Замер в строгом каре духовой оркестр — все в черных смокингах, груди зажаты крахмальными пластронами, на воротнички присели легкие бабочки, солнце гуляло в зеркальных боках геликонов, валторн, тромбонов и флюгель-горнов, медное солнце в

медных боках. Радостные жители Краснокитежска, празднично одетые, ситцевые, льняные, джинсовые, нейлоново-радужные, коттоново-пастельные, приветственно махали — вот бред-то, господи спаси! — Умнову и кричали что-то лирично-эпическое, неразличимое, впрочем, за шумом мотора. А впереди всех, отдельной могучей кучкой попирали землю начальственного вида люди — в строгих костюмах серых тонов, при галстуках, а кое-кто и в шляпах, несмотря на июльскую дневную жару.

Волей-неволей Умнов — в который уж раз за последние минуты! — затормозил, заглушил двигатель, неуверенно вылез из машины. И в ту же секунду оркестр грянул могучий туш, скоро и плавно перетекший в грустный вальс «Амурские волны», толпа горожан нестройно грянула «Ура!», а начальственные люди исторгли из своих рядов тоненькую диву в сарафане и кокошнике, этакое эстрадно-самодеятельное порождение все того же русского поля, прелестную, впрочем, диву с рушником в протянутых ручонках, на коем возлежал пухлый каравай и солонка сверху. Дива улыбалась, плыла к Умнову, тянула к нему каравай. Умнов машинально вытер мигом вспотевшие ладони о джинсы, столь же машинально шагнул вперед, потеряв всякую способность что-либо понимать, что-либо здраво оценивать и делать толковые выводы из предложенных обстоятельств. Его хватило лишь на искательно-кривую улыбочку и виноватое:

— Это мне?

Вам, кивнула дива, вам, кому ж еще, ведь нет никого рядом, и Умнов, вспомнив многократно виденный по телевизору ритуал, отломил от каравая кусочек, макнул в соль и сунул в рот. Было невкусно: чересчур солоно и прогоркло, но Умнов честно жевал, а оркестр уже наяривал любимые страной «Подмосковные вечера», толпа ликовала и веселилась, а один из серых начальников достал из кармана сложенные вчетверо ли-

стки, развернул их, достойно откашлялся и повел речь.

— Мы рады приветствовать вас, дорогой товарищ Умнов, — складно нес он, — в нашем небольшом, но гостеприимном и славном трудовыми традициями древнем Краснокитежске. Вы въезжаете в город, труженики которого работают сегодня уже в счет последнего года пятилетки. Немного статистики к вашему сведению. В нашем городе каждую минуту выпускается семь целых и три десятых метра пожарного рукава, одна целая и семь десятых детских двойных колясок, сто пятьдесят шесть краснокитежских знаменитых чернильных приборов, семь радиоприемников второго класса, два и шесть десятых складных велосипеда, двести тридцать четыре подгузника и так далее, список этот можно продолжать долго. Еще радостный факт. Потребление алкоголя в нашем городе на душу населения за отчетный период снизилось с пяти целых и тридцати трех сотых литра в год до нуля целых одной десятой, а наркоманов у нас не было и нет. Теперь что касается сельского хозяйства...

Но Умнов уже не слушал. Он напрочь отключился от суровой действительности и думал не менее суровую думу. Что происходит, граждане? Проще всего предположить, что он спит и видит странный сон из современной жизни. Но Умнов был суровым реалистом и никогда не верил в разного рода сверхъестественные явления типа парапсихологии, телекинеза или снов наяву. Куда доступнее классическая идея: его приняли за другого. Так сказать, к нам едет ревизор. Но и тут осечка: серый начальник ясно назвал его, Умнова, фамилию, да еще с приложением «дорогой товарищ». Это-то ясно: высланный в ближний дозор партизанский капитан по рации сообщил данные об Умнове. Но зачем? Зачем?! И вообще, откуда взялся на пути этот город, который гордится двумя сотнями подгузников на душу населения? Нет его на карте, нет! Призрак! Фантом! Бред!..

— ...и поэтому жители Краснокитежска будут осо-

бенно рады видеть вас, Андрей Николаевич, гостем нашего города, — донесся до Умнова зазывный финал речи серого начальника.

И все заплодировали, пионеры сломали строй и понесли Умнову скромные дары полей; откуда ни возьмись подрулил на желтом мотоцикле капитан Др-др-др, подмигнул Умнову, как старому знакомому: мол, не тушуйся, москвич, задавай вопросы, коли что неясно.

Неясным было все, и Умнов решил на вопрос.

— Позвольте, — сказал он, — я вообще-то польщен и тронут, но одновременно недоумеваю: за что мне такая честь?

— Как за что? — деланно удивился серый начальник, и остальные серые легонько усмехнулись, понимаяще переглянулись: мол, скромн, конечно, скромн гость, но и недалек, несообразителен, хотя и журналист столичный. — Как за что, дорогой товарищ Умнов? Как подсчитали специалисты из городского вычислительно-го центра, вы — десятиллионный посетитель Красно-китежска, так сказать, юбилейный гость нашего города. А это для нас — событие. Это для нас — радость. И мы просим вас разделить ее вместе с нами.

Во-от оно что, понял наконец недалекий Умнов причину парадной встречи. Вот ведь завернули отцы-основатели, вот ведь показуху устроили на ровном месте, делать им больше нечего! Лучше бы выпускали свои подгузники и двойные коляски, вместо того чтобы терять время собственное и проезжих отпускников... Кстати, почему двойные? В смысле — на двоих! Интересная мысль...

— Горд честью, — Умнов полностью пришел в себя, обрел потерянное чувство юмора и, как ему показалось, овладел ситуацией. — Невероятно благодарен, впервые участвую в столь необычной церемонии, но вынужден отказаться от гостеприимства: спешу, спешу. Я через ваш город — проездом.

Серые начальники по-прежнему улыбались и пони-

мающе кивали головами. У настороженного Умнова даже мелькнула мысль, что он — пациент некоего сумасшедшего дома, перед ним — синклит врачей, которые на дух не принимают его доводы: чего взять с психа ненормального. Но, как и врачи-психиатры с психом, серые начальники были терпеливы и вежливы с десятиллионным варягом.

— Мы все понимаем, дорогой Андрей Николаевич, но ведь дело к ночи. Вам надо передохнуть, поужинать, а где это сделать лучше всего, как не в Краснокитежске? Вас ждет номер люкс в гостинице «Китеж», товарищеский ужин и небольшой концерт художественной самодеятельности. За него вот наша Лариса ответственна, наш комсомол, смена отцов, — и серый начальник, единственно говорящий за всех серых, отеческим жестом опустил длань на сарафанное плечо дивы с караваем.

Дива скромно потупилась, но блеснули из-под ресниц глаза, но пообещали они усталому Умнову грядущие краснокитежские тайны, пусть самодеятельные, но ведь художественные, художественные, и дрогнул стойкий Умнов, сломался и сдался. Да и то верно: ночевать все равно где-то надо.

— Ладно, — сказал Умнов, — уговорили. Весьма благодарен и счастлив от неожиданного везения. Это ж надо же — десятиллионный!.. Куда ехать-то?

— А за нами, — сообщил серый начальник. — А следом.

И тут же невесть откуда сквозь расступившуюся толпу выехали на шоссе три черные «Волги», три сверкающие лаком и никелем современные кареты, куда скоренько скрылись все серые плюс «наш комсомол» по имени Лариса.

— Пожалуйста вам, — сказал капитан ГАИ, открыв настежь дверцу «Жигуля» и приглашая Умнова занять положенное ему место водителя.

Умнов сел в машину, капитан мягко хлопнул дверью

и отдал честь. Черные «Волги» бесшумно тронулись одна за другой, и телефонные антенны на их зеркальных крышах торчали стройно и гордо, как мачты флагманских кораблей. Такая, значитца, парадоксальная ситуация: флагмана — три, а единица каравана — умновская — всего одна. Замыкающим тархтел капитанский «Урал».

Скорость была караванная, степенная: сорок кэмэ в час. Ликующая толпа прощально махала процессии, счастливые пионеры стройно пели «Взвейтесь кострами», а духовой оркестр — это Умнов в зеркальце углядел — шел крепким строем позади мотоцикла, необъяснимым образом не отставая от него, и наяривал дорожную всем людям доброй воли мелодию: «За столом никто у нас не лишний». С легким ужасом Умнов отметил, что пионерский хор и оркестр звучат не вразнобой, а вполне слаженно, унисонно, и это было еще одной загадкой краснокитежского ареала.

Вот и найдено слово: а р е а л! Хорошее слово, иностранное, позволяющее если не объяснить, то уж допустить многое. Согласитесь сами: ну что оверхъестественного может произойти в обыкновенном пространстве, ограниченном рамками районного масштаба? Ничего не может, это и голому ежу ясно! А обзови это пространство ареалом — и, как сказал поэт, «глухие тайны мне поручены», а философ добавил: «Ничему не удивляйся».

Не спеша проскочили одноэтажную окраину Краснокитежска, где пышным цветом цвела индивидуальная трудовая деятельность. Прямо у дороги, перед калитками и воротами, на табуретках, на стульях, на лавках были разложены спелые плоды садов и огородов, вся-

кие дудочки-сопелочки, кошки-копилки, крашенные в несколько цветов корзинки из тонких прутьев, а также букеты царственных гладиолусов и пряно пахнущей ту-рецкой гвоздики.

Оркестр, отметил Умнов, заметно отстал, совсем исчез из виду.

Выехали на бойкую улицу, миновали универмаг, гастроном, кооперативное кафе «Дружба», свернули в какой-то глухой переулочек и неожиданно очутились на большой площади, где наличествовало мощное административное здание с красным флагом на крыше, пара пятиэтажных близнецов неведомого назначения, облезлая пожарная каланча — памятник архитектуры, еще один памятник — храм о пяти куполах, кресты на которых отсутствовали, их оптом заменила мощная телевизионная антенна. В центре площади гранитный Ленин указывал рукой на свежий транспарант, на коем аршинными буквами значилось: «Наша цель — перестройка».

Мелькает народ, ехидно и весело подумал Умнов. Небось вчера еще висело: «Наша цель — коммунизм», а сегодня — попроще, поконкретнее... Но, кстати, почему перестройка — цель, а не средство?..

На этот бессмысленный вопрос Умнов не успел ответить, поскольку кортеж остановился около привычно типового здания гостиницы, тоже пятиэтажного, серого, с опасно тяжелым козырьком над парадным входом. За годы своих журналистских странствий Умнов жил в доброй сотне таких гостиниц, мог с закрытыми глазами начертить план любой из них и даже — по большей части — представить себе вид из окна номера: то ли на грязноватый двор, уставленный мусорными баками — отходным хозяйством гостиничной харчевни, то ли на площадь парадов и демонстраций, где гранитный вождь революции традиционно бодро указывал очередную цель, в спорах утвержденную областными или районными властями.

Вспомнили слова одного поэта — не грех вспомнить к случаю и другого: «Портретов Ленина не видно. Похожих не было и нет». Кто и когда, думал Умнов, утвердил этот бездарно-типовой проект памятника и сделал его обязательным для всех городов и всей страны? Вот было бы забавно: сфотографировать все эти памятники, разложить снимки перед... Кем?.. Ну, перед членами «Клуба знатоков» на телевидении и задать вопрос — где какой установлен? Черта с два ответят? Один — ноль в пользу телезрителей...

А между тем серые отцы города уже стояли на ступенях гостиницы и ждали десятиллионного Умнова. Умнов прихватил с заднего сиденья дорожную сумку с идеологически вредной надписью «Адидас», вылез из «Жигуля», подумал секунду: снимать со стекла «дворники» или не стоит? Но бравый капитан ГАИ так грозно реял вдоль замершего кортежа, так намекающе-предупреждающе форсировал движок, рычал им на всю площадь, что Умнов понял: воров можно не опасаться. Закинул сумку на плечо, поднялся по ступенькам.

— Какие будут указания?

— Какие ж указания в период перестройки? — мелко засмеялся все тот же серый начальник — из говорливых... — Полная самостоятельность масс, инициатива снизу и лишь ненавязчивое руководство сверху. Идет?

— Умыться бы с дороги, — неуверенно произнес Умнов, сраженный столь таранным призывом к инициативе.

— Думаю, голосовать не станем, — вроде бы пошутил серый начальник. — Лариса Ивановна, проводи гостя в номер. А хозяйева гостиницы дорогу покажут... Только просьба к вам, товарищ Умнов: поспешите, будьте ласковы. Мы вас в трапезной подождем.

Комсомолка Лариса подхватила Умнова под руку,

повела к дверям, которые широко распахнули перед нами радушные хозяева гостиницы, представленные, по видимому, директором и его замом — весьма похожими друг на дружку молодцами сорока с лишним лет: оба невысокие, оба лысоватые, оба в одинаковых, хорошо сшитых кремовых костюмах, кремовых же плетеных ба-ретках, а на пиджачных лацканах у них красовались тяжелые бляхи с надписью латинскими буквами: «Hotel «Kitez».

В холле строем стояли остальные хозяева: администраторы, горничные, коридорные — все в кремовом, все с бляхами. А одна кремовая красавица подлетела к Умнову и легкими пальчиками приколотла к его куртке сувенир на память — такую же бляху.

— От персонала отеля, — прощебетала.

— Мерси за внимание, — куртуазно ответил Умнов.

Надо сказать, что происходящее его занимало все больше и больше. Недоумение и злость уступили место борзому журналистскому инстинкту, который сродни охотничьему: в городе явственно пахло дичью. Естественно, слово «дичь» Умнов употребил здесь в единственно подходящем смысле: чушь, бред, чеховская «ре-никса»...

Персонал стоял «во фрунт». Лариса нежно прижи-мала локоть Умнова к плотному сарафановому боку; кремовый директор вприпрыжку частил впереди, вел гостя к лифту и на ходу сообщал полезные сведения о гостинице: время постройки, количество номеров, хол-лов, залов и коридоров, переходящих вымпелов и гра-мот за победы в городских коммунальных соревновани-ях. Умнов солидно кивал, вроде бы мотал на ус, а сам походя размышлял о причинах показной симпатии к не-му со стороны городского комсомола: то ли Ларисе поручили, то ли просто сработали тайные гормоны, ничьих указаний, как известно, не терпящие.

Но мировую эту проблему с ходу было не решить, а тут они уже к отведенному Умнову люксу подошли, ди-

ректор ключиком пошуровал, дверь распахнул — любуйтесь, драгоценный Андрей Николаевич.

Полюбоваться было чем.

Большую гостиную дотесна заполнил финский мебельный гарнитур — плюшевые могучие кресла, той же могучести диван у журнального столика, обеденный стол и шесть стульев, прихотливо гнутых под «чиппендейл», на полу — ковер три на четыре, а все это дорогостоящее барство освещала югославская бронзовая люстра, которую гордый директор немедленно включил. Впрочем, одна деталька все же подпортила импортное великолепие обстановки: на стене, как раз над темно-зеленым диваном, висела типографски отштампованная копия — нет, не с «мишек», время «мишек» давно истекло! — но с работы отечественного реалиста А. Шилова «Портрет балерины Семеняки в роли Жизели».

Хозяева молча и выжидающе смотрели на гостя: ждали реакции.

Ждете, подумал Умнов, ну и получите ее, мне не жалко.

— Мило, — сказал он, — очень мило. Такой, знаете ли, тонкий вкус и вместе с тем не без скромной роскоши... Это знаете ли, дорогого стоит...

— Точно, — подтвердил зам с бляхой, — в пять с полтиной один гарнитурчик влетел. Да еще люстра — четыреста...

Лариса не сдержалась, хмыкнула в кулачок. Директор с бляхой — стараясь понезаметнее — дернул зама за полу пиджака.

— Что деньги, — спас положение Умнов, — так, бумажки... Сегодня есть, завтра нет... А этот номер — лицо вашего отеля, оно должно быть прекрасным, ибо... — он многозначительно умолк, поскольку не придумал, что должно последовать за витиеватым «ибо», лень было придумывать, изощряться в пустословии, хотелось принять душ, выпить чаю и завалиться в египетскую кой-

ку «Людовик», зазывно белеющую в соседней спальне. — Однако, позвольте мне... э-э...

— Нет проблем, — быстро сказал понятливый директор, — располагайтесь поудобнее, горячая вода в номерах имеется, несмотря на летний период. И потом — вниз, в вестибюль: мы вас там подождем и проводим в трапезную.

— В трапезную? — переспросил Умнов. — Ишь ты!.. А это, значит, опочивальня?.. Славно, славно... Тогда почему ваш «Китеж» — отель, а не постоянный двор, к примеру?

— У нас иностранцы бывают, — с некоторой обидой пояснил директор.

— Ах да, конечно, какой уважающий себя иностранец поедет в постоянный двор! — Умнов был — самораскаивание. — Не сообразил, не додумал, виноват... Но как же тогда кресты на храме, где они, где? Они же, пардон, и гордому иностранцу понятны, даже в чем-то близки...

— Храм — это не наше, — быстро открестился директор, и зам ему в такт закивал. — Храм — это политпросвет, хотя, конечно, иронию вашу улавливаем... — и, не желая, видно, касаться политпросветовской скользкой темы, ухватил за талию Ларису и зама, повел их к дверям. — Ждем вас, товарищ Умнов, ждем с нетерпением.

Оставшись один, Умнов уселся в кресло-саркофаг, устался на балерину Семеняку, скорбно изучающую бутафорского вида ромашку, и попытался серьезно оценить все, что произошло с ним за минувший час.

Во-первых, никакого Краснокитежска на карте не было и нет. Более того, собираясь в дальнюю дорогу, Умнов подробно расспрашивал о ней тех, кто проезжал здесь в прошлые годы, — обычный и естественный интерес автомобилиста: где есть заправочные колонки, стан-

ции автосервиса, в каких городах или городках легче устроиться на ночлег, где лучше кормят и где стоит задержаться на часок, осмотреть пару-тройку местных достопримечательностей. И никто — подчеркнем: никто! — не упоминал в разговорах Красно-китежск...

Ну, допустим, разумное объяснение здесь обнаружится, быть иначе не может: город-то есть, вот он — за окном. Но перейдем к «во-вторых».

Во-вторых, что может означать воистину гоголевская ситуация, развернувшаяся на проезжей трассе и продолжающаяся в отеле «Китеж»? Что это? Художественная самодеятельность местных начальников?.. За свою жизнь Умнов повидал, познакомился, побеседовал со множеством секретарей райкомов, горкомов, председателей всякого ранга исполкомов. Были среди них люди толковые, знающие, деловые, не любящие и не умеющие тратить на чепуху свое и чужое время. Были и фанфароны, откровенные карьеристы, но и те — не без хитрого ума: если и пускали пену, то с толком, с оглядкой на верхи — как бы не врезали оттуда за показушную инициативу, как бы о настоящем деле ненароком не напомнили. Но были и откровенные дураки, невесть как попавшие в руководящие кресла. Вот эти-то могли запустить нечто вроде торжественного акта по празднованию десятимиллионного... Нет!.. Отлично зная когорту начальственных дураков, Умнов столь же отлично знал и их главную черту: действовать по готовым образцам. А какие тут есть образцы? Ну, миллионный житель. Ну, стотысячная молотилка. Десятимиллионный новосел. Праздник первого зерна и последнего снопа. Общерайонный смотр юных сигнальщиков и горнистов или городской фестиваль политической частушки... Но десятимиллионный посетитель города — это, знаете ли, через все границы... Кстати, как они подсчитали? Партизаны из ГАИ сидели в засаде с калькуляторами в руках?.. Сколько сидели? Месяц? Год? Сто лет?.. До-

рога идет на юг, к самому синему в мире, к всесоюзным здравницам, житницам и кузницам. В летний сезон по ней поток машин должен мчаться, миллион — за сутки! Десять миллионов — за десять дней! Умнов припомнил, что все приятели советовали ему выехать пораньше, чуть засветло, чтобы не застрять в бесконечных колоннах автобусов, грузовиков, «Волг» и «Жигулей», а он проспал, тронулся в путь черт-те когда поздно, в десять или в пол-одиннадцатого, и впрямь поначалу мучился от невозможности прижать газ, вырваться за сотню в час, пустить ветерок в кабину: где там, поток попутный, поток навстречу, теснотища... А километров за семь или за десять до Краснокитежска — как от мира отрезало... Нет, точно: как в поворот вошел, выскочил на горюшку — ни одной машины! Куда они подевались, а?..

Так не бывает, так просто не должно быть!..

Умнов выбрался из кресла и зашагал по комнате, лавируя между составными частями пятитысячного гарнитура. Балерина Семеняка сочувственно смотрела на него со стены.

Надо мотать отсюда, нервно думал Умнов. Прямо сейчас, через черный ход — есть же здесь какой-нибудь черный ход! — выбраться из гостиницы, тайком в «Жигуль» и — ходу, ходу. Черт с ней, с египетской спальней! В «жигулевском» салоне — пожестче и потеснее, зато — никакой чертовщины, все реально, все объяснимо...

Умнов остановился у окна. Оно выходило на площадь, на давешний призывный плакат, и внизу хорошо просматривался родной автомобильчик, три черных «Волги» и бесфамильный капитан, бдительно кружащий по площади с патрульной скоростью.

Да-а, расстроился Умнов, хрен сбежишь под таким колпаком. Только пешком. Ботиночки на палочку и — к морю. И то верно: свобода. Но стоит ли она родного «Жигуленка»?..

На журнальном столике нежно звякнул телефон,

исполненный в стиле «ретро» умельцами из Прибалтики.

— Слушаю, — снял трубку Умнов.

— Мы вас ждем, Андрей Николаевич, — женским голосом пропела трубка. — И горячее стынет.

— Еще десять минут, — сухо сказал Умнов и невежливо повесил трубку первым.

Да и к чему сейчас вежливость? Если честно, он — пленник. Отель «Китеж», конечно, — не Бутырка, не замок Ив, но сбежать отсюда — тоже проблематично. А если не бежать? Если пойти в трапезную, съесть стынувшее горячее, выслушать десяток безалкогольных тостов — на водку эти серые не решатся, не то время, за водку с них портки снимут — и завалиться в «Людоевик» часиков на шесть—семь? А утром — в путь. И не исключено — тот же капитан и проводит, жезлом на прощание помашет... Чего, в сущности, бояться? Нечего бояться. Ты — сам с усам, солидный мальчик, деньги при тебе, положение обязывает — да ты и за ужин сам расплатишься: никаких подношений, никаких банкетов, мы, знаете ли, в нашей газете ведем беспощадную борьбу с товарищескими ужинами за казенный счет...

И верно, чего я теряю, подумал Умнов. Кроме пятерки за ужин и десятки за номер — ничего. А раз так, то и ладушки.

Он сбросил куртку, рубашку, джинсы, раскидал все по дорогостоящему ковру три на четыре и рванул в ванную, под теплый душ, у которого, как известно, кроме гигиенических, есть и нравственное свойство: он на чисто смывает пустые сомнения.

Мытый, бритый, подчепуренный, в свежей рубашонке с зеленым крокодилом на кармашке — знаком знаменитой фирмы, Умнов спустился в холл, где был немедленно встречен кремовым директором.

— Уж и заждались вас, Андрей Николаевич, — бросился тот к гостю. — Идемте скорей.

Они поднялись по мраморным ступеням, ведущим к

ресторану, но в него не пошли, а открыли дверцу рядом, попали в явно служебный коридор с безымянными кабинетами по обе стороны, а в торце его оказалась еще дверь, но уже украшенная табличкой, сработанной неким чеканщиком: «Трапезная» значилось на табличке. Директор дверь распахнул, ручкой в воздухе поплоскал.

— Прошу!

Умнов вошел и очутился в большом, ресторанный типа зале, довольно удивительного нестандартного вида. То есть многое было как раз стандартным: маленькая эстрада для оркестра, уставленная пустыми пюпитрами и украшенная солидной ударной установкой, выстроенные буквой П столы, в середине — пятачок для плясок, стены расписаны художниками, темы — былинные, вон Добрыня Никитич с Алешей Поповичем по степи скажут, а навстречу им богатырь Илья с копьем наперевес мчится — никак поссорились друзья, никак художник сражаться друг с другом заставил их? — а вон Соловей-разбойник в два пальца дует, слюни на полстены летят, Владимир Красное Солнышко и супруга его Апраксия все забрызганные стоят, аж ладонями прикрылись от отвращения. Ну и так далее... А нестандартным, напроць отменяющим нехитрый трапезный уют, была длинная, во всю стену, стойка с выставленными на ней закусками на тарелках, компотами в стаканах; вдоль стойки тянулись столовские алюминиевые рельсы, в одном конце их высилась груда пустых подносов, в другом — охраняла выход кассирша за кассовым аппаратом. Словом, столовая, да и только, чего зря описывать. Вон и малявинско-рубенсовские красавицы из общепита изготовились за стойкой первое да второе сортировать по тарелкам...

За пустым пока столом по периметру буквы П сидели давешние серые начальники, еще кое-какой районный люд, впервые явившийся Умнову, Лариса с подружками, мощные грудастые дамы с тяжелыми сложными

прическами — все в люрексе, все блестят, как югославские люстры. И перед каждым — или перед каждой — стакан с компотом стоит. Они из стаканов прихлебывают, ведут неспешный разговор. Увидели Умнова, замолчали. Главный серый — Умнов до сих пор не выяснил: кто же он? — встал, пошел навстречу гостю.

— Милости просим в нашу трапезную, товарищ Умнов. Чувствуйте себя как дома.

— Это в столовой-то как дома? — хамски съязвил, не сдержался Умнов и сам себя ругнул за длинный язык: ведь гость все-таки, хоть и насильно званный.

— Это не столовая, — не обиделся серый, — это наш банкетный зал.

— Тыщу раз бывал на банкетах, — признался Умнов, — но в первый раз вижу такой зал. Банкет самообслуживания, что ли?

— В некотором роде, — засмеялся серый. — Наша, так сказать, доморощенная модификация старой традиции в духе перестройки. Не обессудьте, гость дорогой. Банкеты теперь отменены, и правильно, по-партийному это, так мы здесь самообслуживание ввели: каждый сам на поднос продукт ставит, каждый за себя платит — не казенные средства, не прежние времена, а кушаем все вместе, за общим банкетным столом.

— А тосты?

— Как же без тостов. Они теперь хоро-о-ошо под компот из сухофруктов идут — это зимой, а сейчас клубничка в соку, вишенка там, компотики свежие, наваристые, дух захватывает, рекомендую душевно. — Говоря это, он подвел Умнова к рельсам, любезно поставил на них пару пластмассовых пестрых подносов, а уж следом целая очередь выстроилась, за столом только дамы и остались — в ожидании банкетных харчей.

Вконец ошарашенный Умнов, да и проголодавшийся, кстати, начал споро нагружать свой поднос: три стакана с компотом поставил — вишневым, клубничным и

черешневым, салатики из помидоров и огурцов. А тут и икорка объявилась — и черная, и красная, и балычок свеженький тоже, порционный, и семужка розовая, нежная, и грибочки соленые, и миножка копченая, невесть как в Краснокитежск заплывшая, а еще редисочка пущатая, лучок зеленый — и все это под компот, под компот, под компот!

А серый змей сзади нашептывал:

— Соляночку рекомандую, отменная соляночка...

И ставить-то некуда, поднос — до отказа, а рядом волшебнo второй объявился, на него и встала глубокая гжельская тарелка с солянкой, а из-за прилавка стопудовая краснокитежанка улыбнулась призывно:

— Что предпочтете, Андрей Николаевич: бифштекс по-деревенски, с жареным лучком или осетринку на вертеле? А может, цыпленка-табака вам подать, молоденького, ма-асенького?..

— Бифштекс, — сказал Умнов, сглотнув слюну. — Нет, осетринку... Нет, все-таки бифштекс.

— Так можно и то, и то, — шепнул сзади начальник, — средства небось позволяют...

— Средства позволяют, а желудок-то один... Давайте бифштекс.

И получил дымящийся сочнейший кусок мяса, присыпанный золотым лучком, а рядом — картошка фри, прямо из масла выловленная, и огурчик малосольный, и былочки кинзы, укропа, петрушки — ах, мечта!

— Сладкое потом, — серый начальник подтолкнул своим подносом умновские, и они мгновенно очутились перед кассой.

Кассирша в крахмальном кружевном чепчике, нарумяненная и веселая, пальцами по аппарату побегала, рычажок нажала, касса порычала и щелкнула.

— С вас шесть сорок восемь, прошу пожалуйста.

Умнов достал из кармана десятку, протянул кассирше и в секунду получил сдачу, до последней копейки отсчитанную. А кассирша уже и серому итог подбила:

— И с вас шесть сорок восемь, Василь Денисич.

— Не просчиталась, Лизавета? — усомнился серый. — Я ж на один компот больше взял, чем Андрей Николаевич, а цену одну говоришь.

— Так вы ж редисочки не брали, Василь Денисич, а цена у ней с компотом одна.

— Лады, — согласился серый, легонько подтолкнул Умнова, чуть замершего на распутье. — Вон туда несите, товарищ Умнов, в самый центр. Там и присядем, там и вас все увидят, и вы всех.

Умнов сгрузил на стол один поднос, сходил за вторым, расставил тарелки и стаканы на столе. Серый начальник, внезапно обретший вполне славное имя — Василий Денисович, — предложил:

— Давайте ваш подносик, я отнесу, а приборы-то мы забыли, вилки-ложки, нехорошо. Давайте-давайте, — и прямо выхватил у Умнова его подносы, скрылся и тут же объявился со столовыми стальными приборами, высыпал их на скатерть из горсти. — У нас тут попростому, разбирайте, Андрей Николаевич.

А к столу уже подходили следующие из очереди, уж и оживление, столь обычное перед вкусной едой, в зале возникло, уж и реплики над столом побежали:

— ...солоночку передайте...

— ...ах, аромат-то, аромат...

— а... этот десятимиллионный — ничего мужичок...

— ...у него жена и пятеро детей...

— ...бросьте, бросьте, он старый холостяк и к тому же бабник...

— ...Лариска, стерва, к нему мажется...

— ...чтой-то огурчики горчат...

И вот уже все уселись, и разложили-расставили хар-

чишки свои прихотливые, и вилками зазвенели, и притихли, и кто-то крикнул:

— Василь Денисыч, тост, тост!

Василь Денисыч степенно встал, поднял стакан с клубничным компотом, посмотрел на него умильно, на прозрачность его полюбовался, на цвет перламутровый и начал без всякой бумажки:

— Мы сегодня рады собраться в родной трапезной, чтобы приветствовать дорогого гостя. К нам теперь заезжают не так часто, как хотелось бы, но уж коли заезжают, то не скоро покидают гостеприимный Красноки-тежск. Любезный Андрей Николаевич еще и не видал ничего в городе, кроме вот этого культурного, так сказать, очага. — Он обвел рукой помещение, сам легонько хохотнул — шутка же! — и собравшиеся его под-держали, но коротко, чтобы не прерывать надолго хоро-ший тост. — И вы сами знаете и представляете, как много интересного он увидит, узнает и поймет. А может, и взгляды кое-какие на жизнь свою нынешнюю переменит, потому что Красноки-тежск — не простой город: дух его во все поры проникает, в любое сознание навечно входит, он неистребим, неуничтожим, как неистребимо и неуничтожимо все то, что нами нажито и накоплено за минувшие прекрасные годы. Одно слово: мы — это Красноки-тежск. И наоборот.

Все заплодировали бурно и радостно, а кто-то крикнул:

— И никакие перемены нам не страшны!

— Верно подметил, Макар Савельич, — согласился Василь Денисыч, — не страшны. Это — наше дело, кровное. Легко на них пошли и легко перестроимся, потому что за нами — опыт, за нами — правота. Так выпьем же компоту за нашего гостя и пожелаем ему, чтобы дух Красноки-тежска проник в его организм и стал его духом. Здоровья вам, значит, и уверенности в правоте нашего общего дела.

Умнов ничего из сказанного не понял. То ли речь

серого начальника была настолько аллегорична, что понять ее мог лишь посвященный, каковыми, похоже, все за столом являлись. Либо речь эта традиционно ничего не значила: слова и слова, лишь бы выпить поскорей. Хотя бы и компота.

И выпили. Компот — клубничным он был — оказался вкусным — холодненьким, духовитым, в меру сладким.

— А теперь закусить, закусить, — задумчиво, будто чистого ректификату хватанул, произнес Василь Денисич, зацепил малосольный огурец, хрупнул и захрустел, расплылся в улыбке: — Ах, лепота... Нет, что ни говорите, а дары земли — дело великое. И грешно их земле оставлять.

— Это вы о чем? — поинтересовался Умнов, наворачивая между тем семгу с балыком, перекладывая их лучком и редисочкой, закусывая бутербродом с черной икрой и уже подбираясь к солянке, поскольку в банкетно-самообслуживающем ритуале имелся, на взгляд Умнова, один крупный недостаток: горячие блюда, взятые оптом, имели скверную тенденцию к остыванию.

— Об уборочной страде, — мгновенно ответил Василь Денисич. — О проблеме овощехранилищ. О транспортировке даров земли к потребителю. О прямых договорах колхозов и совхозов с торговлей. О семейном подряде. О кооперативных теплицах. О вредном отрывании научных работников от процессов для собирания вышеупомянутых даров. И прочее.

— Я в отпуске, — как можно более ласково сказал Умнов, даже от солянки оторвался для вящей убедительности. — И к тому же я не пишу о сельском хозяйстве. Я, видите ли, специалист по вопросам нравственности, духовности. Экономические проблемы — не моя компетенция.

— Во-первых, что я перечислил, напрямую касается людской нравственности, неразрывно с ней связано, — строго заметил Василь Денисич. — А во-вторых, оби-

жаете, товарищ Умнов, крепко обижаете. Уж не думаете ли вы, что весь этот товарищеский ужин затеян для того, чтобы сагитировать вас на пустое воспевание наших показателей? Если думаете, то зря. Время воспеваний кануло в Лету, осуждено партией, а значит, и нами, ее солдатами. Дело надо делать, а не болтать попусту. Нам — наше, вам — ваше. Нам — пахать, сеять, строить, варить сталь. Вам — писать о простых тружениках, об их духовной стойкости, бичевать недостатки, но, конечно, не забывать и о победах... Кушайте соляничку, кушайте, простывает... Лариса, солнышко, ты плохо ухаживаешь за нашим гостем, выговор тебе с последним предупреждением.

В который раз ошарашенный неудержимым словесным потоком, так и не понявший, что от него хотят, а чего — нет, в чем упрекают, а за что хвалят, Умнов реально ощутил, что Лариса взялась за него крепко, напуганная, видать, последним предупреждением. Она властно забрала у него ложку, сама зачерпнула его солянку и понесла эту ложку к его рту. Кормление, так сказать, младенца. Умнов дернулся, задел ложку щекой, солянка пролилась — хорошо, обратно в тарелку, а не на белоснежную крахмальную скатерть.

— Ну что же вы, — укоризненно сказала Лариса, — не строптивьтесь. Мне мужчину покормить — одно удовольствие.

— Не привык, знаете ли, — только и нашел, что ответить.

Выхватил у девушки ложку, начал быстро, не чувствуя вкуса, демонстративно хлебать. Отметил, однако, что никто из присутствующих не обратил внимания на незапланированный «фо па», все ели, пили, звенели, брякали, хрустели, чавкали, кричали, ахали, повизгивали, булькали и пыхтели. Не до Умнова им было.

И в сей же момент в зал влетел, впорхнул, вкатился на скользких подметках кремовый директор с хохломской табуреткой в руках, за ним попевали две его

сотрудницы, которые несли нечто прозрачно-пластмассовое, сильно напоминающее колесо для розыгрыша лотерей. А оно им и оказалось. Директор водрузил его посередь зала на табуретку и возвестил:

— Долгожданный сюрприз: игра в фанты.

И закрутил колесо, то завертелось, замелькали в нем туго свернутые бумажки. Кремовые помощники директора синхронно пританцовывали в такт вращению колеса, директор хлопал в ладоши — тоже в такт, а невеста откуда возникший на эстраде фантом-ударник тут же выдал стремительно-виртуозный брейк на трех барабанах.

Колесо остановилось, директор сунул в него руку, достал фант, развернул и сообщил:

— Номер тридцать два!

За столом зашептались, зашушукали, загудели. Ловким движением Лариса запустила руку во внутренний карман умновской куртки — тот даже среагировать не успел! — и вытащила картонный прямоугольник, на котором крупно, типографским способом, было выписано число 18.

— Не повезло, — вздохнула Лариса. — Не ваш номер. И не мой, — показала свою карточку с цифрой 5.

Умнов мамой был готов поклясться, что никакой карточки у него в кармане не было. Иллюзионистка, страшно подумал он о Ларисе, но выразиться вслух не успел. Где-то в изножье буквы П вскочила дама, приятная во всех отношениях, лет эдак пятидесяти с гаком, в голубом костюме-двойке, с розой в петлице, с пионом в выбеленных перекистью, высоко взбитых волосах, с миногой на вилке в правой руке и со стаканом черешневого — в левой, взмахнула в энтузиазме вилкой — минога легко слетела с зубьев, взяв курс через стол и приземлилась точно на тарелке мордастого типа в джинсовой куртке. Тип возликовал, крикнул: «Виват»! — и схрупал залетную миногу, даже не поморщившись.

Что происходит, мелькнула банальная мысль у несчастного Умнова. Что творится здесь, какая, к дьяволу, фантазия родила эту ужасную бредятину?.. Но не было ему ни от кого внятного ответа. Напротив, цветолобивая дама еще более запутала ситуацию, воскликнув жеманно:

— Хочу фолк-рок! — и показала директору картонку с объявленным номером.

И все захлопали, застучали ножами по тарелкам, ложками по стаканам, вилками по столу, закричали:

— Верно!.. Здорово!.. Прогрессивно!.. В духе!.. Национальной!.. Политики!.. В области!.. Культуры!..

Директор свистнул в два пальца, как Соловей-разбойник со стены трапезной, незамеченные до сих пор Умновым двери позади эстрады разъехались в разные стороны, и из них вышли три добрых молодца с синтезатором, бас-гитарой и ритм-гитарой и две красных девицы — без музыкальных принадлежностей, стало быть — певицы. А ударник, как известно, на эстраде уже наличествовал, шуровал палочками по барабанной коже, кисточками по тарелкам, металлической указкой по блестящему трензельку — создавал фон.

— Па-а-апросим! — гаркнул директор и зааплодировал.

И все зааплодировали. И Умнову ничего не оставалось делать, как сдвинуть пару раз ладоши, хотя ничего доброго он от этих фолк-рокеров в русских национальных костюмах не ждал.

Ритм-гитара взяла нужный тон, властно повела за собой бас-гитару; синтезатор, натужно воя, определил основную мелодию; ударник подстучал тут и там, подбил бабки своими колотушками, а красны девицы цапнули микрофоны и лихо вмазали по ушам:

— Не забудь... — жали они на низах, — материнское поле... поле памяти... поле любви... Нам Россия... дала свою долю... Ты своею... ее назови...

И ни на миг не задержавшись, в эту суперпатрио-

тическую текстуху серьезным припевом влез весь состав рокеров:

— Память, память, память... в-вау, бзымм, бзым... Память, память, память... в-вау, бзымм, бзым...

А ударник привстал и начал вышибать русский дух из иностранных барабанов, иностранным тарелкам здорово досталось, а синтезатор всемирно известной фирмы «Ямаха» мощно точил народную слезу крупного калибра в металлическом ритме рока, и все это было так скверно, что у Умнова и впрямь побежала нежданная слеза: то ли от перебора децибелов, то ли от крепости соуса, поданного к бифштексу, то ли от обиды за хорошую рок-музыку и за честное слово «память», на котором вяло топтались трапезные музыканты.

А народу между тем происходящее сильно нравилось. Кто-то всласть подпевал, кто-то в такт подхлопывал, кто-то ритм на столе ладошкой отбивал, а Василь Денисыч, сложив руки на груди, отечески кивал и улыбался.

Поймав взгляд Умнова, он наклонился к нему и прокричал на ухо:

— Рок-музыка — любовь молодежи. Нельзя у молодежи отнимать любовь, как бы кому этого ни хотелось.

— Это не рок-музыка, — прокричал в ответ Умнов. — Это какофония.

— Не судите строго, — надрывался Василь Денисыч. — Вы там, в Москве, привыкли ко всяким «Машинам времени» или «Алисам», а у нас в глубинке вкусы попроще. Зато содержание — поглубже.

— Это про память-то поглубже?

— «Память» — слово хорошее, его не грех и напомнить кое-кому, кто страдает выпадением памяти...

Разговор скатывался на грань ссоры, и Умнов не прочь был ее развить, даже успел спросить:

— Кого вы имеете в виду?..

Но Василь Денисыч не ответил, поскольку песня закончилась, зал всколыхнулся аплодисментами, роке-ры наскоро раскланялись и скромно исчезли за раздвижными дверями.

А Василь Денисыч снова встал, торжественно поднял стакан с компотом и начал новый тост:

— Хочу выпить этот компот за нашу молодежь. Признаюсь: поругиваем мы ее, все недовольны: то нам не так, это нам не эдак. То у них, видишь ли, голоса длинные, то брюки в цветных заплатах, то песни непонятные, то музыка вредная. А молодежь не ругать — ее понять надо. А поняв — помочь ей понять нас и пойти дальше вместе. Ведь идти-то нам вперед порознь никак нельзя, а, братцы мои?.. То-то и оно... Вот и выпьем за то, чтобы она, молодежь, то есть, нас, стариков, понимала, а уж мы-то ее пойдем, раскусим, у нас на это силенок хватит.

Все, натурально, хлопнули по стакану, овощами или рыбкой закусили, а Умнов ехидно спросил соседа:

— Понимание — силой, так выходит?

— Передергиваете, товарищ журналист, на слова ловите. Есть у вашей братии манера такая: слова из контекста выдирать. Я ж о духовном, о вечном, а вы сразу про драку, про телесные наказания... Нехорошо, Андрей Николаевич, неэтично. Чтой-то в вас еж какой-то сидит — ошетинились, насторожены... Зачем? Мы к вам по-дружески, по-любовному, как исстари принято... Ну-ка, расслабьтесь, выпейте с комсомолом на брудершafft компотику... Лариса, ату его!

Раскрасневшаяся Лариса стакан взяла — а Умнов свой после тоста за молодежь так из горсти и не выпускал, — заплела свою руку за умновскую:

— На «ты», Андрей Николаевич!

На «ты» так на «ты». Когда это Умнов отказывался с женщиной на «ты» перейти, пусть даже по приказу свыше. Да и чего сопротивляться? И приказы свыше в

радость бывают, нечасто, правда, но тут как раз такой случай и выпал.

Дернули клубничного, Умнов ухватил Ларису за плечи, притянул к себе, норовя в губы, в губы, а она увернулась, подставила крутую щеку:

— Не все сразу, Андрюшенька.

И сама его в щеку чмокнула, да так звучно, что соседи обернулись, засмеялись, загалдели:

— Совет да любви!

— Радости вам на жизненном пути!

— Миру да счастья!

А кто-то невпопад:

— Миру — мир!

И опять все засмеялись шутиливой оговорке, даже Умнов слегка улыбнулся.

Странная штука: он всерьез чувствовал себя малость подшофе, будто и не компот пил, будто в компоте том распроклятом притаились скрытые лихие градусы, вовсю сейчас разгулявшиеся в крепком, вообще-то, умновском организме. Но не градусы то были никакие, а тот не поддающийся научным измерениям общий тонус застолья, когда даже бифштекс с солянкой пьянят, когда разгульное настроение перетекает из клиента в клиента, из персоны в персону, и вот уже за «сухим» столом все — навеселе, но — чуть-чуть, самую малость, в той легкой мере, которая только и требуется для общей радости.

— Василь Денисыч, — Умнов вдруг, сам себе изумляясь, обхватил соседа за богатырскую спину, хлопнул по плечу, — ты, брат, похоже, мужик неплохой.

— Это точно, — легко улыбался Василь Денисыч. — И я рад, что ты, Андрей Николаевич, это понимать начал. Значит, мы — на верном пути. И, как в песне поется, «никто пути пройденного у нас не отберет».

— В каком смысле? — не понял Умнов.

— Во всех, — туманно пояснил Василь Денисыч. —

И в личном не отберет, и в общественном, в масштабе державы — хрен кому, пусть только покусается...

Станный он человек, думал о соседе Умнов, разнеженно думал, но остроты мысли не потерял, даже наоборот: обострилась мысль, внезапную четкость обрела. Станный и страшноватый. Работает под Иванушку, под мужичка-лапотничка: весь он, видите ли, посконный, весь избяной, родовая память, мать-Расеюшка, народ-батюшка. А все тексты его зашифрованы донельзя, без поллитра компота не разберешься. На первый взгляд ахиною несет, а если копнешь глубже, задумаешься: ой, есть там что-то недоговоренное, намеком прошедшее, а намеков-то, похоже, угрожающий, опасный. Сейчас бы самое время копнуть его, начальничка пресерого, вытащить скрытое на свет божий, вывернуть его наизнанку, да не время, момент не тот — веселись, публика!

Только и спросил походя:

— Василь Денисыч, а вы кто?!

— Человек, Андрей Николаевич!

— Я не о том. Должность у вас какая?

— Должность?.. Простая должность. Отец города я. Краснокитежска. И все мы здесь — Отцы его.

— Я серьезно.

— И я не шучу. Чем вам моя должность не нравится? Не мной придумана, не я первый, не я последний...

А заводи-ла-директор уже вновь барабан крутил. Вытащил номер:

— Пятый!

— Мой! Мой! — закричала Лариса. — Песню петь станем.

— Какую песню? — склонился к ней Умнов.

— Какую хочешь, Андрюшенька.

И уже давешние рокеры опять на эстраде возникли да плюс к их электронике из тех же дверей концертный рояль выплыл, а еще и баянист вышел, и скрипач не

задержался, и два русоголовых балалаечника уселись прямо на пол, скрестив по-турецки ноги в кирзовых пра-
харах.

— Ой, мороз, мороз... — чуть слышно затянула Лариса, — не морозь меня... — голос ее крепчал, ширился, захватывал тесный зал, — не морозь меня, моего коня...

Умнов закрыл глаза. В голове что-то закружилось, замелькало, засверкало, песня почти стихла, голос Ларисы доносился, будто сквозь толстый слой воды. Что со мной, что? — лениво, нехотя думал Умнов, компоту, что ли, перепил? Ой, тяжело как... И, не открывая глаз, откинулся на стуле, попытался расслабиться: аутотренинг — великая вещь!.. Раз, два, три... двенадцать... двадцать один... Я спокоен, спокоен, я чувствую себя легко, хорошо, вольно, я лечу над землей, я ощущаю теплые потоки воздуха, они обвевают мое обнаженное тело, я слышу прекрасные звуки...

И словно сверху, с югославской четырехсотрублевой люстры, не открывая глаз, сквозь сомкнутые веки увидел родное застолье. Все внизу пели, пели разгульно и вольно, до конца, до беспамятства отдавшись любимому делу.

— Ой, мороз, мороз... — тянула Лариса.

— Нам всем даны стальные руки-крылья, — выдавал хорошо поставленным баритоном Василь Денисич, отец Краснокитежска, истово выдавал, а верней — не истово, — а вместо сердца — не скажу чего...

— О Сталине мудром, родном и любимом, — пели складным дуэтом два пожилых тенора в серых костюмах — тоже, видать, из Отцов, встречавших Умнова у границы Краснокитежска, — прекрасную песню слагает народ...

Три томные девицы в сарафанах и кокошниках — из Ларисиной команды — самозабвенно голосили:

— Влюбленных много — он один, влюбленных мно-

го — он один, влюбленных много — он один у пере-
правы...

Мощная дама, требовавшая давеча фолк-рока, пела
сквозь непрошено набежавшие слезы, рожден-
ные, должно быть, сладкой ностальгией по ушедшей
юности:

— Ландыши, ландыши, светлого мая привет, лан-
дыши, ландыши — белый букет...

А ее сосед — ее ровесник — обняв могучий стан
женщины и склонив ей на плечо седую гривастую голо-
ву, подпевал ей — именно под п е в а л:

— Знаю: даже писем не придет — память больше
не нужна... По ночному городу идет ти-ши-на...

И еще звучали в зале знакомые и незнакомые Ум-
нову песни, романсы, арии и дуэты! А скрипач на эс-
траде играл любимый полонез Огинского. А пианист иг-
рал любимый чардаш Монти. А баянист играл музыку
к любимому романсу про калитку и накидку. А бала-
лаечники играли любимые частушечные мотивы. А фолк-
рокеры играли сложную, но тоже любимую вариацию
на тему оперы «Стена» заморской группы «Пинк
Фloyd». И все звучало не вразнобой, не в лес по дро-
ва, а на диво слаженно, стройно, как недавно — во
время встречи на границе города. Там, помнилось Ум-
нову, этот престранный эффект унисонности уже
имел свое загадочное место...

И чувствовалось внизу такое жутковатое стадное
единство, такая мертвая сплоченность против всех, кто
не поет вместе с ними, что безголосый с детства Ум-
нов быстренько спустился с люстры, открыл глаза, под-
нялся со стула, стараясь не шуметь, не скрипнуть по-
ловицей, пошел на цыпочках вдоль стены, дошел — не-
замеченный! — до тайной дверцы с чеканкой, открыл
ее, дверцу, и припустился по служебному коридору, ме-
теором пронесся через пустой холл, из которого исчез-
ли даже дежурные портье, вмиг взлетел на свой второй
этаж, на ходу вынимая из кармана ключ от номера, от

волнения едва попал им в замочную скважину, распахнул дверь, шмыгнул в прихожую, дверь захлопнул, ключ с внутренней стороны дважды повернул и только тогда расслабленно прислонился к холодной стене, голову к ней прижал, зажмурился и задышал — часто-часто, как будто провел глубоко под водой черт знает сколько пустого и тяжкого времени.

А может, и провел — и впрямь лишь черт сие знает.

Не зажигая света, сбросил кроссовки, в носках прошел в спальню, быстро, по-солдатски, разделся, поставил ручной будильник на шесть утра и нырнул под холодящую простыню, накрылся с головой, зарылся в глубокие пуховые подушки: ничего не видеть, не слышать, не помнить. Самое главное: не помнить. Черт с ней, с памятью — пусть отключается назло большому Отцу города Василь Денисычу!

И то ли устал Умнов невероятно, то ли впрямь опьянел от сытного ужина, то ли сказалось нервное напряжение последних сумасшедших часов, но заснул он мгновенно — как выпал из действительности. И ничего во сне не видел.

Будильник зудел комаром: настойчиво и мерзко. Умнов его слышал, но глаз не открывал. Раннее вставанье было для него пыткой, он — сам так утверждал — и в журналистику пошел лишь для того, чтобы не просыпаться бог знает когда. И не просыпался никогда, дрыхнул до девяти как минимум, поскольку с некоторых пор семьей обременен не был, малые дети по утрам не плакали, а в любой редакции жизнь творческого человека начинается часов с одиннадцати. А тут...

Он резко сел в постели, внезапно и жутко вспомнив про «а тут». Сна как не бывало. Одна мысль: бежать.

Оделся, покидал в сумку разбросанные накануне вещички, подумал: а как насчет расплаты? Конспира-

ция требовала уйти из гостиницы по-английски, не прощавшись даже с портье и кассиршей, но чистая совесть не допускала жульничества. Явилось компромиссное решение. Достал блокнот, выдрал страничку, написал на ней фломастером: «Уехал рано. Будить никого не стал. Оставляю деньги за номер — за сутки». И приложил к страничке десятку, оставил все на журнальном столике, вазочкой придавил и вышел, крадучись, из номера.

Парадная лестница — налево; направо указывала картонная табличка с милой надписью от руки: «Выход на случай пожара». Словно кто-то специально повесил ее напротив умновского номера, приглашая к весьма сомнительному выходу, но Умнов-то как раз ни в чем не усомнился; мысль о тайном побеге, владевшая им, не допускала никаких иных, и Умнов одержимо ринулся направо, полагая, что пожар — налицо, раздумывать некогда.

Как ни странно, но он оказался прав: запасная черная лестница вывела-таки его во двор, где — как и ранее предполагалось! — стояли мусорные баки, с вечера переполненные, украдкой ночевал чей-то «Москвич»-фургон с казенной надписью «Китежбытслужба», гуляли два грязно-серых кота, явно страдающих летней бессонницей.

Один равнодушно прошел мимо Умнова, а другой задержался и поглядел на него сверху вниз желтыми с узкими черными зрачками гляделками.

— Чего уставился? — спросил довольный началом событий Умнов. — Лучше проводи к выходу из этой клоаки.

Кот, не отвечая, повернулся и медленно зашагал вдоль стены. Хвост его торчал, как антенна, и, как антенна, подрагивал на ходу. Умнов пошел за ним и через некоторое пустяшное время увидел ворота, а сквозь них виднелась знакомая площадь. Кот свернул антенну и сел на нее с чувством выполненного долга.

— Спасибо, — сказал ему Умнов и аж вздрогнул: кот в ответ солидно кивнул головой.

А может, это показалось Умнову: мало ли что помстится спросонья...

Но он тут же забыл о коте, увидев родной «Жигуленок», одиноко стоящий у гостиничного козырька, устремился к нему, оглядевшись, впрочем, по сторонам: нет, вроде никто не преследует, да и парадный вход в «Китеж» закрыт изнутри — сквозь стекло видно — на вульгарный деревянный засов и вдобавок украшен очередной лаконичной надписью: «Мест нет». Умнов сел в промерзшую за ночь машину, вытащил подсос, крутанул зажигание. «Жигуль» завелся сразу. Умнов уменьшил обороты и, не дожидаясь, пока автомобиль прогреется, газанул с места. Вот и глухой проход между домами, а вот и улица, которая — считал Умнов — является частью длинной магистрали Москва — Знойный Юг. Во всяком случае, вчера на нее, на улицу эту, выехали с трассы, никуда не сворачивая, значит, и сегодня рвануть следует именно по ней.

И рванул. Рано было, пусто, еще и грузовики на утреннюю службу не выбрались, еще и светофоры не включились, слепо смотрели, как Умнов гнал «Жигуль» от греха подальше. Он выехал на окраину, промчался мимо глухих заборов, потом и они кончились и началась трасса. Умнов до конца опустил стекло, поставил лицо холодному ветру. Все позади, бред позади, фантасмагория с банкетом, Василь Денисыч с его многозначительными тостами, красавица Лариса, милицкий капитан, кремовый директор, дама с розой — не было ничего! Померещилось! Приснилось! Пусть пока будет так, суеверно считал Умнов, а вот отъедем подальше, оторвемся — тогда и подумаем обо всем, проанализируем, коли сил и здравого смысла хватит. Насчет сил Умнов не сомневался, а насчет здравого смысла... Да-а, если и был во вчерашнем вечере какой-то смысл, то не здравый, не здравый...

Умнов легко повернул руль, плавно вписался в поворот, одолел длинный и скучный тягун и вдруг... увидел впереди игрушечный городок, тесно прилепившийся к трассе, — с церковными куполами, с новостройками, с трубами, с садами. Не веря себе, боясь признать-ся в страшной догадке, Умнов резко прижал газ — стрелка спидометра прыгнула к ста сорока. А Умнов не отпускал педаль, тупо гнал, вцепившись в руль и уставившись в лобовое стекло, покуда не увидел впереди знакомую стелу с не менее знакомыми буквами: «Краснокитежск».

Умнов ударил по тормозам. «Жигуль» завизжал, закрипел бедолага, его даже малость занесло, но остановился он как раз под буквами. Умнов заглушил двигатель, вышел из машины и сел на траву. Он сидел на траве и как тупо гнал, так тупо и смотрел на низкое небо над горизонтом. Оно было незамутненно-чистым, белесым, словно давно и безвозвратно застиранным, и лишь единственная белая заплатка облака норовила зацепиться за хорошо видную отсюда, с горушки, телевизионную антенну на высоком куполе храма.

Откуда все началось, туда и вернулось — к началу то есть...

Вздор, вздор все это, наливаясь злостью, думал Умнов. Просто я не той дорогой поехал, всего лишь не той дорогой, а если бы той дорогой, то я бы... А что «я бы», оборвал он себя, той или не той — пробовать надо!..

И молнией к машине. Завелся с пол-оборота, помчал по дороге — мимо все тех же заборов, из-за которых никто ничего не вынес пока на продажу, мимо первых панельных домов, мимо универсама, гастронома и кафе «Дружба», и дальше, и дальше — прямо, мимо голубого «гаишного» указателя «Центр», куда свернул вчера кортеж, — ну, не было здесь другой дороги, не было — и все!

А на улице уж и люди появились. Вон бабулька с бидоном куда-то пошустрила. Вон небритый мужик на

крыльце продмага ошивается: никак кефирчику с утра хватануть захотел. Вон парнишка на складном велосипеде по тротуару звенит...

Умнов бибикнул парнишке, притормозил.

— Будь другом, скажи: как мне из города выбраться?

Парнишка соскочил с седла, стоял, удивленно глядя на Умнова. Потом пожал плечами и недоуменно спросил:

— Куда вы хотите выехать?

— На южное направление.

— Правильно едете.

— Неправильно еду, — терпеливо объяснил Умнов. — Я уже так ехал и опять приехал в город.

— Этого не может быть, — засмеялся парнишка.

— Хочешь проверить? Садись, времени много не займет.

— Не могу, — парнишка смотрел на Умнова, как на сумасшедшего: со страхом пополам с жалостью. — Вы езжайте, езжайте, не ошибетесь... — и быстренько-быстренько укатил на своей раскладушке.

— Уже ошибся, — проворчал Умнов, но довольно успокоенно проворчал.

Как же легко убедить человека в том, в чем он хочет убедиться! Парнишка сказал: не ошибетесь — и Умнов уже готов верить ему... Кстати, почему бы и не поверить? Сзади Москва, впереди юг, чудес не бывает, дорогие граждане. А то, что опять в Краснокитежск попал, — так ошибся, значит, свернул не туда...

И знал, что не ошибся, знал, что не сворачивал никуда, а ведь опять погнал «Жигуль» мимо давешних заборов — на магистраль, в чисто поле, на гору, на длинный тягун. И только билась надежда — где-то глубоко внутри, в животе или еще где поукромнее: выеду, выеду, выеду...

Не получилось!

Остановился на знакомой горюшке и тускло смотрел

вниз, где вольготно и безмятежно раскинулся древний Красноки-тежск, не выпускающий дорогих гостей из своих довольно душных объятий.

Значит, если я поеду в Москву, попытаюсь здраво рассуждать Умнов, то опять-таки попаду в Красноки-тежск, только с обратной стороны... Он невесело усмехнулся. Сказали бы ему раньше о таком: на смех поднял бы. Спросил сам себя: а сейчас веришь?.. И сам себе ответил: а что остается делать?.. Впрочем, хитрил. Он знал, что оставалось делать. Оставалось ехать в город и искать другую дорогу. Совсем другую. Эта, похоже, кольцевая.

Умнов устал от мистики. Он вообще ее не терпел, даже фильмы ужасов на видео не смотрел, а тут ее столько наворотилось — любой самый крепкий свихнется... Умнов был из самых-самых. Он вырулил на асфальт с обочины, неторопливо — а куда теперь спешить-то? — поехал в город, отметил, что кое-кто из частников уже вынес к шоссе свои табуреточки с клубникой и вишней — а и то пора: половина восьмого, рабочий день вот-вот начнется! — и въехал на знакомую до противности улицу. Тормознул у перекрестка, у гастронома, где уже собралась кое-какая очередь из ранних хозяек — ждали открытия, — подошел к ним, вежливо поздоровался. Ему ответили — вразной, но все — приветливо.

— Скажите, пожалуйста, — издалека начал Умнов, — куда ведет эта улица? Я, видите ли, приезжий.

Женщины переглянулись, будто выбирая: кому отвечать, уж больно вопрос прост. Одна — с рюкзаком — сказала:

— Сначала на окраину, на Мясниковку, а потом и вовсе из города. А вам куда надо?

— Я из Москвы. На юг еду.

— Вроде правильно едете, а, бабы?

Бабы загалдели, привычно заспорили, но быстро

пришли к согласию, подтвердили: да, мол, правильно, езжай, не сворачивай, на самый юг и попадешь.

— А есть другой выезд? — закинул удочку Умнов.

— Смотря куда, — раздумчиво заявила ответчица с рюкзаком.

— Куда-нибудь.

— Это как? — не поняла женщина, и остальные с подозрением уставились на Умнова.

— Ну, не на юг. На запад, на восток... Вообще из города.

— Больше нету, — уже не слишком приветливо отрезала женщина с рюкзаком. — Если только через центр и по Гоголя, а там на Первых Комиссаров... Но оттуда все равно — на Мясниковку... Нет, другого нету, только здесь...

— Спасибо, — расстроено сказал Умнов и пошел к машине.

Женщины глядели ему вслед, как недавно — мальчик с велосипедом.

У машины Умнова поджидал знакомый капитан ГАИ.

— Катаетесь? — блестя фиксами, спросил капитан.

— Пытаюсь уехать.

— А там уж Лариса с ног сбилась: где товарищ Умнов, где товарищ Умнов? И Василь Денисыч три раза звонил... Возвращаться вам надо, Андрей Николаевич. У вас — программа.

— Какая, к черту, программа? — устало огрызнулся Умнов. — Я уехать хочу, понимаете, у-е-хать!

— Никак нельзя, — огорчился капитан. — Василь Денисыч обидится.

— Ну и хрен с ним.

— Па-пра-шу! — голос капитана стал железным. —

Хоть вы и гость, но выражаться по адресу начальства не имеете полного права.

— Ладно, не буду, — согласился Умнов, обреченно сядясь в машину. — Ведите меня, капитан. К кому там? К Ларисе, к Василь Денисычу, к черту-дьяволу! Ваша взяла...

— А наша всегда возьмет, — ответил капитан веским голосом Василь Денисыча, пошел к мотоциклу, оседлал его, взнуздал, махнул Умнову рукой в рыцарской краге: следуйте за мной, гражданин...

Кремовый директор встретил Умнова так, будто тот и не сбегал по-английски, будто тот просто-напросто погулять вышел, подышать свежим воздухом древнего города.

— Возьмите ваши денежки, — протянул директор десятку. — Оптом заплатите, если уезжать станете... И кстати: номерок ваш двенадцать рубликов тянет. Не дороговато? А то мы профсоюз подключим, поможем...

— Спасибо, — надменно сказал Умнов, — обойдусь.

Ему весьма не понравилось слово «если», проскочившее в речи директора. Что значит: «если уезжать станете»? Конечно, стану! Кто сомневается?.. Да директор, похоже, и сомневается... Что они тут, с ума все посходили?.. Что я им — вечно здесь жить буду, политического убежища попрошу?.. Шапка в газете: «Журналист из Москвы просит политического убежища в древнем Краснокитежске»... А также в Красноуфимске, Краснотурьинске, Краснобогатырске и Краснококшайске... Кстати, а как их газетенка зовется?

— Кстати, — спросил он, — а как ваша местная газета зовется? И есть ли таковая?

— Есть, как не быть, — малость обиженно сказал

директор. — А называется она просто: «Правда Краснокитежска».

Вот вам и здрасте — весело думал Умнов, подымаясь по лестнице на второй этаж — к собственному номеру. Дожили: правда Краснокитежска, правда Заполярья, правда Сибири, Урала и Дальнего Востока. Городская, областная, районная. Везде — своя. Пусть ма-аленькая, но своя. И что самое смешное, все это — липа, во всех «правдах» — газеты имею в виду — одно и то же печатается. Что Москва присылает, то и печатается: тассовские материалы, апээновские. Ну и кое-что от себя, от родного начальства: про передовой опыт, про трудовые маяки, про лося в городе... Так что «Правда Краснокитежска» — это, братцы, от пустого самонадувания. Пырк иголочкой — и нет ничего, лопнул пузырь! Как там у Киплинга: города, ослепленные гордостью...

Странен человек! Только что в страхе пребывал, бессильной злобой наливался, дали бы автомат — очередь по всем ларисам, василям денисычам, по всем этим серым, кремовым, разноцветным. А сейчас, видите ли, — «весело думал»... Ну и что с того, весело думал Умнов, надо уметь временно мириться с предлагаемыми обстоятельствами, надо уметь выжидать — кстати, вполне журналистское качество. Выждать, выбрать момент и — в атаку. Или, в данном конкретном случае, — в отступление. Все на тот же юг...

Только сумку в шкаф закинул — телефон.

— Ну, — хамски сказал в трубку Умнов.

Это он себе такую тактику быстренько сочинил: хамить направо и налево. Может, не выдержат — выставят из города и еще фельетончик в «Правде Краснокитежска» тиснут: «Столичный хам»... Опасно для грядущей карьеры? Пошлют фельетон к нему в редакцию?.. А он редактору — атлас: нет такого города в природе,

а значит, фельетон — глупая мистификация и провокация западных спецслужб... Что — съели?..

— Андрюша, — интимно сказала из трубки Лариса, — ну где же ты ходишь? Я тебе звоню, звоню...

— Дозвонилась?

— Только сейчас.

— Говори, что надо.

Сам себе противен был: так с женщиной разговаривать! Но тактика есть тактика, и не женщина Лариса вовсе, а одна из тюремщиков, из гнусных церберов, хоть и в юбке.

— Сейчас восемь тридцать, — голос Ларисы стал деловым. — Успеешь позавтракать — директор покажет, где. И — вниз. В девять ноль-ноль жду тебя с машиной.

— У меня своя на ходу.

— Твоя отдохнет. Василь Денисыч предоставил свою — с радиотелефоном. Он нам туда звонить будет.

— Во счастье-то!.. И куда поедем?

— Программа у меня. Размножена на ксероксе — прочитаешь, обсудим.

— Ну-ну, — сказал Умнов и швырнул трубку.

Программа, видите ли, на ксероксе, ксерокс у них, видите ли, имеется, без ксерокса они, видите ли, жить не могут... Переход от веселья к злости совершился быстро и незаметно. Умнов опять люто ненавидел все и вся, завтракать не пошел принципиально — плевать он хотел на их подлые харчи! — а решил побриться, поскольку оброс за ночь безбожно, стыдно на улицу выйти. Даже на вражескую.

Лариса сидела на заднем сиденье новенькой черной «Волги», на полированной крыше которой пряталось стыдливое краснокитежское солнце. Еще Умнов заметил

на крыше «Волги» телефонную антенну, вполне похожую на хвост утреннего кота.

— Садись сюда, — Лариса распахнула заднюю дверь и подвинулась на сиденье.

— Сзади меня тошнит, — по-прежнему хамски сказал Умнов и сел вперед. Все-таки застеснялся хамства, объясняюще добавил: — Здесь обзор лучше.

А Лариса хамства по-прежнему не замечала. То ли ей приказ такой вышел — от Василь Денисыча, например, терпеть и улыбаться, то ли подобный стиль разговора ненавязчиво считался у лучшей половины Краснокитежска мужественным и суровым.

— Посмотри программу, — сказала Лариса и протянула Умнову лист с оттиснутым на ксероксе текстом.

Там значилось:

«Программа пребывания товарища Умнова А. Н. в г. Краснокитежске.

День первый.

Завтрак — 8.30.

Посещение завода двойных колясок имени Павлика Морозова — 9.15—11.15.

Обед — 13.00—14.00.

Послеобеденный отдых — 14.00—15.00.

Посещение городской клиники общих болезней — 15.30—16.30.

Посещение спортивного комплекса «Богатырь» — 17.00—19.00.

Ужин — 19.00—20.00.

Вечерние развлечения по особой программе — 20.00».

Умнов внимательно листок изучил, и у него возник ряд насущных сомнений.

— Имею спросить, — сказал он. — Что значит «день первый»? Раз. Второе: что это за особая программа на вечер? И в-третьих, я не желаю ни на завод колясок, ни в клинику. Я не терплю заводов и всю жизнь бегу медицины.

Лариса засмеялась, тронула ладошкой кожаную спину пожилого и молчаливого шофера, лица которого Умнов не углядел: оно было закрыто темными очками гигантских размеров.

— Поехали, товарищ, — сказала ему. И к Умнову: — Отвечаю, Андрей Николаевич. День первый, потому что будет и второй — для начала. Особая программа — сюрприз. Вечером узнаешь. А завод и больница — это очень интересно, Андрюша, очень. Там идет эксперимент, серьезный, в духе времени, направленный на полную перестройку как самого дела, так и сознания трудящихся. У себя в столице вы только примериваетесь к подобным революционным преобразованиям, а мы здесь... — она не договорила, закричала: — Смотри, смотри, мои ребята идут!..

Умнов глянул в окно. По тротуару шла нестройная колонна молодых людей, одетых весьма современно. Здесь были металлисты — в цепях, бляхах, браслетах, налокотниках и напульсниках с шипами. Здесь были панки — в блеклых джинсовых лохмотьях, с выстриженными висками, волосы торчат петушиными гребнями и выкрашены в пастельные, приятные глазу тона. Здесь были брейкеры — в штанах с защипами и кроссовках с залипами, в узких пластмассовых очках на каменных лицах, все — угловатые, все — ломаные, все — роботообразные. Здесь были атлеты-культуристы в клетчатых штанах и голые по пояс — с накачанными бицепсами, трицепсами и квадрицепсами. Здесь были совсем юные роллеры — в шортиках, в маечках с портретами Майкла Джексона и Владимира Преснякова, все как один — на роликовых коньках. А по мостовой вдоль тротуара странную эту колонну сопровождал мотоциклетный эскорт рокеров — или раггаров? — все в коже с ног до головы, шлемы, как у космонавтов или летчиков-высотников, мотоциклы — со снятыми глушителями, но поскольку скорость процессии была невеликой, толковые ребята зря не газовали, особого шума не делали.

И все малосовместимые друг с другом группы дружно и едино несли самодельные плакаты, подвешенные к неструганым шестам — будто хоругви на ветру болтались. На хоругвях чернели, краснели, зеленели, желтели призывы, явно рожденные неутомимым комсомольским задором: «Все — на обустройство кооперативного кафе-клуба!», «Даешь хозрасчет!», «Частная инициатива — залог будущего!», «Дорогу — неформальным молодежным объединениям!»

— Что это? — ошарашенно спросил Умнов.

— Я же говорю: мои ребята... — Лариса чуть не по пояс высунулась из окна, замахала рукой, закричала: — Ребята, привет! Как настроение? Главное, ребята, сердцем не стареть!

Из колонны ее заметили, оживились. Рокеры приветственно газанули. Брейкеры выдали «волну». Металлисты выбросили вверх правые руки, сложив из пальцев «дьявольские рога». Культуристы грозно напрягли невероятные мышцы. Панки нежно потупились, а роллеры прокричали за всех дружным хором:

— Песню, что придумали, до конца допеть!..

— Что это за маскарад? — слегка изменил вопрос Умнов. — Они же не настоящие...

Он был удивлен некой насильственной театральностью шествия, некой неестественностью поведения статистов. Вот точное слово: статистов. Будто хороших комсомольских активистов, отличников и ударников преодели в карнавальные костюмы и строго наказали: ведите себя прилично.

— Почему ненастоящие? Самые что ни на есть. Мы кликнули клич, выбрали самых лучших, самых достойных, рекомендовали их на бюро, организовали, снабдили реквизитом. ДОСААФ мотоциклы выделил. Создали группы... А сейчас они кафе-клуб обустроить идут. Нам помещение выделили, бывшая капэзэ в милиции. Милиция новое здание получила, а капэзэ — нам. Ре-

шетки снимем, побелим, покрасим, мебель завезем и встанем на кооперативную основу...

— Кто встанет?

— Как кто? Мы. Комсомол.

— Всесоюзный Ленинский? Весь сразу?

— Ну, не весь, конечно. Выделим лучших, проголо-
суем.

— А прибыль кому?

— Всем.

— И на что вы все ее тратить будете?

— На что тратить — это самое легкое, — засмеялась
Лариса. — Сначала заработать надо...

— Слушай, а ты что, комсомольский секретарь?

— Да разве в должности дело? Я, Андриюшенька,
Дочь города. Нравится звание?

— Неслабо... Отцы и Дети, значит... И много вас —
Дочерей?

— Дочерей — не очень. Сыновей больше. И Первый
у нас — Сын. — Усмехнулась. Помолчала. Добавила: —
Он сейчас на конференцию уехал, в область.

Умнов мгновенно зацепился за неожиданную инфор-
мацию.

— Как уехал?

— Обыкновенно. На машине. Здесь недалеко, всего
сто двадцать километров.

— По направлению к Москве?

— Нет, в другую сторону.

— Это через Мясниковку ехать надо? — вспомнил
Умнов информацию, полученную от теток у гастронома.

— Да. А почему ты интересуешься?

— Так. Пустое...

Умнов не стал посвящать Ларису в подробности ут-
ренных мытарств да и подозревал: знает она о них —
здесь про него все всё знают, — а только прикидывается
невинной. Этакой Белоснежкой. Ишь, глазки таращит,
ресничками — плюх, плюх. «Здесь недалеко...» Первому
вашему недалеко... А интересно, эти неформашки — чья

идея? Ее?.. Чья бы ни была — идею выдал на-гора или кретин, или гений. Кретин — если всерьез. Гений — если издевки для. Но если издевка — то над кем? Не над ребятами же?..

— Когда твой завод будет?

— Уже приехали, Андрюшенька..

И впрямь приехали.

«Волга» остановилась у массивных железных ворот, густо крашенных ядовитой зеленой масляной краской. Над воротами красовалась металлическая же — полуметровые буквы на крупной сетке — надпись: «Завод двойных колясок имени Павлика Морозова». А рядом с воротами была выстроена вполне современная — стекло и бетон — проходная, куда Лариса и повела Умнова, бросив на ходу кожаному шоферу:

— Ждите нас, товарищ. Мы скоро.

За проходной Умнова и Ларису встречали трое крепких мужчин тоже в серых костюмах, но цвет их был погрязней, да и материал попроще, подешевле, нежели у Отцов города. К примеру: у Отцов — шевииот, а у встречавших — синтетика с ворсом. Или что-то в этом роде, Умнов не шибко разбирался в мануфактуре.

— Знакомьтесь, — сказала Лариса. — Наш гость Умнов Андрей Николаевич, знаменитый журналист из Москвы.

Но встречавших знаменитому почему-то не представила.

Крепкие мужчины крепко пожали Умнову руку, и один из них радушно сказал:

— Приятно видеть. Извините, что директор и зам встретить не смогли. Они готовятся.

— К чему? — спросил Умнов.

В воспаленном событиями сознании Умнова возникла ужасающая картина: директор и зам учат наизусть при-

ветственные речи, которые они произнесут на встрече с десятиллионным посетителем Краснокитежска. Каждая речь — минут на сорок...

— К выборам, — пояснил мужчина, несколько успокоив воспаленное сознание. — Вы попали к нам в знаменательный день. Сегодня труженики завода выбирают директора, его заместителя, второго заместителя, главного инженера, главного технолога и главного энергетика.

— Всех сразу? — удивился Умнов.

— А чего тянуть? — отвечал один, а остальные, улыбаясь, синхронно кивали, подтверждая тем самым, что сказанное мнение — общее, выношенное, утвержденное. — Шесть должностей — шесть собраний. Каждое неизвестно сколько продлится: народ должен выговориться. Шесть собраний — шесть рабочих смен. Шесть смен — около тысячи двойных колясок. Тысяча колясок недодано — завод недовыполнит план. Недовыполненный план — недополученная премия трудовому коллективу. Недополученная премия — недо...

— Стоп, стоп, — взволнованный услышанным, Умнов поднял руки: мол, сдаюсь, убедили, дураком был, что спросил. — Все понятно. Недополученная премия — недокупленный телевизор. Недокупленный телевизор — недоразвитая семья. Недоразвитая семья — недостроенный социализм... Цепочка предельно логична... И сколько же вы собираетесь заседать сегодня?

— Ход собрания покажет, — туманно ответил грязно-серый мужчина. — Кандидатов у нас всего девяносто семь, но могут быть неожиданности.

— Ско-о-олько?

Умнова со вчерашнего вечера удивить было трудно, милые ветры перемен дули в Краснокитежске с разных сторон и всегда — непредсказуемо. Но девяносто семь кандидатов — это, знаете ли, в страшном сне...

— Мы провели опрос в городе, народ назвал лучших. Все — в списке.

— Лариса, — тихо сказал Умнов, — это навечно. Мы сорвем программу. Василь Денисыч нам не простит. Кто эти сумасшедшие?

— Не сорвем, — так же тихо ответила Лариса, для которой, похоже, факт гранд-выборов не был откровением. — Все учтено... А это не сумасшедшие, а представители общественных организаций. Хозяева завода.

— Ошибаешься, Лариса, — мило поправил ее Умнов, неплохо поднаторевший в развешивании ярлыков. А и то верно: каждый журналист — немного товаровед. — Хозяева завода — рабочие, а представители общест-венности — Слуги народа.

— Не совсем так, — не согласилась Лариса. — Слуги народа освобожденные, те, кто за службу зарплату получает. А эти трое — выборные, двое — итээровцы, третий — сам рабочий. Значит, хозяева...

Так они шли, мило беседуя на социально-терминологические темы. Умнов слушал ее и недоумевал. Вроде она всю эту чепуху всерьез несет — не улыбнется даже. А в голосе — Умнов чувствовал! — сквозила легкая ирония. Над кем? Над чем? Над сложной иерархией наименований? Или над ним, Умновым, иерархию эту не знающим?.. Хозяева им не докучали — неслись вперед, на собрание торопились, на демократический акт. И все же любопытный Умнов успел задать мучивший его вопрос, отвлек хозяев от ненужной спешки к вершинам демократии.

— А скажите мне, — крикнул он им в литые спины, — почему коляски — двойные?

— По технологии, — бросил через плечо Хозяин-рабочий. — По утвержденному в Совмине СНИПу... Поспешайте за нами, товарищ журналист. И так опаздываем... — и все трое скрылись в тугих дверях заводоуправления.

— Ничего не понял, — отчаянно сказал Умнов, поднимаясь рука об руку с Ларисой по широкой лестнице, ради праздника устланной ковровой дорожкой.

Лариса сжалилась, объяснила:

— Двойные — это общий термин. А так мы делаем коляски для двойняшек, тройняшек, четверняшек и пятерняшек. — И добавила нудным голосом гида-профессионала: — Единственный завод в Союзе.

— И большой спрос на пятерняшные? — праздно поинтересовался Умнов.

— Республики Средней Азии до последней разбирают.

Больше Лариса ничего добавить не успела, потому что они вошли в большой актовый зал, дотесна заполненный рабочим людом. Умнов ожидал увидеть в президиуме добрую сотню клиентов — все кандидаты плюс несколько главных Хозяев, но на сцене было на удивление малоллюдно: всего семь человек сидело за столом президиума, крытым зеленым бильярдным сукном. Справа от стола стояли всегда переходящие знамена, древки которых напоминали опять же бильярдные кии. В зале тут и там понатыканы были софиты, между первым рядом и сценой расположились телевизионщики с переносными камерами, фотографии с «лейками», «никами» и «зенитами», а также один художник-моменталист, который мгновенно рисовал портреты трудящихся на листах в альбоме, вырывал их и щедро дарил портретируемым. Еще на сцене стояло два стенда, на коих разместилось множество черно-белых фотографий.

— Кандидаты, — поясняяще шепнула Лариса.

Они малость задержались в проходе, пытаясь хоть куда-нибудь протолкнуться, и немедля были замечены из президиума.

— Товарищ Умнов, — крикнули оттуда, — сюда, пожалуйста.

— Спасибо, я здесь пристроюсь, — крикнул в ответ Умнов и скоренько уселся одной ягодицей на половинку стула в десятом ряду: сидевший с краю радушно подвинулся.

— Идемте, Андрей Николаевич, нам туда надо, —

на людях Лариса называла его официально — на «вы».

— Тебе надо, ты и иди, — вспомнил забытую было тактику Умнов. — А мне и здесь хорошо.

— Только не убегай, — жалобно попросила Лариса. А закончила бодро: — Когда увидимся?

— В шесть часов вечера после собрания, — привычно схамил Умнов. — Иди, тебя ждут.

Лариса помедлила секунду, соображая: «в шесть часов» — это шутка или всерьез? Потом, видать, вспомнила название старого фильма, расцвела улыбкой и решительно поперла к сцене. Как ни грубо звучит это слово, но другого не подобрать: именно поперла, расталкивая локтями, плечами, коленями забивших проходы вольных выборщиков. Добралась до президиума, села с краешку — как и положено хорошо воспитанной Дочери.

Председательствующий — костюмчик у него был чисто серым, да и лицо Умнову знакомым показалось: не он ли на банкете слева от Василь Денисыча сидел? Он, он, из Отцов, родимый... — монументально поднялся, монументально постучал стаканом по графину с водой и монументально же повел речь. И хотя грамотный Умнов понимал, что монументально стучать или говорить — это не по-русски, монументы не разговаривают, иного сравнения к случаю не нашел. Здешние монументы умели все.

— Мы собрались здесь сегодня для того, — начал монумент, чтобы совершить воистину демократический акт: избрать руководителей завода, которые достойно смогут осуществлять на своих постах вашу, товарищи, политику. Ту, значит, которую вы им накажете проводить. А поэтому город, скажу я вам, серьезно отнесся к процессу. Названы самые достойные люди Красноки-тежска, самые уважаемые. Вот, например, учительница по физике Кашина Маргарита Евсеевна — ее, как будущего главного энергетика, школьники называли, ваши, так сказать, дети, внуки, и гороно поддержало... Вот

бригадир слесарей ДЭЗа № 8 Мелконян Гайк Степанович. На его участках ни разу не было аварий в водоснабжении и, извините, канализации, а на этих участках вы сами живете, сами пользуетесь благами цивилизации, которые стойко охраняет ваш кандидат на пост главного технолога. Вот зубной врач стоматологической поликлиники Тамара Васильевна Рванцова, вы ее тоже хорошо знаете, она председатель женсовета вашего завода, точнее — совета жен, которые, кстати, на пост директора ее и выдвинули. Ваши жены, дорогие друзья, ваши, простите за каламбур, домашние королевы... А вот и от пенсионеров кандидат: бывший бригадир заливщиков, ветеран войны и труда Старцев Григорий Силыч, тоже, заметим, председатель, но — совета ветеранов завода. Он у нас на директора от ветеранов идет... Да что тут долго перечислять! Вы списки видели, изучали, обсуждали, всех кандидатов знаете: и на пост директора, и на посты его заместителей, и на другие важные посты. Добавлю лишь, что наравне с остальными будут баллотироваться и нынешние руководители завода, которых вы тоже знаете. Так что нечего тут китайские церемонии разводить, не в Китае живем, давайте обсуждать. Хлестко и нелицеприятно.

И сел Отец города — чистый монумент, памятник развитому социализму.

Умнов осмотрелся: неужели присутствующие в зале, забившие его до отказа, весь этот бред принимают всерьез? Неужели они всерьез будут голосовать за слесаря с дантистом? Неужели никто не встанет и не скажет: «Ребята, демократия — это вам не игра в солдатики. Чур, сегодня я — генерал, а завтра ты им будешь...» Ну ладно, банкет с компотом — безобидный, в сущности, идиотизм. Ну ладно, костюмированные панки с металлистами — тоже слегка допустить можно, сама идея их «движений» в основе своей не шибко серьезна... Но директор-то профессионалом должен быть! Энергетик с технологом дело знать обязаны!.. И вдруг он

услышал внутри себя голос, который складно произнес давным-давно слышанное: «Не боги горшки обжигают, товарищ Умнов». То-то и обидно, что не боги. Разве за сѣмь с лишним десятилетий, что родная власть существует, не было у нас такого, чтобы вчерашний химик становился министром... чего?.. ну, скажем, культуры, а вчерашний металлург — сегодняшним председателем колхоза? Было, было, сотни раз было! Разве хороший директор завода или фабрики не бросался с размаху на партийную работу, где надо не только людей понимать, но и такую кучу проблем решать, с которыми он у себя на заводе и не сталкивался... Старый принцип: не сможешь — поможем, не справишься — перебросим. Был начальником тюрьмы — становись директором театра. Был оперным певцом — поруководи цирком в масштабе страны... А что такого? Ну, к примеру, выберут они сегодня учительницу физики главным энергетиком — так она ж не одна в энергетической службе. У нее подчиненные — профессионалы. Да и сама она про энергетику в своем институте учила, закон Ома от закона Джоуля—Ленца запросто отличает. Так что пусть работает. Опять повторим: не боги горшки обжигают... Господи, взмолился Умнов, доколе же мы будем жить по этому вздорному принципу? Когда поймем наконец, что не горшки обжигать надо — державу спасти от плохих горшечников...

Но тут в президиуме произошло некое шевеление, и у Умнова, который уже ничему не удивлялся, зародилось подозрение, будто устроители нынешнего фарса кое-что приберегли про запас. Более того, почтеннейшая публика о том распрекрасно ведает, иначе почему «народ безмолвствует»?..

Отец-председатель снова поднялся и сделал существенное добавление.

Он так и заявил:

— Есть, товарищи, существенное добавление. В президиум поступили самоотводы. Вот что пишет, напри-

мер, товарищ Кашина: «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на ниве среднего образования». Благородное заявление, товарищи, граждански мужественное. Думаю, надо уважить. Будем голосовать сразу или другие самоотводы послушаем?

Из зала понеслось:

— Другие давай... Чего там канителиться... Списанием будем...

— Значит, еще самоотвод — Мелконяна Гайка Степановича. «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на ниве водоснабжения и канализации». Тоже гражданский поступок, товарищи, нельзя не оценить самоотверженности товарища Мелконяна... А вот что заявляет нам Тамара Васильевна Рванцова: «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на ниве зубопротезирования». Тут еще много самоотводов, общим числом... — он наклонился к грязно-серому соседу, тот что-то шепнул ему, — общим числом девятью один экземпляр. Фамилии перечислить?

— Не надо!.. — заорали из зала. — Догадываемся!.. Голосуй, кто остался!..

— А остались у нас в списке для голосования те, кого вы лучше всего знаете. На пост директора завода баллотируется нынешний директор Молочков Эдуард Аркадьевич. На посты его заместителей — его заместители Тишкин В. А. и Потапов Г. Б. На пост главного энергетика...

Дальше Умнов не слушал. Согнувшись в три погибели, он пробирался сквозь толпу к выходу — чтоб только из президиума его не заметили, чтоб только бдительная Лариса не окликнула, не приказала безжалостно отловить. У Умнова был план. К его великому сожалению, план этот касался не побега вообще — судя по утренним экзерсисам, он пока обречен на провал, — но из-

учения вариантов побега: назрела мыслишка кое-что посмотреть в гордом одиночестве, кое-что проверить, кое-что прикинуть. А там — пусть ловят. Там, если хотите, он и сам сдастся...

Он вышел в фойе и облегченно вздохнул. Фарс с горшками для богов обернулся фарсом с выборами для демократии. Списочек составили, кандидатов наворотили — сотню, перед вышестоящими инстанциями картинку выложат — закачаешься. Инстанции — они сейчас хоть и делают вид, что только наблюдают со стороны, а на самом деле ой-ой-ой как во все влезают. Со стороны. Вот почему здесь выбирают одного из одного. Или — точнее! — шестерых из шестерых. Богатый выбор... Впрочем, и это, как говорится, часто имеет место — в той же первопрестольной, например. Умнов с усмешкой вспомнил, как недавно выбирали нового директора столичного издательства, как сидел он — демократический кандидат! — один-одинешенек на сцене перед сотрудниками, как пересказывал свои анкетные данные, о коих всем присутствовавшим известно было досконально. А их, к примеру, интересовало: сколько у кандидата жен было, венчанных и невенчанных, — так ведь не спросишь о том, несмотря на объявленную гласность... Да разве только издательство?.. Сколько в газету писем приходит — о таких, с позволения сказать, выборах! Умнов, сам вопросами экономики не занимающийся, тем не менее в экономический отдел частенько захаживал, почту просматривал: а вдруг да и выплывет что-то по его теме, что-то нравственное. И выплывало. И находил. И писал — остро и зло...

Но сейчас его интересовало совсем другое.

Умнов сбежал по ковровой лестнице, миновал заводской двор — пустой в этот час, лишь сиротливо стояли автопогрузчики, электроплатформы, маленькие электромобильчики «Пони», и лишь у трех красных

КамАЗов с прицепами курили шоферы, сплевывали на асфальт и негромко матерились. Их-то и надеялся увидеть Умнов: заметил машины, когда спешил на собрание.

— Чем недовольны, командиры? — бодро спросил он, подходя к шоферам, доставая из кармана рубашки духовитую индийскую сигаретку «Голд лайн» и ловко крутя ее в пальцах.

Один из камазовцев приглашающе щелкнул зажигалкой.

— Не надо, — отстранился Умнов. — Бросил. Просто поддержку за компанию.

Умнов никогда не курил, но сигареты при себе держал: образ бросившего сильно сближал его с курящими собеседниками. Маленькие журналистские хитрости, объяснял Умнов, перефразируя любимый штамп известного футбольного комментатора.

Камазовцы на штамп клюнули.

— Завидую, — сказал один, в ковбойке, смачно затягиваясь. — А я вот никак...

— Сила воли плюс характер, — добавил второй, в майке, цитатку из Высоцкого.

— Так чем же недовольны? — повторил вопрос Умнов, пресекая ненужные всхлипы по поводу собственной стойкости.

— Стоим, — сказал первый шофер и добавил несколько идиоматических выражений. — Они, блин, там штаны протирают, глотки дерут, а мы здесь загорай на халяву...

— За готовой продукцией приехали?

— За ней, чтоб у ней колеса поотваливались.

— И далеко повезете?

— На базу.

— А база где?

— Слушай, ты чего пристал? Шпион, что ли?

— Шпион, шпион.... Так где база?

— Что сломает?.. — Павлик взлез на оставленный у стены стул, поставил на нее, на ее верхнюю грань, тарелку с бутербродами и бутылку пепси. — Дед, возьми пищу, не дури... — спрыгнул на пол, сел на стул, подкатил к себе столик. Снова повторил: — Что сломает?.. Вот ты вчера говорил, будто наше поколение инфантильное и забалованное, будто мы не научились строить, а уже рвемся ломать. А спроси меня, дед: что мы рвемся ломать?

— Что вы рветесь ломать? — помедлив, спросил Топорин.

Слышно было, что он опять идет к стене переговоров, толкая впереди спасительный стул.

— Стену, дед, стену, — ответил Павлик. — Я же говорил вчера...

— Но ты, Павел, поминал абстрактную стену, так сказать идеальный объект.

— А он стал материальным.

— Это нонсенс.

— Ничего себе нонсенс, — засмеялся Павлик и постучал бутылкой по стене. — Долбанись лбом — поверишь.

— Грубо, — сказал Топорин.

— Зато весомо и зримо. Против фактов не попрешь, дед.

— Смотря что считать фактами... Ну, ладно, допустим, ты прав и стена непонимания, о которой ты так красиво витийствовал, обрела... гм... плоть... Вот же бред, в самом деле! — Топорин в сердцах вмазал кулаком по кирпичам, охнул от боли. — Черт, больно!.. Ну и как же мы ее будем ломать? Помнится, ты жаждал лома, отбойного молотка, чугунной бабы... Беги, доставай, бей!

— Бесполезно. Бить надо с двух сторон.

— И мне принеси. Я еще... э-э... могу.

— Конечно, можешь, дед, — ласково сказал Павлик, — иначе я бы с тобой не разговаривал. Но вот ведь

хитрость какая: не разрушив идеальную, как ты выражаешься, стену, не сломать и материальной. Этой.

— Вздор! — не согласился дед. — Принеси лом, и я — я! — докажу тебе...

— Что докажешь? Выбьешь десяток кирпичей? А они восстановятся. Сизифов труд, дед.

— Они не могут восстановиться! Это фантастика!

— А что здесь не фантастика? Разве что мы с тобой...

— Но как мы станем жить?!

— А как мы жили, дед?

— Как жили? Нормально.

— Ты ни-че-го не понял, — обреченно проговорил Павлик.

— Нет, я понял, я все понял, — заторопился Топорин. Попытался пошутить: — В конце концов, кто из нас профессор? — сказал с сомнением: — Но ведь так невозможно — со стенами?..

— А я тебе что твержу? Конечно, невозможно! Похоже, дед, что ты и впрямь начинаешь кое-что понимать.

Он встал и услышал, что дед по ту сторону кирпичной преграды тоже встал. Так они стояли и молчали, прижав к стене с двух сторон ладони, смотрели на нее сквозь плотный туман, и одно у них сейчас было желание — нестерпимое, больно щемящее сердце. Увидеть друг друга — всего-то они и хотели.

Старик Коновалов и парень в белой куртке сидели на лавочке на набережной Москвы-реки и смотрели, как по серой плоской воде маленький буксирный катерок с громким названием «Надежда» тянет за собой стройную и длинную баржу. Катерок пыхтел, натужно пускал в реку синий дымок, но дело свое делал исправно.

— Дай закурить, — попросил Коновалов.

— Вот, блин, прилип... Ну, на Робинзона Крузо, срок два. Доволен, шпион?

— Это улица такая?

— Нет, блин, пивная!.. Конечно, улица.

— В Краснокитежске?

— Ну не в Лондоне же!..

— Так вы местные... — в голосе Умнова послышалось такое откровенное разочарование, что первый камазовец, гася бычок о подошву тираспольской кроссовки, спросил не без сочувствия:

— Поправиться, что ли, хочешь?.. Нету у нас, друг. Сходи в стекляшку, скажи Клавке, что от Фаддея — она даст, она добрая...

— Да нет, я не пью, — отмахнулся Умнов. — Я так просто. А кто коляски из города повезет? Выходит, не вы?..

Тут вмешался третий камазовец, самый из них солидный — килограммов под сто, до сих пор хранивший гордое молчание.

— А не пойдешь ли ты туда-то и туда-то? — спросил он, называя между тем вполне конкретный адрес отсылки.

— Не пойду, — не согласился Умнов. — Ребята, вы не поверите, но меня в этом вашем Краснокитежске заперли. Хотел сегодня уехать, мне на юг надо, а ни хрена не вышло.

Камазовцы посуровели. Легкое, но гордое отчуждение появилось на их мужественных, изборожденных ветрами дорог лицах.

— Бывает, — туманно сказал первый, в ковбойке.

Остальные молчали, разглядывали небо, искали признаки дождя, грозы, смерча, самума, будто не ехать им по разбитым магистралям Краснокитежска, а взмывать над ним в облака с ценным грузом двойных колясок для среднеазиатских пятерняшек.

— Что бывает? — настаивал Умнов.

— А не пойдешь ли ты туда-то и туда-то? — спросил третий, не изменив конечного адреса.

— Ребята, я серьезно. Понимаете — плохо мне. Страшно.

И тогда, словно поняв умновские зыбкие страхи, первый камазовец полуобнял Умнова, дыхнув на него сигаретно-пивным перегаром, и шепнул доверительно:

— Поверь на слово, друг: не рыпайся. Раз не можешь выбраться, значит — судьба. Значит, Красноки-тежск — твой город.

— Какой мой? Какой мой? Я из Москвы, понял? Москвич я! Коренной!

— А чем твоя Москва от Краснокитежска отличается? Та же помойка. Только больше... Ладно, некогда нам с тобой ля-ля разводить. Бывай, москвич. Держи нос по ветру, верное, блин, дело.

И все сразу, как по команде, пошли прочь, не оглядываясь, не попрощавшись, будто дела у них в момент подвернулись — важней некуда, будто спешка выпала — все горит, все пылает, не до пустого им трепа с посторонними шпионскими хаями.

И тут перед Умновым возник кот. Не исключено, что он был родным братом утреннего приятеля Умнова, а может, и сам приятель неторопливо дотрусил от гостиницы до завода: и расцветка один к одному, и хвост антенной торчит, и глаз тот же — желтый, в крапинку, с черным щелевидным зрачком. Умнов любил кошек и легко запоминал их в лицо.

— Здорово, — сказал Умнов. — Это ты или не ты?

Кот не ответил, вопреки вздорным утверждениям классиков мировой литературы, повернулся и пошел, чуть покачиваясь на тонких длинных лапах, подрагивая худой антенкой, явно завлекая Умнова за собой. Тогда, утром, припомнил Умнов, он завлекал не зря — до близких ворот довел безошибочно.

Умнов, посмеиваясь про себя, пошел за котом. Думал: люди панически бегут от общения с ним, с пришельцем извне — если, конечно, не считать тех, кто его охраняет, — а кот сам на контакт набивается. Может, это не Умнов — пришелец? Может, это кот — пришелец? Брат по разуму, негласно обосновавшийся в Краснокитежске?..

Так они шли друг за другом — не спеша и вальяжно — и дошли до банальной дыры в крепком металлическом заборе, оградившем завод двойных колясок от непромышленной зоны города. Кот остановился, поглядел на Умнова, мигнул, чихнул, зевнул, утерся лапой, прыгнул в дыру и исчез с глаз долой.

Все-таки не тот кот, не утренний, решил рациональный Умнов. И с чего бы тому из богатого жирными объедками двора пилить через весь город? Нет, это местный кот, хотя и похож, стервец, одна масть...

Малость опасаясь продрать штаны или куртку, Умнов пролез в дыру — нечеловеческой силой разведенные в стороны железные листы — и оказался на большом пустыре, а точнее, на заводской свалке, где маложивописно громоздились какие-то ржавые металлоконструкции, какие-то кипы бумаг, какие-то бидоны и бочки, гигантские искореженные детские коляски — из брака, что ли? — и прочий мусор, вполне уместный на заводском чистилище.

Кругом — ни живой души.

И кот пропал.

— Ау, — негромко сказал Умнов, — есть тут кто?

Подул ветер, поднял с земли бумажки — смятые, грязные, кем-то давно исписанные, истыканные синими печатями, поднял какие-то пестрые ленточки, тряпочки лоскутки, все это закружилось над бедным Умновым, понеслось над его головой, а кое-что и на голове задержалось: красная лента прихотливо обвила лицо, запуталась в волосах. Умнов лихорадочно сорвал ее, бросил, брезгливо вытер ладонь о шершавую ткань джин-

сов. А ветер исчез так же внезапно, как и возник, шустрый вихрь из вторсырья улегся на свои места, и в тот же миг из-за металлоломного террикона выступил странноватый тип — худой, длинный, покачивающийся на тонких ногах, как заводской кот. У Умнова мелькнула совсем уж бредовая мысль: а не сам ли кот перевоплотился? Вполне в духе общего сюжета...

На коте, то бишь на субъекте, болтался непонятного цвета свитер грубой вязки «в резинку», тощие ноги его облегали бывшие когда-то белыми штаны. Был он бородат, усат и вообще длинноволос. Если бы не возраст — лет тридцать—тридцать пять! — Умнов вполне мог бы принять его за одного из переодетых Ларисиных неформашек. Но нет, те были слишком чистыми, буффонно-карнавальными, а этот выглядел вполне настоящим.

— Здравствуйте, — вежливо сказал Умнов.

Субъект не отвечал, пылливо разглядывая Умнова, будто соображая: сразу его тюкнуть по кумполу остатками двойной коляски или малость погодить.

Умнову молчание не нравилось.

— Это к вам меня кот привел? — пошутил он. Так ему показалось, что пошутил.

Но смех смехом, а идиотский вопрос заставил субъекта подать голос.

— Какой кот? — спросил он.

Голос у него был под стать внешнему виду: тусклый, сипловатый — поношенный.

— Обыкновенный, — растерялся Умнов, что было на него совсем непохоже: герой-журналист, зубы съевший на общении с кем ни попадя, — и вдруг, и вдруг... — Шутка. Извините.

— При чем здесь кот? — раздраженно произнес субъект. — Мы ищем вас по всему городу, они, — он выделил слово, — вас закуклили, не пробиться...

Умнов встрепенулся:

— Как закуклили? Что значит закуклили? В смысле — захомутали? Кто? Как?

— Да какая разница — как! — субъект раздражался все больше. — Есть способы... А они — это они, сами знаете... Слушайте, нам надо поговорить.

— Говорите.

— Здесь? — субъект засмеялся. И смех-то у него был скрипучим, ржавым — как со свалки. — Да здесь нас засекут в два счета!.. Нет, потом, вечером. В одиннадцать будьте в номере, вам свистнут.

— Кто свистнет? Откуда? И вообще, кто вы?

— Вы понять хотите?

— Что?

— Все.

— Очень хочу.

— Всею свое время. Будьте в номере.

— А если меня караулить станут? — резонно поинтересовался Умнов. — Совсем... это... закуклят?

Субъект опять засмеялся.

— Больше некуда... Ваше дело — одному остаться. Остальное — наши заботы.

— Да кто вы наконец? — обозлился Умнов от всего этого дешевого таинственного камуфляжа: тут тебе и свалка, тут тебе и ветер, тут тебе и кот-пришелец, и субъект из фильма ужасов. — Не скажете — не приду.

— Придете, — отрезал субъект. — Мы вам нужны так же, как и вы нам. Все. Ждите.

И скрылся за терриконом, откуда и возник. Умнов рванулся было за ним, но поздно, поздно: проворный субъект, знавший, видимо, свалку, как собственную квартиру — а была ли она у него, собственная?! — исчез, затерялся за мусорными кучами, ушел, как под обстрелом. А вдруг и впрямь под обстрелом?

Узнать бы, что происходит, горько думал Умнов, пролезая в дыру и шествуя к заводууправлению. Я же терпеть не могу фантастику, я же в своей жизни, кроме Жюль Верна, ничего фантастического не читал. А тут — на тебе... Кто этот тип со свалки? По виду — алкаш из гастронома... Скорей бы вечер...

Заводской двор был по-прежнему пуст, даже камазовцы куда-то слиняли. Умнов сел на бетонные ступеньки у входа в заводоуправление и стал ждать.

Что еще мне сегодня предстоит, вспоминал он? Образцовая больница со стопроцентным излечиванием всех болезней — от поноса и насморка до рака и СПИДа? Хотя нет, откуда в Краснокитежске СПИД?.. Потом поедем на стадион. Закаляйся, как сталь. Все там будут закалены, как сталь. Как стальные болванки... Нет, дудки, никуда не поеду. Сорву им на фиг программу, пусть закукливают...

Двери захлопали, и из заводоуправления повалил народ. Переговаривались, как ни странно, на любые темы, кроме самой животрепещущей — темы выборов.

Слышалось:

- ... утром судака давали...
- ...а он мяч пузом накрыл и привет...
- ... после смены я к Люське рвану...
- ... а я в телевизор попал...
- ... ну и кретин...

Люди жили своими маленькими заботами — привычными, каждодневными, и ведать не ведали, что их города и на карте-то нет. Плевать им было на карту! Они точно знали: есть город, есть! Какой-никакой, а вот он, родимый! И другого им не надо.

— Здрасьте пожалуйста, вот он куда скрылся, — из-за спины сидящего Умнова, которого народ аккуратно обтекал, раздался веселый голос Ларисы.

Умнов встал.

— Жарко там. И скучно. Чем кончилось?

— Единогласно, — торжествующе сказала Лариса. И опять не понял Умнов: всерьез она или издевается. — Все кандидатуры одобрены народом без-о-го-во-ро-ч-но.

— А ты сомневалась? — подначил Умнов.

Но Лариса подначки не приняла.

— Сомневаться — значит мыслить, — засмеялась она, все в шутку перевела, умница, — А я мыслю, Анд-

рюшенька. И знаешь о чем? О хорошей окрошечке. Ты как?

Мысль «об окрошечке» у Умнова отвращения не вызвала.

— Можно, уговорила, — все-таки склочно — тактика, тактика! — сказал он.

— Тогда поспешим. Дел впереди — куча.

Сначала окрошка, решил Умнов, а потом истина. Не буду портить обед ни себе, ни ей. Отрекись от программы после еды.

Отречься не пришлось. Только сели в машину — телефонный звонок. Мрачный шофер почтительно и бережно, двумя пальцами, снял трубку, помолчал в нее и протянул Умнову.

— Умнов, — сказал в трубку Умнов.

— Приветствую вас, Андрей Николаевич, — затрещала, зашкворчала, засвиристела трубка. Неважнецки у них в городе радиотелефон работал. — Это Василь Денисич. Обедать едете?

— Угадали.

— Не угадал, а знаю... Как вам выборы?

— Мура, — невежливо сказал Умнов. — Показуха, липа и вранье. Зачем они нужны? Оставили бы старых начальников и — дело с концом. Без голосования.

— Плохо вы о людях думаете, товарищ Умнов, — голос Василь Денисича приобрел некую железность, некую даже сталистость. Мистика, конечно, но ведь и треск в трубке исчез. — Мы спросили людей. Люди называли тех кандидатов, кому они верят, кого они уважают. Это во времена застоя собственное мнение за порок почиталось, а сегодня оно — краеугольный камень социализма. И не считаться с ним — значит выбить из-под социализма краеугольный камень.

— Зубодера — в директора? — зло спросил Умнов. — Да за такое мнение, чье бы оно ни было, штаны

снимать надо и — по заднице... этой... двойной коляской.

— Любое мнение надо сначала выслушать. А уж потом объяснить человеку, что он не прав. Понятно: объяснить. И он поймет. Народ у нас понятливый, не раз проверено. Вот и зубодер, как вы изволили выразиться, уважаемая наша товарищ Рванцова, сама отказалась от высокой чести быть избранной...

— А не отказалась бы? А избрали бы? Так бы и директорствовала: чуть что не по ней — бормашиной по зубам?..

— Абстрактный спор у нас получается, товарищ Умнов. И не ко времени. Но от продолжения его не отказываюсь: надо поговорить, помериться, так сказать, силенками. Кто кого...

— Абстрактному спору — абстрактная мера, — усмехнулся Умнов. — Кто кого, говорите? Да ежу ясно: вы меня!

Василь Денисыч ничего на это не возразил, только промолвил дипломатично:

— Не пойму, о чем вы... Ну да ладно, не будем зря телефон насиловать. Дайте-ка Ларисе трубочку. Она с вами?

— Куда денется, — проворчал Умнов, передавая трубку Ларисе.

Та к ней припала, как к целебному источнику. Не воды — указаний... И ведь хорошая баба, красивая, крепкая, молодая, неглупая, а как до дела, так будто и нет ее, одно слово — Дочь. Наипослушнейшая. Наипочтительная. Наивсеостальное...

— Слушаю вас, Василь Денисыч... Да... Да... Да... Нет... Да... Нет... Понятно... Сделаем... Да... будем, — отдала трубку шоферу, который как сидел неподвижно и каменно, так и не сдвинулся с места ни на микрон.

Монументная болезнь — это, по-видимому, заразно весело подумал Умнов. Как бы не схватить пару бацилл, как бы не замонументиться.

— Есть новые указания? — ехидно спросил он.

— Изменения в программе, — озабоченно и почему-то сердито сказала Лариса. — Больница пока отменяется, там карантин по случаю годовщины взятия Бастилии. После обеда нас будет ждать Василь Денисыч. У него есть планы...

— Планы — это грандиозно, люблю их громадьё, — согласился Умнов, радуясь, что не придется самому отказываться от программы — А из-за чего карантин, подруга? Никак у вас все больные — потомки парижских коммунаров? поголовно...

Лариса не ответила, сделала вид, что ужасно занята собственными государственными мыслями, помолчала, мимоходом бросила шоферу:

— В кафе «Дружба». — Опять молчала, что-то явно прикидывая, соображая. Что-то ее расстроило, что-то явно выбило из привычной ура-патриотической колени.

Умнов некоторое время с легким умилением наблюдал за ней, потом сжалился над девушкой, нарушил тяжкое молчание:

— Окрошка-то не отменяется?

И надо же: дурацкого вопроса хватило, чтобы Лариса расцвела — заулыбалась в сто своих белейших зубов.

— Окрошка будет. Это кооперативное кафе. — Добавила дежурно: — Пользуется большой популярностью в нашем городе.

— Твои ребята его обустраивают?

— Нет, что ты! Мои — другое. А это... Ну, сам увидишь.

Она замолчала, явно успокоенная внешним миролюбием Умнова, а он празднично глянул в окно и вдруг заметил на углу вывеску: «Почта. Телеграф. Телефон». Заорал:

— Стоп! Остановите машину.

Шофер как не слышал — даже скорости не сбросил. Зато Лариса быстро сказала:

— Притормозите, притормозите. Можно. — И к Умнову: — Что случилось, Андрюша?

— Ноги затекли, — грубо ответил он. — Я что, даже выйти не могу по собственному желанию? Это чучело за рулем — человек или робот?

Чучело на оскорбление не среагировало. Подкатило к тротуару, вырубил зажигание.

Умнов выскочил из машины, хлопнул дверью так, что она загремела, побежал назад, поскольку почту они солидно проскочили. Оглянулся: Лариса стояла у «Волги» и за ним гнаться не собиралась. Показывала, значит, что кое-какая самостоятельность у него есть.

Умнов вошел на почту, заметил стеклянную дверь с надписью по стеклу «Междугородный телефон», толкнул ее и сразу — к девушке за стойкой:

— В Москву позвонить можно?

Девушка подняла глаза от какого-то длинного отчета, который она прилежно составляла или проверяла, и сказала сердито:

— Линия прервана.

— А в Ленинград?

— И в Ленинград прервана.

Не вышел фокус, понял Умнов, и здесь обложили. Прямо как волка...

Его охватил азарт.

— А в Тбилиси? Новосибирск? Архангельск? Барнаул?..

— Я же сказала вам русским языком, гражданин: линия прервана. Понимаете: пре-рва-на. Связи нет даже с областью.

— А что случилось? — Умнов был нахально настойчив, работал под дурачка. — Бульдозерист кабель порвал? Внезапный смерч повалил столбы? Вражеская летающая тарелка навела помехи на линию?

— Все сразу, — сказала телефонистка, не отрываясь от отчета и всем своим видом показывая, что Умнов ей надоел до зла горя, что ничего больше она объяснять не желает, не будет и пусть Умнов, если хочет, пишет жалобу — жалобная книга у завотделением.

Вслух ничего такого она не произнесла, но Умнов достаточно много общался с подобными девицами на почтах, в магазинах, химчистках или ремонтных мастерских, чтобы понимать их без слов. Даже без взглядов. По конфигурации затылка.

— Печально, — подвел он итог. — И когда починят, конечно, неведомо?

— Когда починят, тогда и заработает, — соизволила ответить девица, вдруг вспомнила что-то важное, что-то неотложное, вскочила, вспорхнула — заспешила в подсобную дверь. Спаслась, так сказать, бегством.

Город дураков, злобно подумал Умнов. Все они напуганы до колик, до дрожи, до горячей тяжести в штанах. Четвертуют здесь, что ли, за разглашение местных тайн? Головы отрубают? В лагерь ссылают?.. Ага, вот и идея: хочу побывать в местном исправительно-трудовом учреждении. Хочу пообщаться с теми, кто открыто пошел против власти. С местными диссидентами. Может, они чего путного расскажут...

Когда вернулся, Лариса по-прежнему ждала около машины.

— Как ноги? — в голосе ее была здоровая доза ехидства.

— Спасибо, хорошо, — мрачно ответил Умнов и полез в «Волгу». — Скажи этому истукану, что можно ехать.

В кафе их ждали. Два черноволосых и черноусых красавца южнокавказской наружности стояли у дверей кооператива «Дружба» и всем своим видом выражали

суть упомянутого названия. Было в них что-то неуловимо бутафорское. Как в Ларисиних неформашках.

— Здравствуйте, мальчики, — сказала им Лариса. — Надеюсь, покормите? Местечко найдете?

— Ради вас, Ларисочка, всех других прогоним, — галантно заявил один усач с картинным акцентом. — Для вас все самое-самое отдадим, свое отдадим, голодными останемся — только чтоб вы красиво улыбались...

— Никого выгонять не надо, — строго сказала Лариса. — Ишь, раскокетничались... Знакомьтесь лучше. Это Андрей Николаевич, он из Москвы.

— Гиви, — представился первый усач.

— Гоги, — представился второй.

— Прошу вас, гости дорогие, — Гиви торжественно повел рукой. Гоги торжественно распахнул дверь. Умнов с Ларисой торжественно вошли в кафе.

Не хватает только свадебного марша, подумал Умнов.

И в ту же секунду невидимые стереоколонки исторгли легкое сипение, кратковременный хрип, стук, щелк — игла звукозаписывающей ранов встала на пластинку — и голос известного своим оптимизмом шоумена обрадовал публику сообщением об отъезде в Комарово, где — вспомнил Умнов — торгуют с полвторого.

Публика — а кафе было заполнено до отказа, свободных столиков Умнов не заметил — сообщение об отъезде шоумена приняла благосклонно, но равнодушно: никто от обеда не оторвался. Как никто не обратил особого внимания на появление Умнова и Ларисы в сопровождении кооперативных владельцев кафе.

Их посадили за маленький столик в дальнем углу, предварительно сняв с него табличку «Заказан». Столик был покрыт грязноватой клетчатой скатертью, а в центре ее под перечно-солоночным комплектом и вовсе растеклось жирное пятно.

— Что будем кушать? — спросил Гиви. Гоги исчез — скрылся в кухне.

Умнов решил опять немного похамить. Хотя почему похамить? Что за привычные стереотипы? Не похамить, а покачать права, которые, как известно далеко не всем, у нас есть.

— Почему скатерть грязная? — мерзким тоном поинтересовался Умнов.

— Извини, дорогой, — сказал Гиви, — не успеваем. Нас мало, а люди, понимаешь, кушают некрасиво, культур-мультир не хватает, а прачечная долго стирает... Что кушать будем, скажи лучше?

«Культур-мультир» Умнова сильно насторожило: уж больно избитое выражение, тиражированное анекдотами, а тут — как из первых уст. Гиви вызывал смутное подозрение. В чем?.. Умнов пока не знал точного ответа.

— Смените скатерть, — ласково сказал Умнов. — У вас, мальчики, кафушка-то кооперативная, наши денежки — ваша прибыль. При такой системе клиент всегда прав. А если ему скажут, что он не прав, он уйдет. И унесет денежки. То есть прибыль. Разве не так?

— Ты прав, дорогой! — почему-то возликовал Гиви. — Ты клиент — значит, ты прав!..

Сметнул скатерть со стола, обнажив треснувший голубой пластик, упорхнул куда-то в подсобку, выпорхнул оттуда с чистой — расстелил, складки расправил, помимо солонки с перечницей, еще и вазочку с розой установил.

— Теперь красиво?

— Теперь красиво, — подтвердил Умнов. — Главное, чисто. Так что кушать будем, а, Лариса?

Во время мимолетного конфликта Лариса хранила выжидательное молчание. Умнов заметил: переводила глаза с него на Гиви и — не померещилось ли часом? — чуть усмехалась уголком рта. А может, и забавляла ее ситуация: клиент частника дрючит. Это вам не НЭП забытый! Это вам развитой социализм! Решились доить

советских граждан с попушения Советской же власти — давай качество! У-у, жу-у-лье усатое!..

Но скорей всего ничего такого Лариса не думала. Это Умнов сочинил ей, комсомольской Дочери, классовую ненависть к частникам. А ей, похоже, и впрямь забавно было: кто кого? И какая ненависть могла возникнуть, если окрошка была холодной, острой и густой?

— Вкусно, — сказал Умнов.

— Окрошку трудно испортить, — тон у Ларисы был намеренно безразличным.

А ведь ответила так, чтобы поддеть кооперативных кулинарув, шпильку им в одно место...

— Слушай, Лариса, — Умнов оторвался от первого, — тебе что, эти парни не нравятся, да? Почему, подруга?

— Еще чего!.. — совсем по-бабски фыркнула Лариса, но спохватилась, перешла на официальные рельсы: — Нравится, не нравится — это, Андрюша, не принцип оценки человека в деле. Как он делает свое дело — вот принцип...

— А как они его делают?

— Гиви и Гоги?.. — помолчала. Потом сказала странно: — Свое дело они делают...

— Я спросил: как?

— Как надо, — выделила голосом.

— А как надо? — тоже выделил. — И кому?

— Как — это понятно, — улыбнулась Лариса, — прописная истина... А вот кому... Не могу сказать, Андрюша...

— Не знаешь?

Посмотрела ему прямо в глаза — в упор. А он — уж на что жох по женской части! — ничего в ее глазах не прочел: два колодца, что на дне — неизвестно... Усмехнулся про себя: тогда уж не два колодца, а два ствола. Пистолетных или каких?..

Повторила:

— Не могу сказать... — И радостно, прерывая скользкую, как оказалось, тему: — А вот и Гиви!

Ладно, временно отступил Умнов, я тебя еще достану, тихушницу...

Гиви принес заказанные шашлыки. На длинных шампурах нацеплены были вкусные на вид куски баранины, переложенные кольцами лука. Гиви, явственно пытаясь, сдирал их с шампуров на тарелки.

— А где помидоры? — склочно спросил Умнов. — Шашлык с помидорами жарят. Или не знаете?

— Вах, что за человек! — Гиви на секунду оторвался от тяжелой работенки. — То ему скатерть грязная, то ему помидоров нет!.. Не завезли помидоры, дорогой! Понимаешь русский язык: не завезли! Завтра приходи. А пока такой шашлык кушай. Такой шашлык тоже вкусный, — и метнул на стол две тарелки с шашлычными ломтями.

Акцент его — показалось или нет? — во время последней тирады стал явно слабее.

— Поешь шашлычок, Андрюшенька, — почти пропела Лариса, и в двух синих стволах-колодцах Умнов заметил явно веселые искорки, или, как принято нынче писать, смешинки, озорнинки, лукавинки, — он хоть и жестковат, но есть можно...

Она положила свою руку на умновскую, чуть сжала ее. Смотрела на Умнова без улыбки, строго, и тот почему-то отошел, смягчился, даже расслабился. Зацепил вилкой кусок баранины, подумал: мало того, что она — иллюзионистка, так еще и гипнотизировать может. И с чего это он сдался? Взглядом уговорила?..

Он посмотрел на Ларису. Та сосредоточенно жевала мясо, запивала традиционным краснокитежским клубничным компотом, на умновские страдания внимания не обращала. Ну и черт с тобой, обиделся Умнов и навалился на шашлык. Тот и правду оказался жестким, да еще и жирноватым. Эдак они прогорят в два счета, подумал Умнов, поглядывая по сторонам. Столиков в зале

было штук тридцать, обедающих — полным-полно. Между столиками челночно сновали явно усталые девушки-официантки, таскали тяжелые подносы с едой. Умнов насчитал четверых по крайней мере. Четверо официанток плюс Гиви. И плюс Гоги. И, наверно, плюс еще кто-то. Не много ли для кооператоров?.. Или они на чем-то ином прибыль вышибают? На контрабанде помидорами, например...

— Я пройдуся. — Умнов встал и, не дожидаясь реакции со стороны Ларисы, неторопливо пошел по залу.

Ни Гиви, ни Гоги в зале не было. Какая-то официанточка, тыкая пальчиком в пупочки микрокалькулятора, кого-то обсчитывала: либо в переносном смысле, либо в буквальном. Умнов деловито прошел мимо, завернул за деревянный щит, отделявший кухню от зала, и остановился, укрывшись за выступом стены. В кухне работали трое женщин и трое мужчин: кто-то у плиты, кто-то на резке, кто-то на раскладке. Итак, плюс шесть... От кухни шел коридорчик, в конце которого виднелась узкая дверь с латинскими буквами WC. Вот и повод, решил Умнов, целенаправленно руля по коридору к замеченной двери. По пути он миновал и другую — с надписью «Заведующий». Она была неплотно прикрыта, и оттуда слышались голоса. Говорили трое. Два голоса показались Умнову знакомыми, третьего он никогда не слышал. Но именно третий произнес то, что заставило Умнова продолжить спонтанно начатую игру «в Штирлица».

— ...мне все это подозрительно, — вот что услышал Умнов — конец, видимо, фразы или монолога.

Услышал, остановился, замер и принялся подслушивать.

— А плевать мне на тебя, — произнес другой — со знакомым голосом. — Подозревай, сколько хочешь.

— А на Василь Денисыча тоже плевать?

— Василь Денисыч мог бы раньше предупредить.

— Значит, не мог.

— Мог или не мог — поздно решать, — вмешался еще один, тоже со знакомым голосом. — Вопрос в другом: что он знает?

— Да многое? И что с того?

— Это, ребята, не ваша забота, — сказал незнакомый. — Вы за что деньги получаете? За дружбу. — Или он имел в виду кафе «Дружба»? — Зарплата, между прочим, будь здоров, как у народных...

— Я и так заслуженный, — обиженно сказал первый знакомый голос.

— Ну и играл бы своих гамлетов, заслуженный. За сто тридцать минус алименты.

— Ты мои алименты не трогай, рыло!

— А за рыло можно и в рыло.

— Кончайте, парни, — вмешался второй знакомый. — Работа есть работа. Роль не хуже других. Только надоела — сил нет... Ты мне лучше скажи, Попков, какого черта нас впутали в эту историю?

— Нужно было кооперативное.

— Вывеску? Других вывесок мало? Полон город вывесок...

— Но-но, полегче на поворотах...

— Попков, милый, чего полегче, чего полегче? Не пугай ты нас, пуганые. Ну вернут в труппу на худой конец — и что? Только вздохнем...

— Скорей задохнетесь, — хохотнул незнакомый Попков. — Еще раз повторю: в труппе потолок какой? То-то и оно... Ладно, гаврики, вышла накладка или не вышла — не нам судить. Есть головы поумнее. Идите, рассчитайте гостей. Василь Денисыч столичного хмыря ждет...

Умнов пулей промчался по коридору, нырнул в туалет. Но дверь не закрыл, оставил щелочку. И в щелочку эту увидел, как из кабинета заведующего сначала вышел огромный мужик в тесной кожаной куртке, огромный черный мужик с квадратным затылком — Попков,

значит, а за ним — Гиви и Гоги... И это последнее — невероятное! — так поразило Умнова, что он даже не стал вспоминать: где видел первого мужика...

Значит, Гиви и Гоги?.. А где же акцент? А где псевдокавказские штучки-дрючки — ты меня уважаешь? Кушай шашлык, дорогой! Где все это? И еще. Что такое — роль, труппа, заслуженный, народный?.. Зарплата сто тридцать?.. У кого сто тридцать? У актера?.. Выходит, Гиви и Гоги... Во бред!.. Нет, точно, Гиви и Гоги ушли из театра и взяли патент на кафе. Ладно, допустим. Но непохоже — Умнов голову на отсечение давал! — это кафе не кооперативное. Бывал он в маленьких, приветливых, теплых частных кафешках, где тебя встречают как дорогого друга, где кормят вкусно и сытно, где обслуживают быстро и вежливо, где скатерти чистые, наконец! И народу в таких кафешках работает — трое, от силы — четверо. И то еле-еле на каждого — рублей по триста чистой прибыли. В месяц. При адском труде... А здесь?.. Здесь штат, как в обыкновенной государственной забегаловке. И кормят, кстати, также. В смысле — плохо... Нет, если они и из театра, то кого-то здесь и гр а ю т. Для чего?!

С этим безмолвным воплем Умнов выскочил в опасный пока коридорчик, промчался мимо кухни, притормозил и лениво вышел в зал. Около их стола стоял Гиви и встревоженно озирался. Лариса сидела с загадочной улыбкой на лице — женщина-сфинкс после приема крошки.

Тут Гиви заметил Умнова, радостно ему крикнул: — Где ходишь, дорогой? Почему такую красивую девушку одну оставляешь? — акцент вернулся, как не исчезал. Или там, в кабинете, не Гиви был?..

Умнов подошел к столу, взял из рук Гиви листок счета.

— Сколько? Три шестьдесят? Получите... — положил на скатерть пятерку.

— Сейчас сдачи дам, — забеспокоился Гиви. — Мы — кооператоры, у нас чаевых нет.

— А сортир у вас есть? — грубо спросил Умнов, объясняя таким образом свой вояж по закулисной части кафе.

Лариса хмыкнула.

— У входа, дорогой. Где вешалка.

— С которой все и начинается, — задумчиво сказал Умнов, принимая рупь сорок сдачи. — И кафе, и театр... Пошли, Лариса. Спасибо за угощение, парни. Смотрите — не переигрывайте, а не то прогорите, — и двинулся к выходу, не дожидаясь ответа.

На сей раз Умнов изменил себе и сел на заднее сиденье — рядом с Ларисой. После обеда у псевдогрузин он испытывал к ней откровенную симпатию. Занятно она себя ведет, Белоснежка, не соскучишься. Что-то в ней есть, в комсомолочке этой правоверной, что-то скрытое, необычное. Нелитованное, профессионально подумал Умнов.

— К Василь Денисычу едем, — то ли утвердила, то ли спросила Лариса.

А если спросила, то у кого?..

— Можно и к нему, — машинально ответил Умнов и машинально взглянул на шофера.

Он его впервые увидел сзади — до сих пор-то сидел рядом с ним. Увидел и мгновенно понял: шофер и был тем человеком, что разговаривал с Гиви и Гоги в кабинетике заведующего кафе. Он, он — спина его, затылок его, а голоса Умнов раньше и не слышал: в роли шофера он — Попков, кажется? — молчал, как застреленный. В роли?.. Что они тут — все из местного театра? Все — Гамлеты?.. А кто ж Лариса?.. Офелия? Тогда жаль ее: плохо кончит...

Умнов испытывал жгучее желание обратиться к шоферу по фамилии. Спросить, например: «Как дела, Поп-

ков? Как трамблер? Как жиклер?» Но сдержался: рано. Еще час назад — спросил бы не задумываясь. Из чистого хулиганства. Из детского озорства — спровоцировать неловкую ситуацию, для хозяев неловкую — как, впрочем, было уже не раз. А сейчас решил обождать. Появились вопросы — точные. Появились желания — любопытные. Первые надо было задать. Вторые — осуществить. А до того — на время затаиться, смирить прыть.

Здание под красным флагом на центральной площади оказалось средоточием всех властей предержащих. Милиционер у входа с подозрением изучал журналистское удостоверение Умнова, часто сверял фотографию с оригиналом, потом с сожалением вернул корочки.

— Проходите, — и даже вздохнул: жаль, мол, но все — по форме, все подлинное...

Кабинет Василь Денисыча располагался на четвертом этаже в самом конце коридора. Судя по отсутствию дверей рядом, кабинет этот был ого-го каких размеров. Большому кораблю — большой док, подумал Умнов, слабо представляя себе Василь Денисыча в дальнем плавании. Да и не поплывет он никуда из Краснокитежска. Зачем? Здесь он — бог-отец, бог-сын и на полставки — дух святой. А вдали от родных берегов?.. Там сейчас опасно. Там, братцы, шторма участились. Там тайфуны и цунами нынче гуляют. Метут все подчистую с подозрительным ускорением... Нет, в бухточке-то куда спокойнее!..

Секретарша в приемной — та самая дама, что на банкете пела «Ландыши» — встала из-за стола-великана с добрым десятком телефонных аппаратов на нем.

— Опаздываете, товарищи. Уже три минуты: как заседают.

— Мы тихо, — виновато сказала Лариса.

С натугой открыла дубовую дверь, проскользнула в

кабинет. И Умнов — за ней. Хотели войти тихонько, а получилось наоборот. Василь Денисыч, стоящий во главе десятиметровой длины стола, немедленно заметил опоздавших и провозгласил:

— А вот и наш гость. Кое-кто знаком с ним. Для остальных представляю: Умнов Андрей Николаевич, талантливый и знаменитый журналист, золотое, так сказать, перо. Прошу любить и жаловать... Поприсутствуйте, товарищ Умнов, на нашем заседании. И вам любопытно будет, и нам сторонний взгляд на нашу провинциальную суету весьма полезен. Лады?

Умнов согласно кивнул, оглядываясь, куда бы приткнуться. За стол заседаний — неловко, хотя Лариса уже уселась туда, на свое законное, бросила Умнова, предательница... За гигантский, под стать бильярдному, письменный стол Василь Денисыча — у всех присутствующих, а их здесь человек тридцать, будет сильный шок и судороги от гнусного кошунства. Остается единственно приемлемый вариант...

Умнов подошел к письменному столу, сел перед ним в глубокое кресло для посетителей и... провалился чуть не по уши, колени выше головы задрались.

— Там вам удобно? — ласково поинтересовался Василь Денисыч.

— Предельно, — уминаясь, устраиваясь, ответил Умнов, борясь с собственным центром тяжести, ловя более-менее устойчивое равновесие. А поймал — почувствовал: и впрямь удобно. Хоть спи в кресле.

— Тогда продолжим, — Василь Денисыч обратился к собравшейся публике. — На повестке дня — три вопроса. Первый: проблемы перестройки, гласности на страницах нашей прессы. Сложный вопрос, товарищи, болезненный. Гостю нашему, думаю, интересный. Второй: о вчерашних выборах на заводе двойных колясок. Это — быстро, тут все удачно, как мне докладывали. Третий: послушаем директора театра, у него есть ма-

ленькие просьбы... Призываю выступающих говорить кратко и только по делу. Прерывать болтунов буду безжалостно. — Сел. И тут же встал. — Да, вот что. Прежде чем предоставить слово товарищу Качуринеру, главному редактору «Правды Краснокитежска», хочу сам сказать пару слов. Не возражаешь, Иван Самойлович?.. — Кто-то за столом, не видный Умнову, молча не возражал, и Василь Денисыч разразился парой слов. — Газету нашу в городе любят, факт. Достаточно сказать, что число подписчиков несколько превышает количество жителей города — я уж не говорю о рознице. А это значит, что нашу маленькую «Правду» выписывают в каждой семье, да еще, бывает, по несколько экземпляров. Дедушкам, значит, один экземпляр, папам-мамам — другой, а малым детишкам — третий. Отрадно. Но мы собрались не хвалить редакцию и лично товарища Качуринера, а указать им на те недостатки, которые есть, есть, товарищи, в их непростой работе. Канули, товарищи, в Лету тяжелые времена застоя, парадности, вздорного головокружения от мнимых и даже подлинных успехов. Ветры критики, ветры здоровой самооценки дуют в стране. Но что-то слабо они вздымают газетные полосы «Правды Краснокитежска». Еще часты на ее полосах и пустые восхваления, и всякого рода панегирики. Еще нередки замалчивания недостатков, которые повсеместно существуют: ведь мы работаем, значит ошибаемся. Еще робка критика, особенно — в высокие адреса. Откуда такая робость, товарищ Качуринер? Объясни товарищам, не скрывай ничего...

Василь Денисыч выговорился, окончательно сел, и немедленно поднялся высокий, худой, рыжевато-седоватый человек в больших очках со слегка затемненными стеклами, робкий, значит, Иван Самойлович Качуринер, усталый на вид шестидесятилетний персонаж. Поднялся, раскрыл блокнотик, близоруко в него всмотрелся.

— Должен признать, товарищи, — начал он малость задушенно, сипловато: ангина у него, что ли? — что

коллектив редакции активно перестраивается, хотя этот здоровый процесс идет пока недопустимо медленно. Мы не в тайге живем, центральные газеты-журналы читаем, понимаем, что времена другие настали, но ведь, товарищи, невозможно ж работать! — И вдруг как нарыв провало. Он швырнул блокнот на стол и плаксиво запричитал, напрочь ломая степенный ход заседания: — К кому ни придешь: это не пиши, то не пиши, это ругать нельзя, недостатков нет, одни высокие показатели. Чуть что не так, звонят домой среди ночи, хулиганы какие-то угрожают. Напечатали про перебои с водоснабжением — у меня воду отключили, внучку помыть — на плите грели. Я Кавокину в Китежвод звоню, а он мне: ты же сам написал, что у нас перебои... Или еще. Мальчик у меня был, рабкор с завода двойных колясок. Помните, он заметку сочинил — о том, что нельзя в госприемку заводских назначать, что все равно они от ихнего начальства зависят: партучет, путевки, детский сад там. Мы дали под рубрикой «Мнение рабочего». Где мальчик? Нет мальчика. Исключили из комсомола, перевели в разнорабочие. Я Молочкову звоню, говорю: Эдик, как же так можно, это ж негуманно, это ж месть за критику. А он мне: ты смотри, кого печатаешь, это аморальный тип, он растлил горячую формовщицу. А формовщице, я узнавал, тридцать один, и двое детей от разных мужей... А тут дали мы очерк о председателе колхоза «Ариэль», о Земновском, вон он сидит. Ну, герой, показатели — на уровне, в общем — похвалили. А он мне: ты что делаешь? Ты что мне персоналку шьешь? Не мог покритиковать? Я ему: за что, Вася? А он: меня бы спросил, я бы нашел, за что... Или книгу «Высокие берега» нашего писателя Сахарова поддержали, вы сами, Василь Денисыч, сказали: хорошая книга, надо поддержать. Мы и поддержали, чего не поддержать. А вы звоните: неужто в целой книге недостатков не нашли? Неужто не за что ее пожурить? Я говорю: так вы же сами, говорю... А вы: диалектически, диалек-

тически... Я не могу диалектически, это невозможно! Или театр наш возьмите. Что ни постановка — провал. А кому там играть, если все лучи не разобраны по объёмам? Критиковать — жалко. Хвалить — не за что. Вот и молчим. А нам: почему о театре ни слова? Замалчиваете, это политика... Все политика!.. Критикуешь — тебе по рогам. Хвалишь — тебе по очкам. Сомневаешься — тебе еще куда-нибудь.

— Стоп! — это Василь Денисыч встрял. Поднялся с председательского кресла, стукнул кулаком по столу. — Что за истерика, товарищ Качуринер? Вы коммунист или красна девица? Рассопливились тут... Все! Послушали мы вас, теперь вы нас послушайте. Вы, я чувствую, не понимаете, что за нами следят не только из центра, но и из-за рубежа. Враги, значит. Которым, значит, не хочется, чтобы наша перестройка одержала уверенную победу. Вот ты про книгу Сахарова вспомнил. Верно, хорошая книга, говорил я, не отрекаюсь. Но хорошая не значит идеальная. Идеальным, товарищ Качуринер, только газ бывает. И то в учебнике по физике, — тут Василь Денисыч помолчал, дал народу немного посмеяться веселой шутке. — Что на последнем съезде писателей утверждалось? Захваливаем ихнего брата, льем сироп, тем самым оказывая плохую услугу литературе. Значит, ты похвали, но и укажи на отдельные недостатки. Они есть, как не быть. Пусть в следующей книге перо поострей наточит. Диалектика, Иван Самойлович, штука серьезная, непростая... Ладно, у кого что есть к товарищу Качуринеру?.. Давай, Молочков, только коротко.

Встал уже виденный Умновым избранный-переизбранный, директор завода двойных колясок имени Павлика Морозова, героя-пионера.

— Что ж ты, Иван Самойлович, факты передергиваешь, а, родненький мой? — начал он ласково и даже отечески. — Что ж ты товарищей в заблуждение вводишь? Мы ведь мимо той заметки не прошли. Мы созда-

ли открытое собрание, обсудили ее, согласились, что автор во многом прав. Помню, вывели из госприемки нашего бывшего бухгалтера и ввели молодого специалиста, постороннего, замечу. Ну, не мы, конечно, сами, а обратились в инстанции, инстанции нас поддерживали... И пареньку, рабкору твоему, объявили благодарность в приказе. За принципиальность... А он возьми и сорвись. Запил. Пьяный на работу пришел. Горячую формовщицу не растлил, ты тут палку не перегибай, но приставал к ней с глупостями. А она — мать. Она выше этого. Ну, комсомольцы и выдали ему по первое число. Вон, Лариса сидит, она знает...

— Мы еще не утвердили решение заводского комсомола, — сухо сказала Лариса, оторвавшись от листа бумаги, на котором она что-то сосредоточенно рисовала. Сказала и снова в лист уткнулась.

— И зря, — осудил ее директор Молочков. — Оперативнее надо... Но это частность. А по большому счету у нас, заводчан, к газете претензии есть. Мало пишут они о наших маяках, о положительных для молодежи ориентирах. Видно, берут пример со всяких там московских изданий, где все как с цепи сорвались: критика, критика, критика, то плохо, это скверно, там жулики, тут бюрократы. А где честные? Где деловые? Кто социализм строил? Перевелись? Нельзя так огульно, нехорошо... Нельзя только в прошлое с умилением смотреть, а в нынешнем дне лишь черное видеть. Да и то — в какое такое прошлое? В эмигрантское, в чуждое нам. Я ничего о Сахарове не говорю, не классик, но уж ближе нам, чем Набоковы да Замятины... Однако, с другой стороны, и о критике забывать нельзя. Вот у нас в третьем цехе план не на сто процентов госприемке сдали, а на девяносто девять. Плохо? Плохо. Почему газета не написала об этом? Я тебя спрашиваю, Иван Самойлович.

Качуринер что-то быстро-быстро писал в блокноте. Вопрос Молочкова считал риторическим.

А тот ответа и не ждал.

— Знаю я, знаю, почему не написала. Потому что кое-кто в промышленном отделе редакции считает, что и девяносто девять — липа. Не липа, товарищи из отдела! Не липа! В наших колясках из той партии уже катаются малыши по всей стране и в Монгольской Народной Республике тоже! И спасибо говорят.

— Вряд ли, — сказала Лариса.

— Что «вряд ли»? — повысил голос Молочков, и Василь Денисыч на Ларису строго глянул.

— Вряд ли говорят, — спокойно объяснила Лариса. — Если только уа-уа, но спасибо — это вы чересчур...

— А-а, — облегченно протянул Молочков, а Василь Денисыч рассмеялся:

— Молодец, девка! Поддела Эдуарда... Ты, Эдуард, кончай сам себя хвалить. Ты по делу.

— Я по делу, — заторопился Молочков. — Я против Качуринера ничего не имею, он — специалист, высшее образование еще до войны получал. Я призываю его: придите к нам открыто. Мы вас встретим, все покажем, расскажем, объясним. Газета помогать делу должна, а не мешать ему. А как нам помочь — кто лучше нас самих знает? Так пусть спросят... Все, я кончил.

— А кончил, так и отдохни, — сказал Василь Денисыч. — Кто следующий?.. Давай, Земновский.

Вскочил розовый крепыш, председатель колхоза с летящим именем «Ариэль», и зачастил, зачастил:

— Да, был очерк, да, я огорчился, потому что нет человека, который был бы, как остров, так классик иностранный писал, мы все живем одной семьей, и если обо мне пишут, то какой же остров, надо спросить у односельчан, что я не сделал, потому что сделанное — на виду, а что не сделал, то люди знают, а я тоже знаю, что не сделал, вот Дом культуры построил, а рок-ансамбля

до сих пор не организовал, молодежь жалуется, и Василь Денисыч отечески журил, да и вообще я пока с молодежью плохо работаю, мотоциклами пока не всех обеспечил, а они на комбайн просятся, а комбайнов на всех не хватает, твой мужик, Иван, пришел, со мной обо всем поговорил, а про недостатки не спросил, потом напечатали, а Василь Денисыч мне на бюро: ах, какой ты у нас со всех сторон положительный, а если тебя копнуть поглубже, так я и говорю, копните, что ж не копнуть, жалко мне, что ли, копните, а я покаюсь, признаю ошибки, пообещаю исправить, и не угрожал я во все никому, вот, и вообще, надо было написать о трудностях в колхозе, дожди прошли, зерно тяжело идет, а люди-то, люди какие, золотые люди, где маяки, прав Молочков, не надо нам ваших Набоковых, хотя Сахаров тоже врал, когда писал, что у нас на трудовень одна картошка, за такие слова можно и на бюро, я накатаю заявление, пусть попрыгает, а книга у него, прав Василь Денисыч, с недостатками, полно там недостатков, чего он про нас пишет, будто у нас на трудовень одна картошка, это когда было, а теперь надо все переписать...

— Погоди-погоди, — остановил его Василь Денисыч. — Ты не части, ты не Анка-пулеметчица. Как ты относишься к работе газеты?

— А что, я как все, я неплохо отношусь, они работают, газета каждый день выходит, но прав Эдуард, спрашивать надо, пусть Качуринер или его гаврики спрашивают, а мы ответим, мы знаем, как отвечать надо, всю жизнь за что-то отвечаем, и ничего — живы пока...

— Кто еще? — Василь Денисыч встал и обвел глазами присутствующих. — Лариса, ты?

— Нечего мне говорить, — сварливо сказала Лариса. — Скучная газета, скучные материалы, молодежь ее плохо читает. Сколько раз мы твердили Ивану Самойловичу: создайте при газете молодежную редакцию, в

центре везде такие есть. А он не хочет. Так что я пока помолчу.

— Слышь, Иван, что комсомол говорит?.. Ответить хочешь?

Качуринер поднял лицо от блокнота.

— Я все записал, товарищи. Спасибо за конструктивную критику. Мы учтем. Соберем редакцию, обсудим и учтем. И предложение комсомола учтем. Мы всегда все учитываем.

— Правильно, — сказал Василь Денисыч. — Социализм — это учет. И учти еще одно. Мы тебя не топить собрались. Мы к тебе, Иван, по-доброму относимся, любим тебя по-своему. И помочь хотим. Нам какая газета нужна? Боевая. Но чтоб зря патроны не переводила! Держи порох сухим, Качуринер. В пороховнице, но сухим. Где наш бронепоезд, помнишь? То-то и оно... В общем, работай пока спокойно. Но не успокаивайся, не успокаивайся... Пошли дальше, товарищи.

Кто-то взмолился:

— Перекур, Василь Денисыч.

— Погодишь. Раз Качуринер о театре упомянул, то есть смысл вопросы переставить. Мы сейчас театр коротенько послушаем, и перекуришь себе на здоровье. Давайте сюда директора...

Кто-то из сидевших у двери выглянул в приемную, позвал театрального босса. Босс вошел в кабинет, робко остановился у входа. Босс был немолод, лыс, мал ростом, одет в потрепанный клетчатый костюмчик-тройку и вельветовые полуботиночки типа «Долой мозоли!».

— Здравствуйте, товарищи, — робко поздоровался босс.

— Здоров, товарищ Пихто. Тут тебя не было, а Качуринер тебе врезал.

— Мне? — удивился босс.

— Ну, не тебе лично, а театру. Так что ты давай, говори, какие у тебя проблемы? Поможем всем миром.

И Качуринера помочь заставим. А то ему все бы критиковать.

— Зашли бы вы к нам в театр, Василь Денисыч, — жалобно начал босс. — Режиссер труппу забросил, а труппа-то — раз, два и обчелся, все на спецзаданиях, сами знаете, работать некому. И что самое главное — не хотят. Зарплата им, видите ли, мала. Тем, кто остался. Грозятся: объявят голодовку, откажутся от зарплаты, создадут худсовет.

— Так создали же, — удивился Василь Денисыч.

— Все равно недовольны. Другой хотят. Одно слово: артисты... А режиссер по спецобъектам бегает, а когда в театре, то — зверь. Репетирует — пулей, на бегу, и все — на крике, на оскорблениях. Меня не слушает совсем. Придите, а, Василь Денисыч?

— Ты что, Пихто, ко мне на прием с этим вопросом записаться не мог? Сразу на большой хурал явился. Ха-арош гусь...

— Я не знал, что хурал. Я просто пришел. И вот товарищи могли бы прийти. И товарищ Качуринер тоже. Ну, не надо днем, так хоть на спектакль...

— Эт-то верно, — согласился Василь Денисыч. — Театр мы подзапустили. Многое людям доверили, большие полномочия на них возложили, а сами — в кусты. Стыдно. Мне, во всяком случае, стыдно... Надо сходить к людям. Я в ближайшее время не смогу, а кто сможет? Качуринер, сможешь?

И тут Умнов, молчавший до сих пор и только жалевший, что не захватил с собой магнитофона, не сунул куда-нибудь в карман — материал шел фантастический! — тут довольный Умнов руку поднял, как первоклассник, и спросил — сама кротость:

— Можно я схожу, Василь Денисыч? Прямо сейчас и схожу, не откладывая... Чего мне про выборы на заводе слушать? Я на них был. Свидетель, так сказать, триумфа...

В кабинете повисло тревожное молчание.

Чего они испугались, думал Умнов. Или я опять что-то не то ляпнул?

Василь Денисыч пожевал губами, почесал затылок, потер щетинку, подросшую с утра, и наконец сказал раздумчиво:

— А что? Идея хорошая. Вы — человек свежий, разберетесь в ситуации и нам расскажете. В московских театрах небось бывали?

— Приходилось, — не соврал Умнов.

— Вот и сравните. Хоть и масштабы разные, а суть — уверен! — одна. Люди. Артисты. Те же яйца, только в профиль... Понял, Пихто? Сейчас с тобой товарищ Умнов пойдет, Андрей Николаевич, журналист из Москвы. Все ему покажи и расскажи, — добавил подчеркнуто: — Все, что в самом театре делается... — встал, пошел к рабочему столу. — Объявляю, товарищи, перерыв на пятнадцать минут. Курите. А вы, Андрей Николаевич, задержитесь. Пока они себя травят, мы с вами парой слов перекинемся... Пихто, подожди Андрея Николаевича в приемной.

Они остались вдвоем в кабинете. Умнов по-прежнему сидел в кресле-люльке-ловушке для унижения посетителей. Василь Денисыч устроился за своим саркофагом из карельской березы. За его спиной на стене висели портреты всех руководителей Советской державы, начиная с Ленина. В отличие от Маяковского Василь Денисыч «чистил» себя подо всеми сразу — чтоб, значит, стерильнее быть.

— Я вас слушаю внимательно, — сказал Умнов.

— Это я вас внимательно слушаю, — улыбнулся Василь Денисыч.

— Не понял. Кто кого хотел увидеть?

— Какая разница — кто. У вас есть вопросы, догадываюсь. Задавайте. Отвечу по мере возможности.

— И велика мера?

— От вас зависит.

— То есть?

— Мера откровенности зависит от вашего желания понять.

— Что понять? Вас лично? Ваших ряженных из кафе? Или ряженных с завода? Или всех других ряженных?..

— А вы, Андрей Николаевич, не ряженный? Вы у нас всегда — в своей одежке?

— По возможности, — не стал врать Умнов.

Василь Денисын сочувственно кивнул.

— То-то и оно. А возможностей — кот наплакал. Какие у вас возможности — у газетчика-то опытного? Нуль целых нуль десятых.

— Врете! — Хамить так хамить. Разговор, похоже, откровенным получался. — И раньше можно было честным оставаться. А уж сегодня — нечестным просто нельзя быть... Я Краснокитежск в виду не имею.

— Раньше — честным?.. Не смешите, Андрей Николаевич. Вы — человек молодой, послевоенного, так сказать, посева, не буду вам про сталинские времена рассказывать. Давайте недавнее вспомним, когда товарищ Умнов всю знаменитым стал, когда его статьи — нарасхват. Еще бы: о нравственности пишет, о моральном потенциале нации!.. Вития!.. А вития знал о наркомании? Знал. О проституции? Знал. О взяточничестве и коррупции в любых эшелонах власти — снизу доверху? Догадывался, догадывался. О том, что самое бесклассовое общество в мире полегоньку становится самым кастовым? Знал, знал, знал!.. Что ж не писал о том? Что ж не разоблачал с присущим ему гражданским гневом? Не напечатали бы?.. Верно, не напечатали бы. Но вы ведь и сами не рвались написать. Вот она честность: не могу молчать! Классик, помнится, выдохнул. А, вы не классик, вы молчали. Сами себя оправдывали: чего зря биться, все равно не опубликуют. Цензор внутри вас был куда страшнее цензоров госу-

дарственных: те только отнимали у слова свободу, а вы, вития народный, его свободу в зародыше убивали. Этаким, с позволения сказать, абортарий слова. И не подпольный — официальный. Одних творческих союзов для вашего брата-гинеколога штук семь слажено, коли не ошибаюсь... Вы мне сейчас скажете, что были люди, которые... Были. Бились головой об стенку. Иногда разбивали. Голову, конечно. Стенка — она на века. Согласен: герои. Безымянные. Согласен, многие со временем имена обрели. Посмертно. Так ведь не вы. Вы у нас не герой, Андрей Николаевич. Вы жить хотите. Вы умело и ловко искали компромисс между совестью вашей, личной, и совестью, определенной свыше. Для всей страны определенной. Ну и для средств массовой информации — особо... Вон вы на мой иконостас поглядываете, на тот, что за спиной висит. Ну-ка вспомните, кого из них вы в своих статьях не цитировали? Двух-трех — из вычеркнутых? А всех остальных — по мере требований времени?.. Молчите? Умеете слушать, хорошее качество... Только не думайте, что я все это вам в осуждение говорю. Да помилуй бог — нет! Я все это вам твержу, поскольку уважаю вас. Верю вам. Единомышленника в вас вижу... Не противьтесь, не надо — именно единомышленника. Вот парадокс: вы во мне — врага, а я в вас — друга... Именно потому вы — здесь... Я ваш главный вопрос знаю: почему вы уехать не можете? Почему сегодня утром вы по замкнутому кольцу ездили, как рулем ни крутили — все в Краснокитежск попадали? Так, да?.. Отвечу... Потому что вы из него и не выезжали. Потому что Краснокитежск — ваш город. Он — в вас. Внутри. В печенках. В мозгу. В сердце. И его не вытравить никакими перестройками. А стало быть, и не выбраться из него... Спросите: выбирают-ся? Бывает, к сожалению. Не можем удержать. Так кто выбирается? Те самые герои, которые — не вы. У Лермонтова, кажется: богатыри, не вы... Кстати, там же: плохая им досталась доля, немногие вернулись с по-

ля... Ах, как верно, как живо! Что значит — на века сделано!.. И останется верным на века. Потому что это только вам кажется, будто стенки больше нет, не обо что головой биться. Есть она, есть, дорогой мой друг, только не бетонная — согласен, но — резиновая. Вы в нее лбом — бах, а она — поддается. Вы еще — бах, а она — дальше. И у всех у вас возникает сопливое романтическое чувство: нам нет преград! Ни в море, ни на суше! Путь впереди чист! Все дозволено!.. Все? А хрен-то! У резины какое качество? Поддаваться — до предела растяжимости. Предел этот пока далеко, бейтесь лбом, двигайте стенку. Но когда-нибудь его, предела то есть, достигнут, и тогда не позавидую я тем, кто стенку-то — лбом, ох, не позавидую... Ка-ак резина пойдет назад, ка-ак сметет она всех, кто ее на прочность проверял!.. Представили картиночку? Воображение-то у вас творческое, художническое, небось страшненько стало, а? Даже мне, волку старому, и то страшно... Но страхи — страхами, а жизнь идет. И стенку вы и иже с вами пихаете почему зря. А мы вам на освободившемся пространстве мира жи строим. Гласности хотите? Жрите тоннами! Демократии? Купайтесь! НЭП вспомнили? Кушайте крошечку, гости дорогие! Приказано перестроиться? Мы — люди служивые, солдаты партии, мы приказам всегда повинемся. Потому что твердо знаем: стенка все равно назад пойдет. Экспрессом помчится!.. Так я вам и предлагаю: не ломайте комедию, становитесь в наши ряды. Тем более что вы их и не покидали. А весь пафос ваш гражданский — тот же мираж... Ну а что до ваших пустых возражений: мол, не то время, мол, сколько уже преград сломано, — так ведь эту песенку еще когда пели... — и он запел уже известным Умнову хорошим баритоном: — Нам нет преград ни в море, ни на суше... — оборвал песню: спросил задумчиво: — Уразумели, Андрей Николаевич?

Умнов молчал. Ему было страшно. Нет, не Василь

Денисыча он боялся — себя. Себя! Что он, Умнов Андрей Николаевич, тысяча девятьсот сорок четвертого года рождения, русский, член КПСС с семьдесят второго, разведенный, политически грамотный, морально устойчивый, образование высшее, журналистское — что он, профессиональный борец за газетную правду, ответит старому волку?.. Попытается его переубедить? Бред... Спорить с ним?.. Мать-покойница говорила: из двух спорящих один — дурак, другой — сволочь. Она иной спор в виду имела, но и здесь Умнов дураком оказаться не хотел... Промолчать?.. А не слишком ли много в своей жизни он уже промолчал?..

— Уразумел, Василь Денисыч, — медленно, будто раздумывая, проговорил он. И впрямь раздумывал: что дальше? — Вы правы: много во мне Краснокитежска, много... Все было, и молчал, когда орать хотелось, и врал, когда правда кому-то неудобной казалась, и «Ура!» вопил со всеми вместе... Было... Здорово это вы придумали: абортарий слова... Сколько я их убил — слов... И героем не был, нет, не был. Завидовал героям — это да. Мучительно завидовал! До бессонницы. А сам — слаб человек... — Он сейчас не с Василь Денисычем разговаривал, а с собой. — Говорят: время лепит людей. Наверно... В пятьдесят третьем мне исполнилось девять лет. Тогда, в марте, я и не понял толком, что умер бог, умерла эпоха. Ваша эпоха... У меня семья счастливой была: никто на войне не погиб, никого в вашей эпоха в лагерях не скрутила. Но никто и поклонов богу не бил. Отец всю жизнь инженерил, даже в партию не вступил. Мать — детей воспитывала. Жили... А в пятьдесят шестом мне всего двенадцать стукнуло, и материалы двадцатого съезда я по-настоящему только в институте и прочитал. А это уже шестидесятые шли. Опять — ваши годы... Я еще не знал, что они уже — ваши, я еще сопляком был. Помню, сочинил рассказ, самый первый мой, про человека, который возвращается из лагеря в коммунальную квартиру, в свою комнату, а

за стенкой по-прежнему живет тот, кто в сорок седьмом на него донос настрочил. Ну и все такое... Не придумал, знал этих людей... Притащил в одну редакцию, в другую, в третью. Никто вроде и не говорит, что плохо, все в один голос: сейчас не стоит ворошить прошлое. Осудили — да. И баста! Ворошить не стоит... Вот так у меня первый урок демократии и состоялся... Вам, наверно, странно, что я вроде как исповедуюсь? Я не исповедуюсь, нет. И уж упаси бог — перед вами! Я просто пытаюсь понять, что же такое во мне есть, что вы меня за своего приняли... Кстати, возвращаю комплимент: вы тоже хорошо слушаете... Итак, о чем я? Да, об уроках демократии. С тех пор у меня их было — не счесть! И каждый убеждал все больше и больше: на дворе — не только ваши годы, но и мои. Они хорошо надо мной поработали — эти годы. Вырастили. Выпестовали. Вылепили. Сделали почти похожим на всех вас... Верный сын Отечества... Правоверный... И только одно меня от вас отличало: та самая зависть к безымянным героям, которой у вас — ни на дух. Вы их — ненавидели. Я им — завидовал. Я хотел стать, как они. Понимаете: хотел! И поэтому в каждом жизненном конфликте искал компромисс. Чтоб ни нашим, ни вашим. Серединка на половинку. И журналистом таким стал: серединка на половинку. Не золотое перо, Василь Денисыч, не кидайте мне кость. Блестит — да, но, как известно, не все то золото... Кстати, не такой уж я злой гинеколог, как вы славно выразились, не всегда слово в зародыше убивал. Знаете, сколько моих статей ваш брат — начальник от журналистики не напечатал? Том составить можно! Другое дело, что я за них не дрался. Отступал. На заранее подготовленные позиции. Думал: временно. А время не на меня работало. Статья — не роман, она стареет. Сейчас этот том никому не нужен, поезд ушел... А может, не ушел?.. Может, потянет еще?.. Вот вы говорите: демократия, гласность, жрите тоннами. А нам не надо тоннами. С голо-

духи-то — тоннами? Чревато... Представьте: в стране глухонемых открыли способ слышать и разговаривать. И мы еще только учимся — кто хочет! — первые шаги делаем. Как в букваре: мы не ра-бы, ра-бы не мы... Предвижу ваше возражение: все надо делать вовремя. Учиться разговаривать — с раннего детства. Велико-возрастных Маугли не сделаешь Демосфенами. Да нам — я свое поколение имею в виду — нам бы не Демосфенами, нам хоть бы проклятую немоту прорвать! Хоть по складам научиться: мы не ра-бы! И знайте: прорвем! Та самая зависть и заставит. А Демосфенами пусть наши дети становятся — им-то самое время учиться говорить, думать, видеть. По-моему, перестроиться — это не значит сразу стать другим. Сразу только лягушки прыгают. Знаете, что Ленин о перестройке писал?.. Да-да, именно Ленин, именно о перестройке! Так, по-моему: вреднее всего было бы спешить... Да я другим не стану. Не сумею. И не хочу! Я вот о чем мечтаю: убить в себе вас! Вы что считаете, в Краснок-итежске — все краснокитежцы? Дудки! Вы что считаете; здесь все по собственной воле существуют? Да откройте вы город — треть сразу уйдет! Уверен! А вторая треть вслед им посмотрит, на вас обернется и тоже уйдет. Те, кто по старой поговорке живет: и хочется, и колется... И останетесь в городе вы с вашей третью — подавляющее меньшинство. Мамонты. Сами вымрете, Василь Денисыч...

— Все? — зловеще спросил Василь Денисыч.

— Можно и еще, — усмехнулся Умнов, — да лень что-то.

— А вы сюда посмотрите...

Василь Денисыч неожиданно резво вскочил, подбежал к стене, вдоль которой протянулся стол заседаний. Стена — это Умнов давно заметил — была затянута серыми занавесками, как в каком-нибудь генштабе. И как в генштабе за ней обнаружилась огромная, во всю стену, карта Советского Союза. Странная это была

карта, будто рисованная от руки. В школе такие называются контурными, слепыми: ни имен городов, ни названий гор, рек, озер, морей — только два цвета, перемешанные в знакомых контурах страны, — зеленый и красный. И не понять было, какого цвета больше: зеленые пятна, пятнышки, точки наползали на красные, красные всплывали в зеленых массивах, шупальцами разлетались по необозначенным низменностям и возвышенностям... Еще не понимая, что ж он видит, Умнов привычно отыскал положение Москвы, отметил, что и там зеленое с красным слилось, зеленого, правда, побольше...

— Что это?

— Держава! — голос Василь Денисыча звенел, как в парадном марше. — Красное — это мы! Зеленое — это то, что нам жить мешает. Нам! Нам! Нам! И не измерить пока — нет прибора! — какого цвета больше...

— Значит я — десятимиллионный... — задумчиво сказал Умнов. — Интересно: а предыдущие девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять посетителей Краснокитежска как от вас убыли?.. Врагами? Или союзниками?.. Молчите?.. Верно, вы не скажете: секретные данные. Народ их не поймет, народ до них не дорос. Старая музыка... Только со мной у вас номер не вышел, Василь Денисыч. Я дорос. Я не с вами. Я слишком долго боялся вас, чтобы остаться в ваших рядах. Зависть сильнее страха, тем более что она по-прежнему жива, а страха нет. И уж не обессудьте — уеду и не промолчу. Теперь не промолчу.

Василь Денисыч потянул за шнурок, занавески закрылись, спрятав с глаз долой фантастическую карту.

— Подумайте, Андрей Николаевич, — с угрожающей ласковостью сказал он. — Подумайте, что завтра будет. Вспомните о стене.

— Я о ней помню. Но и вы запомните: кто научился говорить, вряд ли станет молчать. А кто видит, вряд

ли примет мираж за реальность, зрение другое... — пошел к дверям, не прощаясь. Уже у выхода обернулся, бросил: — А с цветом вы напутали, Василь Денисыч. Красные — это мы, — и вышел в приемную.

Там уже толпились нервные заседатели, гомонили, на часы поглядывали: что-то затянулся перекур. И с чего такой почет заезжему писаке?..

Лариса к Умнову бросилась:

— Ну что?

— А что? — со злостью спросил Умнов. — Интересно: кто кого? Жив твой Василь Денисыч, здравствует. Но и я, как видишь, целехонек. Главные бои впереди.

— Какие бои, Андрюша? — от волнения она даже забыла, что на людях на «вы» с Умновым общается. — Вы чего-то не поделили, да?

— Не поделили, — согласился Умнов. — Территории. Иди заседай, подруга, командный пункт свободен. Я ушел.

— Куда?

— Пока в гостиницу.

— А к нам, товарищ Умнов? Как же к нам? Вам ведь поручили... — влез в разговор истомившийся в ожидании театральный босс...

— Ах, да... — Умнов остановился. — Не пойду я к вам. Заслуженных ваших я уже видел, хреново заслуженные играют, неубедительно. Не верю. А незаслуженных и видеть не хочу. Худсовет вам новый нужен? Выбирайте, позволено. Голодовка грядет? Очень актуально, порадуйте Василь Денисыча неформальным подходом к перестройке театрального процесса. Режиссер хамит? А вы его переизберите. Вон дантистка ваша, гражданка Рванцова, — ха-арошим кандидатом будет. И еще человек пятьдесят... Демократии захотели? Жрите тоннами, — он со вкусом, смакуя, повторил слова

Отца города. — Только не обожритесь. Она у вас в Краснокитежске синтетическая. Плохо переваривается... — дошел до выхода, не сдержался — сказал, обращаясь ко всем присутствующим: — А идите-ка вы, неформашки такие-то, туда-то и туда-то! — повторил адрес, который ненавязчиво сообщил ему толстый камазовец на заводе двойных колясок. А уж эпитет к неформашкам от себя добавил. Правда, тоже известный.

Распахнул дверь, а перед ним, преграждая путь, — огромный кожаный Попков. Стоял, прислонившись к дверному косяку, крутил на пальце ключи от «Волги».

— Подвезти? — спросил нагло.

Первый раз лично Умнову слово молвил. И звучала в том слове неприкрытая ирония: мол, куда ж ты намылился, цуцик? От нас так просто не уходят...

— Пропусти его, Попков, — услышал Умнов голос Василь Денисыча. Тот, оказывается, вышел из своего кабинета, зорким оком видел красивую сценку, экспромтом разыгравшуюся в приемной. — Пропусти, пропусти. Андрей Николаевич пешочком хочет. Пусть прогуляется, ему недалеко...

Ни о чем думать не хотелось. Умнов чувствовал себя усталым донельзя, как будто разгрузил вагон угля или щебня — как в юности, когда подрабатывал ночами на доброй к студентам станции Москва-Товарная. Хотелось спать и, пожалуй, перекусить не мешало. Завернул в булочную, в «стоячку», взял два стакана тепловатого жидкого кофе и четыре булочки, для смеха названные калорийными. Механически смолотил все это, стоя у мраморного одноногого столика, и глядел в окно — на гранитного вождя, по-прежнему указывающего на плакатную цель, сочиненную многомудрыми Отцами Краснокитежска.

А ведь и верно придумали: их цель — перестройка. Другой нет. Сейчас они все перестраиваются, перекра-

шиваются, новых лозунгов понаписали, новых слов полон рот. Неформашки! Все они в этом городе неформашки. Хорошее, кстати, слово. Точное...

За Ленина только обидно. Как же устал он десятилетиями тянуть гранитную руку ко всякого рода мертвым плакатным целям...

Допил кофе, пересек площадь, вошел в «Китеж». Там было прохладно и пустынно, лишь вялая от безделья дежурная охраняла намертво привинченную к дверям табличку: «Мест нет». Взял у нее ключ, поднялся к себе, разделся, подумал: принять душ или не стоит? Стоило, конечно, стоило постоять под холодным дождичком, смыть с себя за день услышанное, увиденное, переваренное. Да разве все это водой смоешь?.. Забрался в пухлую перину «Людовика», накрылся с головой простыней и заснул, как вырубился. Времени у него до одиннадцати, до назначенного на свалке часа, было — прорва. Да и то верно — стоило выпастся: кто ведал, что ночью произойдет.

А проснулся неожиданно, будто кто-то толкнул его, вырвал из пустоты. Сел в кровати, глянул на наручные электронные с подсветкой: без трех одиннадцать. Пора вставать. Неизвестно, как клиенты со свалки к нему проберутся, но сам он условие вроде бы выполнил: от слежки оторвался... Хотя кто знает: не гуляет ли по коридорам «Китежа» бдительный Попков с кистенем, с радиопередатчиком, с автоматом Калашникова и ключами от «Волги»?..

В полной темноте — шторы задернуты — нашарил рукой выключатель ночника, щелкнул им и... малость оторопел: у изножья кровати на белом пуфике сидел давешний знакомец в свитере и грязно-белых штанах, поглаживал бороду и молча, с интересом наблюдал за не совсем проснувшимся Умновым.

Впрочем, теперь уж Умнов совсем проснулся.

— Откуда вы взялись? — глуповато спросил он.
— С улицы, — серьезно ответил знакомец.
— А ко мне как?
— Через дверь. Вы ее не заперли, коллега.
— Коллега?
— Удивлены? А между тем — так.
— Из «Правды Краснокитежска»?
— В прошлом. Выпер меня Качуринер. С благословения Василь Денисыча. Нравом не подошел.
— Строптив? — усмехнулся Умнов.

Он обрел способность к иронии, а значит, к здоровой оценке ситуации. Встал, начал одеваться.

— Не способен к гладкописи, — тоже усмехнулся бородач. — И еще слишком доверчив. С ходу поверил в светлые замыслы Отцов города, оказался ретив в аргументации и формулировках.

— Ладно, кончайте ерничать, — сказал Умнов, надевая куртку. — И так все понятно... Я готов. Мы куда-нибудь идем?

— Пошли... — бородач встал. — Свет потушите. И дверь закройте. Хотя у них, конечно, вторые ключи есть, но все же...

— Могут искать?

— Могут. Но, думаю, не станут. Они чересчур уверены в себе... — опять усмехнулся, добавил: — И в вас.

— Во мне — не очень.

— Повод?

— С Василь Денисычем по душам потолковали.

— А-а, это... Наслышан.

— От кого?

— Слухами земля полнится... Пустое. Думаете, он вам поверил?

— Почему нет? — Умнова задел пренебрежительный тон бородача.

— А потому нет, что он верит в стереотипы. А стереотип прост: вы сейчас хорохоритесь, обличаете всех и вся, а стоит только прикрикнуть, и... — не договорил.

Шел по коридору, не таясь, не опасаясь, что кто-то увидит.

Умнову стало обидно. Что ж он, зря в начальственном кабинете исповедовался, слова искал — поточнее, побольнее?

А борода — как подслушал:

— Все не зря. Вы сами себе верите?

Непростой вопрос задал. Умнов поспешал за бородачом, думал, как ответить. Хотелось — честно.

Ответил все-таки:

— Верю.

— Это — главное...

Они прошли по привычно пустому вестибюлю. Входные двери были закрыты на деревянный засов. Бородач снял его, прислонил к стеклу: оно отозвалось легким звоном, особенно гулким в мертвой краснокитежской тишине.

— Осторожно, — бросил Умнов.

— Они нас не слышат, — ответил бородач.

И верно: дежурная за гостиничной стойкой даже головы не повернула, смотрела телевизор, где кто-то вполголоса сообщал вечерние новости, а швейцар — тот просто спал, свесив голову на грудь.

— Почему не слышат?

— Не хотят, — ничего больше бородач не объяснил, вышел на улицу, указал в темный лаз между темными зданиями. — Нам туда.

Он вел Умнова какими-то проходными дворами, где жизнь, похоже, прекратилась вместе с наступившими сумерками, где вольготно ощущали себя только невидные во мраке краснокитежские коты: мяукали, выли, нагло прыскали из-под ног. Бородач шел, уверенно ориентируясь в полной темноте — Отцы города явно боролись за экономию электроэнергии, — и вольное воображение Умнова легко сочинило себе осадное положение, окна, наглухо замаскированные плотными одеялами, противотанковые надолбы на черных улицах,

тревожное ожидание атак и налетов. Впрочем, он был недалек от истины, не любящий фантастики Умнов: город и впрямь находился на осадном положении...

Минут через десять гонки по дворам они вышли к каким-то одноэтажным длинным зданиям, напоминающим железнодорожные склады. Бородач подвел Умнова к железной двери в торце одного из них, трижды громко постучал.

— Кто? — глухо спросили из-за двери.

— Открывай, Ухов, — сказал бородач.

— Ты, что ли, Илья? Этот с тобой?

— Я. Со мной.

Может, зря с ним увязался, панически подумал Умнов. Оборвал себя: перестань трястись! Хуже, чем было, не будет. Разве что пытаться станут...

Дверь, гнусно скрипя, распахнулась. Они вошли в темный тамбур, бородач Илья тронул Умнова за руку.

— Осторожно: здесь ступенька...

Умнов широко шагнул, потерял равновесие. Таинственный конспиратор Ухов поддержал его сзади, да так рук и не отпустил, вел Умнова, как раненого. А что? Осадный город, всяко бывает. И ввел его в невероятных размеров зал — нет, не зал все-таки: склад, явно склад, только пустой и гулкий, слабо освещенный голыми лампочками, висящими на длинных пластиковых проводах. И весь этот зал-склад дотесна был заполнен людьми. Люди стояли, плотно прижавшись друг к другу, будто боялись потерять контакт, стояли, не шевелясь, молча, напряженно, и Умнов, быстро привыкая к пещерному полумраку, восторженно ужаснулся: как же много их было! Он различал только тех, кто стоял впереди, а остальные пропадали, терялись вдали — именно вдали. Здесь были Ларисины неформашки — панки, культуристы, металлисты. Здесь были рокеры, держащие мотоциклетные шлемы, как гусарские кивера, — на согнутых руках. Здесь были юные роллеры, переки-

нувшие через плечи побитые ездой ботиночки на роликах. Но здесь были и незнакомые Умнову персонажи: вон какие-то солидные старики с орденскими планками на широких лацканах широких пиджаков; вон какие-то парни в джинсах и свитерах, по виду — то ли инженеры, то ли рабочие; вон какие-то женщины, немолодые уже, тесной группкой — в неброских платьях, просто-волосые, а кое-кто в косынках, завязанных на затылке в стиле тридцатых годов. Стояли военные, явно — офицеры: чуть отсвечивали погоны, поблескивали золотом. Стоял пожилой капитан милиции — не тот, что встречал Умнова, другой, хотя и возрастом схожий. А вот уж точно рабочие — в замасленных комбинезонах, похоже — только-только со смены...

Это те, кого Умнов разглядел. А можно было попристальнее всмотреться в толпу, пройти сквозь нее — протечь, ловя напряженные взгляды на него, Умнова: кто ты, пришелец? Зачем ты здесь? С кем ты?.. Но Умнов подавил в себе это внезапное желание, потому что нутром ощутил опасность. Нет, не опасность даже — тревогу скорее. Почему?.. В первом ряду между суровым культуристом в клетчатых штанах и юным синеволосям панком увидел... Ларису. Иную, чем днем: в джинсиках, в маечке какой-то несерьезной, волосы хвостом забраны. «Но комсомольская богиня? Ах, это, братцы, о другом...» Она тоже молчала, как все, смотрела на Умнова без улыбки, словно ждала от него чего-то...

Он резко, вырываясь из рук Ухова, шагнул к ней.
— Ты зачем здесь?..

Она ответила суховато — без обычной своей улыбки:

— А где же мне быть, Андрюша? — вопросом на вопрос.

— Но ты же... — не договорил,

А она поняла.

— Не я одна.

— Все где-то работают или учатся, — непрошено вмешался Илья. — Один я на вольных хлебах...

Умнов понял, что бессвязные вопросы смутной картинки не прояснят. Если искать ее смысл, то с самого начала. А тогда и комсомольской богине в той картинке место найдется.

— Кто вы? — спросил он Илью.

— Мы?.. Хотите официально?.. Неформальное объединение людей, которых... как бы это помягче?.. не устраивает положение дел в Краснокитежске.

Хотел пообщаться с диссидентами, вспомнил свое мимолетное желание Умнов. Вот они. Общайся. Только верен ли термин? Уж если и называть кого диссидентами, то скорее Василь Денисыча иже с ним. А эти? Очередные неформашки? Официальные протестанты? Подполье в осадном городе?..

— Значит, не устраивает, — сказал Умнов, сам мимоходом подивившись невольному сарказму, прозвучавшему в голосе. — И как же вы хотите поправить сие положение? Листовки? Устная агитация? Теракты? Вооруженное восстание?

— Так разговор не получится, — мягко улыбнулся Илья. — Или вы нас принимаете всерьез, или — до свидания.

Красиво было бы заявить: до свидания. Или еще лучше: прощайте. Повернуться и столь же красиво удалиться в ночь. Но куда удалиться? В славный постоянный двор «Китеж»? В душевные объятия добрейшего новатора Василь Денисыча?.. Нет уж, дудки!

— Ну, допустим, всерьез. Тогда всерьез и отвечайте. Без «как бы помягче».

— Как мы хотим поправить положение?.. Очень просто. Делом.

— А поподробней — никак? — все ж не сдержался, ернически спросил.

Илья не заметил — или не захотел заметить? — умновского ерничества.

— Подробней некуда: обыкновенным делом. Каждый — своим... Я сейчас вроде бы прописные истины скажу, но вы не обижайтесь, ладно? Они хоть и прописные, но все ж — истины... Так вот: рабочий — у станка, инженер — у кульмана, шофер — за рулем, школьник — за партой... Ну, и так далее, сами продолжайте.

— Это что, новая форма борьбы с неформашками?

— Неформашки... Хороший термин. Слышал его от Ларисы... Нет, в принципе не новая. О ней и классики писали... Только прочно забытая. И для неформашек, как вы говорите, смертельная.

— Интересно: почему? — Умнов и впрямь заинтересовался.

Смех смехом, а он действительно думал о том, что ему поведают о тайных организациях боевиков, о тайных складах бомб и гранат, о тайных типографиях. Но тайная организация хорошо работающих — это, знаете ли, странновато слышать.

— Потому что дело никогда их не занимало. На кой оно им? Куда важнее слово! Слово о деле. Победные рапорты. Громкие отчетные доклады. Дутые цифры. Пышные лозунги. Да мало ли... А просто работать — это, видите ли, неинтересно. Это, видите ли, сложно и хлопотно. За это, видите ли, и по шапке схлопотать можно. По ондатровой... А за веселый отчет, за мажорный доклад — тут тебе и должность, тут тебе и орден к юбилею, тут тебе и лампас на портки. Сами, что ли, не знаете?..

Знаю, горько подумал Умнов. Еще как знаю! Куда проще приписать к плану, чем выполнить его. Куда легче сбавить тяп-ляп и звонко отчитаться, чем сделать на совесть и, может быть, не успеть к сроку, опущенно-

му «с горы». Куда приятнее выкричать орден, чем его заслужить... Слово надежнее дела. За слово не бьют, кресло из-под задницы не вышибают — в крайнем случае на другое пересаживают. Бьют за дело. Даже — бывало! — за отлично выполненное. Да чаще всего за отлично выполненное и бьют: не высовывайся, гад, не порти общую красивую картину незапланированным качеством! Или количеством... Но с другой стороны...

— Но с другой стороны, — сказал Умнов, — как может хорошая работа всех стать смертельной для одного?

— Василь Денисыча в виду имеете? Если бы он один был.. Их легион! И не только в начальственных креслах, но и у станков, у кульманов, за рулем, за партой. Что я перечислял? Везде... Отвыкли у нас по-настоящему работать. Отучили. Охоту отбили.

— Ну, хорошо, ладно. Сколько вас здесь — понимающих? Сто? Пятьсот? Тысяча?.. Ну, будете вы работать на совесть, а у остальных, у неформашек от станка с кульманом, от этого своя совесть проснется? Слабо верится, товарищ Илья.

— Сначала нас было сто. Потом пятьсот. Потом тысяча. Потом... — он глянул в толпу, край которой пропадал в полумгле, и, казалось, не было конца у этого зала-склада. Как там у фантастов: переход в четвертое измерение... — Не станет остальных, Андрей Николаевич. Вымрут. Как мамонты.

А ведь он мои слова повторил, подумал Умнов. Те, что я Василь Денисычу бросил. Выходит, и я так считаю?..

— Ладно, — почти сдался Умнов, — пусть. Все работают на совесть. Неформашки от стыда перековались, а те, кто не захотел, ушел, отошал с голодухи, вымер, как мамонты. А Отцы города опять — на коне. Их парадные отчеты стали — ах! — реальными. Их докла-

ды — ой! — деловыми. Их ордена — заслуженными. Так?

— Кто ж о деле кричит? — усмехнулся Илья. — Дело — оно молчаливо. Оно слов боится. А Отцы города только и умеют, что слова рожать. Кому они нужны будут — мертворожденные? — вдруг застеснялся, добавил: — Вы извините за пафос, но уж тема больно... — Умолк.

Странная штука: Илья метил в Василь Денисыча, а ненароком попал в Умнова.

— Моя работа — одни слова, — с горечью сказал Умнов. — Выходит, и мне на свалку?.. Зачем я вам понадобился? Экономики не знаю, в политике — профан. И на кой хрен мои нравственные статейки, если все кругом станут высоконравственными, порядочными, морально чистоплотными?.. Куда мне деваться? На завод двойных колясок? Разнорабочим?..

— Видимо, вы не понимаете. Или притворяетесь, Андрей Николаевич. Идет война. Если хотите, не на жизнь, а на смерть. Мы и они. Пусть нас больше, но они позиций сдавать не собираются. Вы наш город видели. Красиво? Все кругом перестроились — загляденьте!.. Нет, милый Андрей Николаевич, война будет долгой. Очень долгой. Нынешнее поколение советских людей коммунизма, пардон, не дождалось. Не обломилось обещанное. И следующие не скоро дождутся, пока война. А на войне без комиссара плохо, если она — за идею. У нас отличная идея, Андрей Николаевич, и нам нужны отличные комиссары. Вы. Может быть, я. Если сумею, если талантишка хватит... Нравственность — штука абстрактная, ее не пощупать, не взвесить. А без нее любая идея — мертва... — Илья замолчал.

И Умнов молчал, переваривал услышанное.

И молчали люди, пришедшие посмотреть на Умнова. Только посмотреть? Тысяча, две тысячи, три — сколько их здесь? — ради одного Умнова?.. Выходит,

что так, понял Умнов. Потому что в войне дорог каждый союзник. Тем более — комиссар.

Кстати, и Василь Денисыч от него союзничества требовал...

— Что же мне делать? — тоскливо спросил Умнов. — Сдаться властям? Перебраться в Красноки-тежск? Подсидеть Качуринера?

— Помилуйте, Андрей Николаевич, вы же сами себе противоречите. Кто утверждал: нет никакого Красноки-тежска? На карте не обозначен... Не обозначен, верно, карта не врет. Но ведь вы и другую карту видели — в кабинете Василь Денисыча. Не стало страшно, а?.. Вот что. Ноги в руки, садитесь в свой «Жигуленок», газуйте отсюда. У вас свое место есть. Надеюсь, поняли: нуж-ное. Вот и работайте, как совесть подскажет. Только помните: нас много. И будет больше. И когда вы через год, через пять лет, через десять проедете по нашей трассе и никакого неозначенного Красноки-тежска не увидите, тогда знайте: мы победили. А значит, и вы... — Илья взял Умнова под руку. — Все, Андрей Николае-вич. Пора.

— Как пора? Куда? — разволновался Умнов. — Ла-риса, а ты как же?

За нее опять ответил Илья:

— У Ларисы тоже — свое дело...

Он потянул Умнова к выходу, молчаливый Ухов опять в стороне не остался: топал сзади, поддерживал столичного нежного гостя. И Лариса рядом была...

Прошли темный тамбур, выбрались на свежий воздух.

Прямо перед дверью стоял умновский родной «Жи-гуль», ровно и тихо фурычил, прогревался перед доро-гой. На заднем сиденьи — заметил Умнов — аккурат-но покоилась адидасовская сумка.

— А гостиница? А счет? — все еще сопротивлялся Умнов.

Сам не понимал: чему...

— Все в порядке, — уже нетерпеливо сказал Илья. — Торопитесь. Время уходит.

Садясь в машину, Умнов вдруг вспомнил.

— Там же кольцо! Я не выеду...

— Теперь, — Илья выделил слово, — выедете.

А Лариса наклонилась к окну и нежно-нежно поцеловала Умнова в щеку. Как погладила.

Шепнула:

— Прощай, Андрюша...

Умнов медленно захлопнул дверцу, медленно, словно сомневаясь, выжал сцепление, включил передачу, медленно тронулся. Порулил между мертвыми складами. В свете фар возник кто-то, указал рукой: сюда, мол, направо. Свернул направо и сразу выбрался на известную улицу. Вон гастроном. Вон универмаг. Вон кафе «Дружба». Значит — прямо... И рванул прямо, выгнал стрелку спидометра на деление «сто двадцать» — быстрее, быстрее! Ни о чем не думал, не вспоминал, не анализировал, одно подгоняло: время уходит! Так Илья сказал...

Пролетел мимо безглазых ночных усадеб, мимо плотного черного леса, взобрался на горку, еще прижал газ. Дорога впереди — дальняя!.. И вдруг что-то — что? — заставило его резко надавить на педаль тормоза. Колески противно завизжали, заклинили колеса — машина встала. Умнов вышел на пустое шоссе и обернулся. В темноте чернел знакомый силуэт бетонной стелы с гордым именем города. Она была позади!

Илья не соврал: Умнов все-таки выехал из Красно-китежска!..

Умнов стоял и смотрел на темный, без единого огонька, город, лежащий внизу. И вдруг вязкую тишину рассек четкий, ритмичный рык. Он приближался, становился громче, нахальней, злей, и вот уж из-за по-

ворота материализовался мотоцикл, осветил Умнова мощной фарой, лихо затормозил рядом. Партизанский капитан ГАИ, сто лет назад — не меньше! — встречавший Умнова у границы Краснокитежска, вежливо улыбался, блестя дорогими фиксами. А двигатель не глушил.

— Уезжаете, товарищ Умнов? — вкрадчиво спросил он. — Ну, с богом!.. — протянул свернутый в тугую трубку бумажный лист, перетянутый аптечной резинкой. — Василь Денисыч просил передать...

Умнов содрал резинку, раскрутил бумагу. В ярком свете мотоциклетной фары узнал знакомую карту, верней, не ее — черно-белую ксерокопию, снятую с цветного единственного оригинала.

— Василь Денисыч сказал: пригодится. Верно?

Умнов аккуратно свернул карту, сказал:

— Пригодится.

Капитан отдал честь, рявкнул газом, крикнул на прощанье:

— Что передать Василь Денисычу?

— Три слова, — крикнул в ответ Умнов: — Красные — это мы!

СТОП-КРАН

Театральная фантасмагория

Паровоз закричал нечеловеческим голосом. То есть не паровоз, конечно, никакой, а тепловоз или электро-воз, Ким не видел, что там впереди прицеплено, Ким увидел только, как качнулись вагоны туда-сюда, как брякнули они своими литаврами, как зацокали копытами по рельсам, по стыкам, а тетка на площадке последнего вагона выбросила вперед руку с желтым скрученным флажком: мол, привет всем горячий.

А вот фиг вам, а не привет, подумал Ким на бегу, на лету, в мощном тройном прыжке, с приземлением на той самой площадке — прямиком в жаркие суконные объятия строгой тетки с флажком. Чтобы она обрадовалась сюрпризу мужского пола — так нет. Напротив — заорала столь же нечеловеческим голосом, что и паровоз:

— Куда лезешь, гад полоумный, металлист хренов, ноги бы тебе повыдергивать, поезд-то идет уже, не видишь, что ли? — и всю эту тираду — выкатывая круглые глаза, норовя врезать гостю по кумполу желтым флажком на крепком деревянном древке.

— Статья двести вторая у ка эрэсэфэсэр, — надменно, но быстро сказал Ким, отстраняясь, избегая удара.

— Чего? — не поняла тетка.

— Нанесение тяжких телесных повреждений. Три года с полной конфискацией, понятно? — И, сменив надменный тон на вполне доверительный, спросил ше-



поточком: — Возьмете в дорогу бедного студента? Позарез надо... — и показал, как позарез, по горлу ребром ладони скользнул плюс глянул на ладонь для убедительности: нет ли свежей крови?..

Крови не было, но тетка прониклась.

— Куда ехать-то, студент? — спросила.

— Куда?.. — надолго задумался Ким, глядя в открытую вагонную дверь, за коей проплывал не то Курский, не то Казанский, а может, и вовсе Киевский вокзал. — Куда?.. — повторил он, не зная, что и ответить, потому что и впрямь не знал, куда порулил из первопрестольной в полдень среди июня, какого лешего он сорвался с места, бросил несделанные дела, недолюбленных девиц, от практики институтской не отмотался, матери телеграмму не отбил... А-а, вот: может, к матери?.. Не-ет, не к ней, мать Кима только в августе ждет... Видать, сняла его с места подспудная черная силища, тайная могучая тяга, просто именуемая в народе шилом в одном месте.

Поэт-современник когда-то афоризмом разродился: мол, никогда не наскучит езда в Незнаемое, мол, днем и ночью идут поезда в Незнаемое. Вот вам и адрес, вот вам и пункт назначения. Хотите — районный центр, хотите — поселок городского типа.

Но Ким не стал травмировать тетку поэзией, Ким ответил уклончиво, но для слуха привычно:

— Куда глаза глядят...

Как и ожидалось, тетку ответ удовлетворил, она сунула ненужный флажок в кобуру, захлопнула вагонную дверь, с лязгом отрезав от Кима прошлый мир. Сказала:

— Ладно уж, возьму... Пойдем, посидишь у меня. Я пока билеты собираю.

Тут бы Киму и спросить естественно: а куда глаза глядят? В смысле: в какую такую даль, простите за высокий штиль, направил свои дальнобойные фары помянутый выше локомотив? До каких станций купили билеты тетнины вагонные подопечные?.. Но спросить так — значит признать себя как раз гадом полоумным — смотри первый теткин монолог! — которому не в культурном поезде ехать, а смиренно лежать на узкой койке в больнице имени доктора Ганушкина. Какому здоровому такое помстится: поутру покидать в сумку близлежащие носильные вещи, нырнуть в метро, всплыть у неведомого вокзала, сигануть в первый отъезжающий поезд: куда отъезжающий, зачем отъезжающий?..

Понятно: Ким промолчал. Всею свое время. Тетка пойдет с билетной сумой по вагону, а он, Ким, изучит маршрут, традиционно висящий под стеклом в коридоре. И все станет ясно, хотя вредное шило в известном месте никакой ясности от Кима не требовало: прыгнул невесть куда, едешь туда же — вот по логике и сойди глухой ночью в темноту и неизвестность...

Тетка провела Кима в казенное купе, усадила на диван напротив хитрого пульта с тумблерами, наказала:

— Сиди тихо. Я — сейчас...

И ушла. А Ким посидел-посидел, да и пошел-таки глянуть на маршрутный лист. Но — увы: под стеклом на стенке напротив красного рычага стоп-крана висела цветная фотография Красной площади и никаким маршрутом даже не пахло. Не судьба, довольно подумал Ким. Вернулся в теткин купе, зафутболил сумку с одеждой под полку, уставился в грязное окно. А там уже пригородом бежали буйные огороды, обширные картофельные поля, утлые домики под шиферными

крышами — милое стандартное Подмосковье, родное до неузнавания.

— Чай пить будешь? — спросила тетка, возникнув в двери. Не дожидаясь ответа, похватила стаканы в битых подстаканниках, ложками зазвенела. — Что, студент, денег совсем нету?

— Ну, разве трешка, — легко припомнил Ким.

— И как же ты с трешкой в такую даль?

В какую даль, подумал Ким? А вслух сказал:

— Добрые люди на что?

— Чтой-то мало я их встречала. Они, добрые, то полотенец сопрут, то за чай не заплотят, а то все купе заблюют, нелюди... — бухнула в сердцах стаканы на стол: — Пей, парень, я-то добрая пока. Булку с колбасой станешь?

— Стану.

— Колбаса московская, хорошая, по два девяносто. Я три батона взяла... — Ким следил голодным глазом за пухлыми теткиными пальцами, которые крепко нож держали, крепко батон к столу прижимали, крепко ухватывали крахмальные колбасные ломти. — Дорога долгая... — положила на салфетку перед Кимом толстый хлебный кус с хорошей московской: — Ты ешь, ешь. Скоро напарницу разбужу — вот и поспать ляжешь, вот и запру тебя в купе — никто не словит, — мелко засмеялась: — Ах, дура-то! Кому ж здесь ловить? Поезд-то специальный.

— Это как?

Час от часу не легче: что за специальный поезд подвернулся Киму? Никак — литературный, никак — особого назначения?

— Литерный. Особого назначения, — таинственно понизив голос, сказала тетка. И ускользнула от наскучившего казенного разговора — к простому, к домашнему: — Да звать тебя как, студент?

— Кимом.

— Кореец, что ли?

— Русский, тетенька, русский. Папанька в честь деда назвал. Расшифровывается: Коммунистический интернационал молодежи, по-нынешнему — комсомол.

— Бывает, — сочувственно сказала тетка. — А меня — Настасьей Петровной. Будем знакомы.

Самое время сделать маленькое отступление.

Ким принадлежал к неформальному сообществу людей, живущих непланово, с высокой колокольни плюющих на строгие расписания занятий, тренировок, свиданий, дней, ночей, недель, жизни, наконец. Людей, могущих сняться с обжитого гнезда, не высидев запланированного птенца, и улететь на юг или на север, где никто тебе не нужен и никто тебя не ждет, а здесь, в гнезде, ты как раз всем нужен, черт-те сколько народу ждет тебя сегодня, завтра, через три дня, а ты их всех чохом — побоку. Нехорошо.

Такие люди, казалось бы, срывают громадьё наших планов, и если в песне придуманная сказка до сих пор не стала обещанной былью, то это — из-за них. Вечно и всюду вносят они сумятицу, непорядок, разлаживают налаженное, посторонним винтиком влезают в чужой крепко смазанный механизм, выпадая, естественно, из своего собственного. Который, замечу, отлично без них крутится...

Но кстати. Кому не знаком милый технический парадокс? Чините вы, к примеру, часы-будильник, все разобрали, все смазали, снова собрали, ан — лишняя гаечка, лишний шпенечек, лишняя пружинка... Куда их? А некуда вроде, да и зачем? Работают часы, тикают, будят. И вы успокаиваетесь. И только время от времени гвоздит вас подлая мысль: а вдруг с этим шпенечком, с этой гаечкой, с этой пружинкой они лучше работали бы, громче тикали, вернее будили?..

И сколько же таких незавинченных винтиков, незакрученных гаечек, пружинок без места раскидано по

державе нашей обильной! Вставить бы их куда следует — вдруг все у нас лучше закрутится?..

Еще кстати. Кто, скажите, точно знает, где какому винтику точное место? Только Мастер. А где его взять, коли научный атеизм всерьез убедил нас, что никаких Мастеров в природе не существует? Что лишь Человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей. Стало быть, некому подтвердить, как некому и опровергнуть, что винтик-Ким — из описываемого поезда винтик. В данное время из данного литерного поезда особого назначения. Вставили его таки. Некий Мастер вынул его из ладного институтского механизма и вставил в гремющий железнодорожный. И все здесь сейчас так закрутится, так засвистит-загрохочет, что только держись!..

Красиво про винтики придумано! Одно огорчает: не сегодня, не здесь, и, увы, не только придумано. Увы, три с лишним десятилетия Некий Мастер отвертки из рук не выпускал: вывинчивал — завинчивал, вывинчивал — завинчивал...

Ким бутерброд доел, чаем залил, заморил червяка благодаря доброй Настасье Петровне. Сама она сидела рядом на полке и тасовала билеты в кармашках сумки-раскладушки, раскладывала служебный пасьянс, что-то бубня неслышно, что-то ворча сердито.

— Не сходится? — спросил Ким.

— С чего бы это? — обрела внятность проводница. — У меня купейный, все чин-чином. Это в плацкартном или того хуже — общем глаз да глаз нужен...

Что-то все ж не сходилось: не в пасьянсе у Настасьи Петровны — у Кима в уме.

— Это как понимать? — полегоньку, подспудно двигался он к цели. — В поезде особого назначения — об-

щие вагоны?! А как насчет теплушек? Сорок человек, восемь лошадей...

— Теплушек нет, — не приняла шутки Настасья Петровна, — не война. И общих не цепляли, не видела. Я вообще по составу не ходила. Бригадир пришел, сказал: сиди, не рыпайся. А чего рыпаться! своих дел хватает.

— Секретный, что ли, состав?

— Не знаю. Тебе-то что? Состав не секретный, зато ты в секрете, поскольку заяц. Я о тебе знаю и Таньке скажем, и все. Понял?

— Понял. А Танька — это кто?

— Ну, я это, — сказала Танька.

Она стояла на пороге купе — молодая, смазливая, кругленькая тут и там, опухшая от сна, патлатая и злая.

— Ты кого это подцепила, Настасья? — сварливо сказала злая Танька. — Тебе что, прошлого выговорешника мало, другого заждалась?

— Да это ж студент, Танька, — укоризненно объяснила Настасья Петровна.

— А хоть бы и так, ты на его рожу посмотри!

— А чем тебе его рожка не любя?

Тон разговора повышался, как в «тяжелом металле» — по октавам.

— Что рожка, что рожка? Он же хипарь, металлист, он же зарежет и скажет, что так и было!

Ким счел нужным вмешаться в живое обсуждение собственной подозрительной внешности. Вмешаться можно было только ором. Что Ким и сделал.

— А ну, цыц! — заорал он, конечно же, на тональность выше предыдущей реплики.

Поскольку поезд спешно отходил в Незнаемое и Ким еле-еле поспел на него, то и нам некогда было описать его. Кима, а не поезд. Напомним лишь, что метал-

листом его обозвала и сама Настасья — когда он сиганул ей в объятия. Возникает вопрос: почему такое однообразие?

А потому такое однообразие, что ростом и статью Ким удался, что волосы у него были длинные, прямые, схваченные на затылке в хвост узкой черной ленточкой, что правое ухо его, мочку самую, зажала позолоченная серьга-колечко, что одет он, несмотря на жару, в потертую кожанку с самодельными латунными заклепками на широких лацканах, что на темно-синей майке у него под курткой красовался побитый временем офицерский «георгий», купленный по случаю стипендии у хмурого бомжа в пивной на Пушкинской.

Отсюда — выводы.

Итак:

— А ну, цыц! — заорал он на теток, и те враз притихли. — Пассажиров хотите собрать? — уже спокойно, поскольку настала тишина, поинтересовался Ким. — Сейчас прибегут... Настасья Петровна, где вы ее выкопали, такую сварливую?.. — и, опережая Танькину реплику: — Ты меня не бойся, красавица, я тебя если и поломаю, так только в объятиях. Пойдет?

— Побежит прям, — менее мрачно сказала злая Танька, — разлетелась я к тебе в объятия, прям падаю... — а между тем вошла в купе, а между тем села рядом с Настасьей, а между тем протянула вполне приятным голосом: — Ох и выпалась я, Настасьюшка, ох спасибо, что не будила... Как тебя хоть зовут, металлист?

— Ким, — сказал Ким.

— Кореец, что ли?

Ким давно привык к «национальному» вопросу, поэтому объяснил вполне терпеливо:

— Русский. В честь деда. Сокращенно — Коммунистический интернационал молодежи.

— Хорошее имя, — все поняла Танька. — Политически выдержанное. Правда, из нафталина, но зато с ним — только в светлое будущее. Без остановок.

— Да я туда не спешу. Мне и здесь нормально.

— А чего ж на наш поезд сел?

— Он что, в светлое будущее намылился?

— Куда ж еще?.. Особым назначением, улица ему — самая зеленая... — потянулась всем телом, грудь на-прягла, выпятила — мол, вон она я, лапочка какая... — Чайку бы я попила, а работать — ну совсем неохота...

— Балаболка, — незло сказала Настасья Петровна, плеснула Таньке заварки в чистый стакан. — Кипятку сама налей.

Та вздохнула тяжело, но встала — пошла к титану. А Ким скоренько спросил:

— Настасья Петровна, я ж говорил: я ведь и не взглянул, куда поезд... А куда поезд?

Настасья без улыбки смотрела на Кима.

— Русским же языком сказано: в светлое будущее.

— Это как это понимать? — обиженно и не без раздражения спросил Ким. Похоже: издеваются над ним бабы. Похоже: за дурачка держат.

А Настасья Петровна сложных переживаний студента попросту не заметила, сказала скучно:

— Станция такая есть. Новая. Туда сейчас ветку тянут: стройка века. Как дотянут, так и доедем. Литером.

Во-от оно что, понял Ким, название это, географический пункт, а вовсе не издевательство.

А почему бы и нет? Существуют же терявшие имя Набережные Челны. Существует уютный Ерофей Павлович. Существует неприличная аббревиатура Кемь... А сколько ж после семнадцатого года появилось новых названий, ни на что привычное не похожих, всяких там Индустриальных Побед или Кооперативных Рубе-

жей, всяких там Больших Вагранок или Нью-Терриконов!.. Светлое Будущее на их фоне — прямо-таки поэма по благозвучию...

И уж Киму-то издеваться над мудреным имечком — грешно: о своем собственном помнить надо...

Другое дело, что не слышал он о такой стройке века: стальная магистраль «Москва — Светлое Будущее», в газетах о ней не читал, на институтских собраниях бурно не обсуждал. Ну и что с того? У нас строек века — как собак нерезаных. От БАМа до районного детсадика. В том смысле, что любая век тянется...

— А она далеко? — только и спросил Настасью.

— Далеко, — сказала она. — Отсюда не видно.

— В Сибири, что ли?

— Чего ты к женщине прицепился? — влезла в разговор Танька, вернувшаяся в купе. — Ну, не знает она. И никто не знает.

— Почему?

— Бригаду в состав экстренно собрали, без предупреждения. Кто не в рейсе, того и цапали. Я, например, с ночи. Приехала, а мне — сюрприз.

— А пассажиры? — Ким гнул свою линию.

— Что пассажиры?

— Они знают, куда едут?

— Может, и знают. А может, и нет. Спроси.

— Спрошу, — кивнул Ким. — Сейчас пойду и спрошу... — его пытливость границ, похоже, не ведала.

— Иди-иди, шнурки только погладь, — опять обозлилась Танька, да и Настасья Петровна с легким осуждением на Кима глянула: мол, скромнее надо быть, коли серьгу нацепил.

Ким был мальчик неглупый, сообразил, что своими

пионерски наивными вопросами создал в женском раннем обществе нервную обстановку, грозящую последствиями. Последствий Ким не хотел, поскольку целиком зависел от милых дам — как в смысле ночлега, так и в смысле питания: про трешку он не соврал, столько и было у него в кармане джинсов, сами понимаете — особа не разгуляешься, надо и честь знать.

— Сюда бы гитару, — вспомнив о чести, тактично перевел он тему, как стрелку перевел — если использовать желдортерминологию, — сыграл бы я вам и спел. Хотите — из Розенбаума, хотите — что-нибудь из «металла»...

— Ой, а где ж ее взять? — встрепелась Танька.

И Настасья Петровна равнодушной не осталась.

— У Верки нет? Я ее видела перед посадкой, в девятом она, кажется...

— Я сбегая!

Но чувство долга у Настасьи Петровны было сильнее, чем чувство прекрасного. Таньку она осадила коротко:

— Сначала чаем пассажиров обеспечим, а потом и музыку можно.

Вот и предлог, решил Ким, вот и повод. Встал, звякнул «георгием».

— Я схожу, — заявил. — В девятом, говорите? У Верки?

— Только возвращайся, — уже ревниво сказала Танька. — Ты у Верки не сиди, не сиди. Если хочет, пусть сама сюда идет.

— Ясное дело, — подтвердил Ким, уже будучи в низком старте, уже срываясь с колодок. — Верка для нас — средство, «металл» — цель...

И с этими непонятными словами унесся по вагону, оставив двум приютившим его женщинам сладкие надежды и свою спортивную сумку как гарантию вышеупомянутых надежд.

Окно в коридоре было открыто. Ким высунулся,

хлебнул горячего ветра, увидел: по длинной лысой насыпи дугой изгибался спецсостав, впереди трудился все-таки тепловоз, гордость отечественного тепловозостроения. Ким насчитал за ним шестнадцать вагонов, включая Настасьин и Танькин, и только на одном имелась надпись — «Ресторан», а все остальные катились инкогнито, без опознавательных маршрутных трафаретов, и ни один шпион не смог бы определить конечную цель поезда особого назначения.

В тамбуре курили.

Лысый мужик в ковбойке и тренировочных штанах шмалял суровый «Беломор», седой ветеран — весь пиджак в значках победителя многочисленных соцсоревнований, куда там Ким с одиноким «георгием»! — слюнил «Столичную» сигаретку, сбрасывая пепел в пустую пачку, а парень в белой майке с красной надписью «Вся власть Советам!» пыхтел короткой трубочкой, пускал дым столбом и вещал.

Вот что он вещал:

— ...ать мне на ихние хлебные лозунги, пусть больше платят за такую паскудную работу, где надбавка за вредность, а то я могу и...

Это было все, что услышал Ким с того момента, как открыл тяжелую дверь в тамбур, до той секунды, когда парень оборвал текст и все курящие разом обратили мрачные взоры на пришельца.

— Привет, — сказал пришелец. — Бог в помощь.

Ответа не последовало.

— Далеко путь держите, мужики? — не отставал пришелец.

— Ты откуда такой дурной взялся? — отбил вопрос седой ветеран.

— Из Москвы, — довольно точно ответил Ким. — А что?

— Что-то я тебя не помню при оформлении...

— Я позже оформлялся, — мгновенно среагировал Ким. — Спецназначением.

— От неформалов он, — уверенно сказал борец за Советскую власть. — Я слышал: от них кого-то заявляли...

— Точно-точно, — подтвердил Ким. — Меня и заявляли.

— Докатились, блин, — со злостью брякнул лысый, плюнул на «беломорину», затер ее об ладонь и кинул в угол. — Уже, блин, патлатых оформляют, докатились. А может, он «голубой», а? Ты блин, на серьгу посмотри, Фесталыч...

Ветеран Фесталыч с сомнением смотрел на серьгу.

Ким размышлял: врезать лысому в челюсть или стерпеть ради конспирации?

А парень с трубкой веско сказал:

— Серьга — это положено. Это у них по инструкции.

Но лысого он не убедил.

— А я на твою инструкцию то-то и то-то, — довольно подробно объяснил лысый свои действия в отношении неведомой инструкции, шагнул к Киму и замахнулся:

— Ты куда прешься, ублюдок?

Сладострастно улыбаясь, Ким легко отбил руку лысого и вторым ударом рубанул его по предплечью. Лысый ойкнул и бухнулся на колени.

— Эй, парень, не надо, — испуганно сказал Фесталыч. — Ну, ошибся человек. Ты же без пропуска...

— Ладно, живи... — Ким вышел из стойки, расслабился.

Лысый вскочил, прижимая руку к груди, баюкая ее: грубовато Ким его, жестковато... Но с другой стороны: хаму — хамово?..

— Я задал вопрос, — сухо сказал Ким: — Далеко ли путь держите? Как надо отвечать?

— До конца, — по-прежнему испуганно отрапортовал Фесталыч.

— Я серьезно, — сказал Ким.

— А серьезно, блин, такие вопросы не задают, — пробурчал лысый, все еще баюкая руку. — Сел в поезд и — ехай. А мучают вопросы, так не садись... У-у, гад, руку поломал...

Ким понял, что номер здесь —дохлый, ничего путевого он не выяснит. Эти стоят насмерть. То ли по дурости, то ли по ретивости. Будет лезть с вопросами — слетит смутный ореол «оформленного спецназначением». Слетит ореол — отлупят. Он хоть и не слабак, но трое на одного...

— Береги лапу, лысый, — сказал Ким, — она тебе там пригодится...

Открыл межвагонную дверь: опять ветром дохнуло, гарью полосы отчуждения, а еще оглушило на миг громом колес, лязганьем, бряканьем, скрежетом, стуком...

— Стоять! — заорал «За власть Советов!». — Без пропуска нельзя!

— Стоять! — пробасил металлист-ветеран. — Хода нет!

— Стоять! — гаркнул лысый, забыв о больной руке. — Поворачивай! После третьего звонка нельзя.

Он-то, лысый, — краем глаза углядел Ким! — и схватил из кармана... что?.. не нож ли?.. похоже, что нож... щелкнул... чем?.. пружинным лезвием?.. А кто-то — то ли ветеран, то ли борец за Советы — свистнул за спиной Кима в страшный милицкий свисток, в гордый признак... или призрак?.. державной власти.

— Стоять!..

...А еще оглушило на миг громом колес, лязганьем, бряканьем, скрежетом, стуком, — но Ким уже в другом вагоне оказался и другую дверь за собой плотно закрыл.

В кинематографе это называется «монтажный стык».

В новом эпизоде тоже был тамбур, но — пустой. Тамбур-мажоры остались по ту сторону стыка. За мутным стеклом плыло — а точнее расплывалось, растекалось сине-бело-зеленым пятном без формы, без содержания, вестимо, даже без контуров — до боли родное Подмосковье. Теоретически — оно.

Что за черт, глупо подумал Ким, такой бешеной скорости наш тепловоз развить не может, мы не в Японии... Ой, не в тот поезд я прыгнул, уже поумнее подумал Ким, лучше бы я вообще никуда не ездил, лучше б я на практику в театре остался... А с этим составом происходит какая-то хреновина, совсем умно подумал Ким, какая-то мистика, блин, наблюдается...

Тут он к месту употребил кулинарное ругательство лысого, знакомое, впрочем, любому школьнику.

Но — шутки побоку, надо было двигаться дальше.

Именно лысый-то и достал, как говорится, Кима. Не Настасья Петровна и Танька с их таинственно-спешными сборами и «хорошей московской» в товарном количестве. Ни сам спецсостав из шестнадцати вагонов без опознавательных знаков. Ни странный пейзаж за окном — так в глубокой древности снимали в кино «натуру», крутили перед камерой реквизиторский барабан с наклеенной пейзажной картинкой. Но здесь слишком быстро крутили: отвлеклись ребята или поддали накануне по-черному... Все это по отдельности и вместе могло достать кого угодно, но Кима достали лысый, ветеран и «За власть Советов!», достали, притормозили, заставили задуматься. И, если честно, испугаться.

Ким не терпел мистики. Ким вырос в махоньком среднерусском городке в неполной, как теперь это принято называть, семье. Неполной она была по мужской части. Папашка Кима бросил их с матерью, всего лишь месяца два потерпев загаженные пеленки и ночные

вопли младенца, вольнолюбивый и нервный папашка подался на север или на восток — за большими бабками, то есть деньгами, за туманом и за запахом тайги, оставив сыну комсомольско-корейское имя, ну и, конечно, фамилию — она проста, не в ней дело. Мать, не будь дура, подала на развод и на алименты. Развод дали без задержки и навсегда, а алименты приходили нерегулярно и разных размеров: иногда трешник, иногда двадцатка. Если с туманом и тайгой у беглого папашки все было тип-топ, то с большими бабками, видать, ничего не выгорело.

Впрочем, ни мать, ни Ким по нему не сохли: нет его, и фиг с ним. Мать работала на фабрике — там, конечно, фабрика имелась в родном городке, ну, к примеру, шишкотральная или палочно-засовочная, — зарабатывала пристойно, на еду-питье хватало, на штаны с рубахой да на школьную форму — тоже, а однажды хватило и на билет в театр, где давала гастроль хорошая столичная труппа. Этот культпоход и определил дальнейшую судьбу Кима. Судьба его была прекрасна и светла. Он играл и ставил в театральном кружке Дома пионеров. Он играл и ставил в студии городского ДК имени Кого-То-Там. Он имел сто грамот и двести дипломов за убедительную игру. И как закономерный итог — три года назад поступил в суперэлитарный, суперпрестижный институт театральных звезд, но не на факультет звезд-актеров, как следовало ожидать, а на факультет звезд-режиссеров, ибо по характеру был лидером, что от режиссера и требуется. Кроме таланта, естественно.

Биография простого советского паренька начисто разбивает пошлые аргументы тех критиканов, которые считают, будто в литературу и искусство нашей социалистической родины можно протыриться только по благу или по наследству.

Кстати, принадлежность Кима к миру театра объяснит все уже приведенные и еще ожидаемые метафоры, эпитеты и сравнения, аллюзии и иллюзии, ловко прихваченные из данного мира.

Однако вернемся к мистике. Ким не терпел ее, потому что его воспитание было построено на реальных и даже приземленных понятиях и правилах. Чудес не бывает, учила его мать, манна с неба не падает, дензнаки на елках не растут, все надо делать самому: сначала пошевелить мозгами, а потом — руками. И все кругом так поступают, в чудеса не веря. Кто-то — лучше шевелит мозгами, а кто-то — руками, отсюда — результаты.

Ким стоял в пустом тамбуре и думал. Искал реальную зацепку для объяснения происходящего. Оно, происходящее, пока виделось некой большой Тайной, про которую никто из встреченных Кимом не знал и, похоже, знать не стремился. Встреча с компанией лысого тоже ничего не прояснила, но зацепку дала: тамбур-мажоры делали дело. Они охраняли. Или сторожили. Или караулили. Короче — тащили и не пушали.

Правда, Ким не исключал, что сами опричники-охранники толком не ведали, кого и куда они должны не пущать, но и это вполне укладывалось в известные правила игры: шестерки, топтуны, статисты не посвящаются в суть дела, они — функциональны, они знают лишь свою функцию. А если никакой игры нет, если почудилась она будущему режиссеру, если они никого не охраняли, а просто-напросто курили, выйдя из тесного купе для некурящих? Будь они при деле, рванули бы сейчас за Кимом, догнали бы и отмутузили. А они не рванули. Остались в своем тамбуре. А вагон перед Кимом — не таинственный, не охраняемый, а самый обыкновенный. И умерь свои фантазии, парень, не возничай зря...

Так было бы славно, подумал Ким.

Но режиссерский глаз его, уже умеющий ловить нюансы в актерской игре — да и вообще в человеческом поведении! — вернул в память престранное волнение опричников, необъяснимый испуг от каратистских скоростей Кима и — сквозь дверное стекло! — застывшие, как при игре в «замри», фигуры, которым по роли, по режиссерской разводке нельзя перейти черту...

Какую черту?

А ту, образно выражаясь, что мелом на сцене рисуют плохим актерам, обозначая точные границы перемещений. Но Ким-то актер хороший, он эту черту даже не заметил. И оказался в другом вагоне, где быть ему не положено. И тамбур-мажорам не положено. Но они — там, а он — здесь. Судьба.

Если честно, ситуация все же пахла мистикой. Не сумел Ким все объяснить, разложить по полочкам, развесить нужные ярлыки и бирки. Но в том-то и преимуществе юного возраста, что можно, когда подопрет, легко выкинуть из логической цепи рассуждений пару-тройку звеньев — только потому, что они не очень к ней подходят: то ли формой, то ли размерами, то ли весом. Выкинул и пошел дальше. К цели.

А как пошел?

Точнее всего: играючи. Ким же без пяти минут режиссер, мир для него — театр, а непонятный мир, соответственно, — театр абсурда. И пусть все остальные ведать не ведают, что они — актеры в театре Кима, что они не живут, а лицедействуют. Киму на это начхать: пусть думают, что живут. Его театр начинался не с вешалки, а с чего угодно, с вагонного тамбура, например...

Ким легко открыл дверь из тамбура в вагонный коридор и... замер — оторопев, остолбенев, одеревенев, опупев. Выбирайте любое понравившееся деепричастие, соответствующее образу.

И было от чего опупеть!

Вагона Ким не увидел. То есть вагон, конечно, имелся как таковой — что-то ведь ехало по рельсам, показывалось, погромыхивало! — но ни купе, ни, извините, туалетов, ни даже титана с кипятком в нем не было. Только крыша, пол, стены и окна в них. Занавески на окнах. Ковер на полу — не обычная дорожка, а настоящий ковер, с разводами и зигзагами. А на ковре — длинный многоногий стол, за коим сидело человек десять-двенадцать Больших Начальников, перед каждым лежал блокнот и карандаш, стояла бутылка целебного боржома и стакан, и все Большие Начальники внимательно слушали Самого Большого, который сей стол ненавязчиво возглавлял. Славная, заметим, мизансцена. Неожданная для Кима.

Так, вероятно, было за секунду до его появления. А в самую секунду появления все присутствующие удивленно повернули умные головы к Киму, а Самый Большой Начальник прервал речь и вежливо сказал:

— Заходите, товарищ. Ждем.

Почему Ким решил, что перед ним именно Большие Начальники?

Причин несколько. Во-первых, вагон. Простые советские граждане в таких вагонах не путешествуют, им, простым, полку подавай, бельишко посуше, вид из окна. В-вторых, простые советские граждане в таких вагонах не заседают, они вообще в вагонах не заседают. В-третьих, дуракам известно, что Большие Начальники даже в сильную жару не снимают пиджаков и тем более галстуков. Эти не сняли. А на дворе — как и в вагоне — стояла приличная времени жара.

Не аргумент, скажете вы. Никакой не начальник Ким, скажете вы, тоже потеет — не в пиджаке, так в кожанке своей металлизированной. Все так, подмечено верно, но причины-то одни и те же. И современный студент-неформал, и Большие Начальники пуще

всего на свете страшатся развезть придуманные и взлеянные ими образы. По-заграничному — имиджи. У неформала — свой, у формалов (простите за новообразование) — свой. Другое дело, что у Кима этот страх со временем пропадет, а у этих... у этих он навсегда...

Ну и тон, конечно, соответствующий — в-четвертых: — Заходите, товарищ. Ждем.

Все-таки реакция у Кима была отменной, актерски отточенной. Замешательство — считанные доли секунды, и тут же мгновенная группировка — скромная поза, мягкая улыбка, вежливый ответ:

— Прошу прощения. Задержался в райкоме.

И, похоже, не попал с репликой.

— Э-э, в каком райкоме? — осторожно спросил Самый Большой Начальник.

— В своем, — импровизируя, спасая положение, подпустил туману Ким, — в родном, в единственном, в каком же еще... — и добил их чистой правдой: — Еле-еле на поезд успел. На последнюю площадку прыгал.

— А-а, — с некоторым облегчением протянул Самый Большой, — во-от почему-у вы из вагона сопровождения появились... Ваша фамилия, простите...

— Без фамилии, — мило улыбаясь, сказал Ким. — Не заработал пока. Просто Ким... — и быстро добавил: — Имя такое. Не корейское. Аббревиатура: Коммунистический интернационал молодежи. В честь деда, первого комсомольца-интернационалиста.

— Эт-то хорошо, — кивнул Самый Большой Начальник, совсем уже успокоившийся. Комсомольское имя полностью притупило его профессиональную бдительность. — Присаживайтесь. Включайтесь. Мы тут обсуждаем весьма серьезный вопрос.

— Не сомневаюсь, — подтвердил Ким, скромно уса-

живаясь в дальнем от Самого Большого конце стола рядом с Большим Начальником в шевииотовом пиджаке и напротив Большого Начальника в импортном твиде.

Со своей серьгой, со своим потерханым «георгием», в своих желтых заклепках Ким выглядел нахальным огородным пугалом в чистой среде культурных растений.

— Чуть повторяюсь для представителя неформальных объединений, — сказал Самый Большой, — коротенько. Нам предстоит, как вы знаете, долгий и трудный путь. Мы, как вы знаете, выехали заранее, дорога к Светлому Будущему еще не дотянута, могут быть задержки, остановки, даже, товарищи, тупики. И здесь многое, если не все, зависит от нас, от нашей организованности, от нашего, товарищи, умения владеть ситуацией. Дело громадное, оно только начато, как вы знаете, всех ситуаций не предусмотреть, но предусмотреть надо. Люди в нашем поезде, как вы знаете, собрались достойные, единомышленники, подвести не должны, но, как вы знаете, и в среде единомышленников могут быть сомневающиеся, неверящие, в чем-то даже противящиеся нашему неуклонному поступательному движению вперед по стальной, товарищи, магистрали...

— Да чего там ля-ля разводить, — раздраженно заметил Начальник в твиде, — враги — они и в Африке враги.

Из чего Ким сделал вывод, что Начальник в твиде в свободное от заседаний время любит поиграть в преферанс. Но это — мимоходом. А вообще-то Ким на частности не отвлекался, держал уши на макушке, слушал наивнимательно, надеясь все-таки уловить суть сюжета. Маршрут, например. Географическое положение Светлого Будущего, например. Состав пассажиров, например. Да много чего, например, хотел он уловить, но ни черта не получалось: Самый Большой Начальник говорил складно, но абсолютно не по делу. Или он рассчитывал, что все обо всем знают, вникать в детали не-

зачем. Или это у него манера такая была, начальническая: складно говорить не по делу. Тоже, знаете, талант...

— Стоп! — сказал Самый Большой. — Осторожнее в терминологии. Враги — это откуда, а?.. Оттуда, да!.. И забудьте все этот термин, зачеркните его в памяти народной. Терпимее надо быть, мягче, гибче, тоньше... Но вернемся, товарищи, к сомневающимся. Их надо выявлять!

— Отлавливать, — хохотнул Начальник в синей тройке наискосок от Кима.

— Выявлять, — жестко повторил Самый Большой. — И помогать рассеивать сомнения. Терпеливо. Пусть долго. Пусть неблагоприятно. Но это наша забота, дорогие мои...

О чем они говорят, в легкой панике думал Ким, кого имеют в виду под «врагами», которых надо «отлавливать»?.. Он ощущал себя полнейшим идиотом. Даже в театре абсурда должен быть хоть какой-то смысл. Иначе безнадега. Пора спускать занавес и тушить свет.

Можно, конечно, пойти ва-банк, то есть на такую импровизацию. Можно встать и сказать так. Дорогие старшие товарищи! Как вы знаете, я — представитель неформалов. Но тот представитель неформалов, который надо, тот, товарищи, в последний момент сильно захворал. СПИДом. И его заменили мной. В последний момент. И в подробности не успели посвятить, поезд, как вы знаете, быстро отходил. Поэтому, товарищи, я ни уха ни рыла не петрю в той ахинее, которую вы здесь несете, и вообще: куда мы едем?

Можно, конечно, пойти ва-банк, но можно и представить, что после этого «ва-банка» начнется. Всполошатся: вот он — скрытый противник нашего поступательного движения, ату его! Подать сюда старика Фесталыча с дружиной! Хватай сомневающегося! Хуже того: некомпетентного...

Ким проиграл в воображении ситуацию и понял:

пока стоит молчать в тряпочку. Особенно добило его слово «некомпетентный». Очень он не любил себя таким чувствовать. Как там у классика: во всем мне хочется дойти до самой сути... Суть по-прежнему покоилась неизвестно где, может, даже и рядом, но Ким ничего о ней не ведал, где ее искать — не знал. Да и была ли суть?..

Последний самовопрос остался без самоответа, ибо в дальнюю дверь вагона (рабочий термин: конференц-вагон...) неслышно вплыл новый персонаж: дородная дама, такая Даная в строгом синем костюме, отлично подчеркивающим ее рубенсовские параметры. Дама склонилась к Самому Большому Начальнику и что-то интимно шепнула.

— Да вон он сидит, — Самый Большой указал на Кима. — Ему и скажите.

— Вами там интересуются, товарищ, — колоратурно пропела Даная, судя по всему — секретарша.

— Кто? — ошарашенно спросил Ким.

В который раз уж мы употребляем в отношении Кима такие слова, как «ошарашенно», «замешательство» и пр. и др.! Скажи ему кто-нибудь часа два назад, что его можно выбить из равновесия, загнать в тупик, он бы в глаза рассмеялся. Его, великого импровизатора, загнать в тупик? Да кому удастся? Да решится-то кто?.. За двадцать один год его земного существования никому подобного не удавалось, даже незнакомому папашке, который в свое время создал в семье поистине тупиковую ситуацию. Ан нет! По-прежнему мчимся на парах, как и задумано, как и запланировано, как матерью родной благословлено. Пусть не в Светлое Будущее, но в будущее-то наверняка!

А здесь, в поезде — что ни разговор, то тупик. Логический. Пока Ким не справлялся с реальностью, она не только вырывалась из рук, но и била по башке. Ну кто, кто мог интересоваться Кимом в этом поезде, да еще по т у сторону конференц-вагона?..

— Ведь вы же, товарищ, представляете у нас неформальные объединения? — почему-то обиженно спросила секретарша.

— Я, — сказал Ким.

— Тогда следуйте за мной.

Большие Начальники во время диалога Кима с Данаей застыли, будто их выключили из сети — сидели, не шелохнувшись, мертво смотрели, как Ким шел за Данаей к дальнему выходу.

Иными словами, все ближе и ближе к разлучнице Верке с заветной гитарой. Знали бы женщины, вольно покинутые Кимом в вагоне номер шестнадцать сопровождения, на сколь трудный путь он себя обрек — не без их посильной помощи! Прямо по сказке: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что...

Да горела бы она ясным огнем, гитара эта дурацкая! Сидел бы сейчас Ким в прохладном служебном купе, дул бы чай с колбасой, а на первой же остановке соскочил бы в никуда — пишите письма... Так нет же, поперся за гитарой, кретин... Песен ему не хватило...

Ой, не криви душой, парень, не за песнями ты пошел, гитара — чушь, предмет фуфловый, а пошел ты именно за «не знаю что», и греет оно тебя, несмотря на твои довольно дурацкие промахи. Что с тобой, крутой мен? Собраться надо. Ощетиниться, как Мастер в институте говорит. Надо быть готовым ко всему. Даже к тому, что по ту сторону конференц-вагона ждет тебя... Ну, кто, кто?.. Да кто бы ни ждал — вот им всем!..

И Ким, произнеся данный монолог про себя, внутренним голосом, вполне наружно показал «вот им всем» древний жест, известный любому культурному гражданину от Бреста до Находки, не говоря уж о Светлом Будущем.

Даная шустрила впереди, покачивая бедрами пятьдесят второго размера.

— Сюда, товарищ. Прошу вас, — пропела она, от-

крывая дверь из вагона и выпуская Кима в переход-гармонику.

Ким, кавалер воспитанный, подал руку даме, провел ее над бегущей пропастью сквозь грохот и лязг. И сразу попали они вроде бы в приемную какого-то из Больших Начальников, в уютную приемную со всеми положенными ей атрибутами, как-то: письменным столом, селекторным аппаратом, тремя разноцветными телефонами, креслом для хозяйки, креслами для посетителей, фикусом, кактусом, аспарагусом, бегонией, а также настенным японским календарем с загорелой японкой в крохотном бикини на июньском листе.

Даная уселась за стол, приоткрыла правый верхний ящик, пошуровала там рукой, словно хотела убедиться: на месте ли верный «магнум», не исчезла ли родная «беретта», не забился ли в щель любимый автомат «узи». Все, похоже, оказалось на своих местах, поскольку Даная успокоилась, сцепила красивые руки замочком, уложила на них красивый подбородок, уставилась на Кима красивыми черными глазами.

— Ну, что будем делать? — красиво проговорила.

Спокойствие, сказал себе Ким, держим мазу.

Для непосвященных в молодежный жаргон. Последнее выражение означает: не ронять достоинство, позицию не сдавать. Имеется в виду позиция крутого мена (смотри предыдущий внутренний монолог Кима), то есть человека сильного, волевого, умного, всегда готового к любым неожиданностям.

— Вы, кажется, сказали, что мною кто-то интересовался, — Ким был сама вежливость, само обаяние, сама кротость.

Но мадам не купилась.

— Сказала, — по-прежнему красиво — голос у нее

такой был! — но весьма сухо подтвердила она. — Я интересовалась.

— Не понял, — не понял Ким.

— Кому вы морочите голову, юноша, — чуть усмехнувшись красивым ртом, сказала Даная, похожая сейчас не на Даная, а на мадам Вонг из малопопулярного фильма узбекских кинематографистов. — Он, видите ли, от неформалов, он, видите ли, в райкоме задержался... Мама вас, наверно, учила: обманывать старших хорошо...

Главное — не терять лица, помнил Ким, эту истину знает любой, даже не очень крутой мен.

— Вы ошибаетесь, — спокойно сказал он. — Я никого никогда не обманывал. Так меня учила мама...

Ну, хорошо, то, что он — чужак, догадаться можно. Без больших усилий... Хотя, с другой стороны, по сюжету кто-то от неформалов в этом ковчеге быть обязан и почему-то не явился, так чем Ким к роли не подходит? И возраст, и кожанка, и косичка, и «георгий» вон... Или представитель их неформалов — по замыслу их режиссера! — должен быть в костюме и при галстукке, так, что ли?.. И почему лысый с компанией не просекли Кима, Большие Начальники купились оптом со всей своей зарплатой, а эта кагэбэшница выловила его без микроскопа? Она же в приемной сидела, она же о нем даже не ведала... Или у нее здесь смонтирован аудиовизуальный центр?..

— Как вы узнали, что я в поезде? — деловито спросил Ким. — Микрофоны? Видео?

— А вы как думали? Мы здесь не груши околачиваем, — грубо, хотя по-прежнему красиво, сказала мадам, — мы здесь дело делаем. Большое дело. И не хотим, чтобы нам мешали.

— Выявляете? — вспомнил Ким. — Меня-то за что? Я мальчик безвредный, я на ваш поезд случайно попал. Методом тыка.

— Но попали...

— Попал, попал. И кажется, в яблочко? То-то вы засуетились — то-то вы занервничали... Что делать станете? Расстреляете?

— Зачем? Мы не звери.

— Догадался. А кто вы тогда? Вы лично? Дураки эти прозаседавшиеся? Бандиты из шестнадцатого? Кто? Куда вы намылились? Почему такая таинственность? Раз вы меня не расстреляете, так объясните ситуацию. Может, я пойму. Может, я проникнусь, встану в ваши ряды и с криком «ура!» побегу впереди паровоза.

Мадам, по-прежнему не снимая подбородка со сцепленных рук, внимательно разглядывала Кима, на его филиппику ответа не давала. Молчание висело в приемной, как топор из поговорки: неизвестно — на кого он свалится острым краем... Впрочем, Кима молчание не слишком тяготило. Молчание — это актерская пауза. Пауза в импровизации — время на раздумье. Раз мадам молчит, значит, решения пока нет.

— А что, — хорошо выдержав паузу, сказала мадам, — в этом что-то есть. Нам нужны сторонники отовсюду, металлисты — не исключение.

— А то! — подтвердил Ким. — Металлисты — воины! По духу. Помните песню: броня крепка и танки наши быстры? Про нас.

Мадам засмеялась. Первый раз, отметил Ким, значит — решение принято, значит — с облегчением ее...

— Вы, конечно, слышали про Светлое Будущее? — издалека начала мадам.

— Конечно, слышал, — соврал Ким.

Про светлое будущее ему с детства пели, но оно — помнится! — писалось со строчных букв, несмотря на всесоюзную любовь к заглавным. А сейчас заглавные не в почете, сейчас о них редко вспоминают, а кто вспоминает — тому позор и народное осуждение.

Мадам, похоже, считала иначе.

— Раз вы слышали, то вам не надо подробно рассказывать о тех неисчерпаемых возможностях, которые

ожидают каждого гражданина на этой — конечной для нас! — станции.

— Конечной? — на всякий случай усомнился Ким. И оказался прав.

— Нет, нет, — чуть смутилась мадам, — нет, естественно. Дорога пойдет дальше, дорога не оборвется, это закон дорожного строительства. Но это — в очень далекой перспективе. Там, — она указала перстом вверх, — думают о ней, прогнозируют... Но пока наша цель вполне конкретна и предельно ясна — Светлое Будущее. Его надо обустроить, обжить, предстоит широко развить экономическую структуру, поднять и расширить социальную сферу, еще более укрепить демократию и гласность...

— Простите, — перебил ее Ким. — Насколько я понял вас и предыдущих ...э-э... — он поискал слово, — ораторов, речь идет о конкретной железной дороге к конкретному населенному пункту, так?

Мадам поморщилась.

— Можно трактовать и так.

— А как еще можно трактовать?

— Шире и глубже. Обернитесь в историю, юноша. Возьмите, например, Комсомольск, Город-на-Заре. Ведь о нем тоже можно было сказать: конкретная стройка конкретного населенного пункта. Но значение ее было шире и глубже вульгарной конкретики. Комсомольск стал символом веры, силы, мужества, символом истинности и единственности избранного пути... Да разве только Комсомольск?.. Любое всенародное дело превращалось у нас в символ...

— ...за которым быстро терялось дело, — вроде бы случайно вставил Ким.

— Не понимаю и не могу принять ваш нигилизм, — сухо сказала мадам.

— Извините, — быстро проговорил Ким. — Сорвалось... — Дурак, ругнулся он, потерпи, не лезь раньше времени со своими подколками. Все испортишь. Дай

ей выговориться, а тогда уж... — Я вас очень внимательно слушаю, очень.

Мадам помолчала мгновение, прикидывая: продолжать урок политграмоты или гнать нахала взашей. Решила, видимо, что гнать — всегда успеется.

— Да, мы тянем дорогу к дальней и пока совсем не обустроенной станции. Дорога будет доведена, станция будет обустроена. Это — конкретика, которая столь вам любезна. И вы, коль вы у нас, примете в том прямое участие. Но мне, мне хотелось бы, чтоб вы увидели за голым фактом — высокий образ...

— Простите, — снова перебил ее Ким. — Я опять с вульгарной конкретикой. Вы строители? Железнодорожники? Вы сами и эти, ваши, в том вагоне...

Мадам опять засмеялась — на сей раз покровительственно: ну что, мол, ты будешь делать, коли собеседник — умственно неполноценен.

— У нас разные профессии, — мягко, как умственно неполноценному, сказала она. — Есть и строители, есть и железнодорожники, есть и другие специалисты — по дипломам.

Ким медленно, но верно зверел.

Было у него вредное для жизни качество: любовь резать правду-матку, когда обстоятельства диктуют иное. Промолчать, например. Мило улыбнуться. Ну, как максимум выматериться про себя. Наконец, раскланяться и удалиться — но молча, молча! А он лез напролом. В школе спорил с учителями, за что не раз имел «неуд» по поведению. В институте определил себя в неформалы, так как они выступали против ректоратско-деканатско-комсомольско-партийного администрирования и числились угнетенным классом. Он и в «металле» ходил из принципа, по роли, а не по убеждениям...

Вы спросите: почему его терпели в школе, почему не бичевали, не гвоздили, не дергали мать на педсоветы и родительские собрания? Да потому, что учился

неплохо, без троек — раз. А два — уважение к матери-одиночке, знатной шишкомотальщице или кем она там числилась... Вы спросите: почему его держат в престижном вузе, почему не гонят вон или хотя бы не лишают стипендии? Да потому, что в престижном вузе — как и везде нынче! — неформалы разного толка уже не считаются угнетенным классом, их и побаиваются, с ними и заигрывают, держа, вестимо, камень за пазухой, а фамилии неформалов — в тайных досье: а вдруг да изменится ситуация, а вдруг да можно будет пазуху от камня резко освободить. Это — раз. А два: Ким и здесь, подлец, хорошо учился, профессию свою успешно осваивал, Мастер им весьма доволен был...

Но надо отдать Киму справедливое должное: от года к году он становился старше (не его в том заслуга), умнее и терпимее (а это — его), и зверел не сразу, а — как сказано выше! — медленно, но верно. Терпел, покуда терпится.

Мадам — с махровой демагогией на уровне провинциальной «датской» (то есть к важной дате сляпанной) драматургии — подвела его к посильному пределу.

— По дипломам, значит? — обманчиво улыбаясь, понес текст Ким. — Специалисты, значит?.. А-отлична-а!.. Шесть лет на халяву учились, государственные бабки тратили, чтобы потом шакалить возле хорошего дела, так?.. — Ким намеренно нажимал на жаргон, чтоб вышло поглубже, чтоб суперуравновешенная мадам обозлилась и пошла в атаку, а стало быть, раскрылась, позволила бы себе кое-чего лишнего брякнуть. — И здесь вы ля-ля разводите — высокий образ! символ! громадьё планов! — а в вашем Светлом Будущем еще конь не валялся... Утопили дело в лозунгах, завалили словами, и — хрен с ним, пусть под откос катится... Что скажете, тетенька?

— Вы хам, — сказала тетенька.

Нет, подумал Ким, она еще не до конца обозлилась, надо добить.

— Я, может, и хам, — согласился он, — но вы хуже. Вы — дармоеды. Буквально: даром едите. На вас, бездельников, все ищачат, тащат ваш паровоз к Светлому Будущему на ручной тяге, а вы, блин, за чужой счет хаваете, шак-калы-ы!

Всю эту похабень Ким нес, как бы он выразился, от фонаря, на чистой терминологии. Он по-прежнему не имел понятия: кто перед ним. Не исключено было, что лишь на время пути мадам присела под фикус с аспарагусом, а вне железнодорожной полосы отчуждения она — ударница и застрельщица трудовых починов, а все Большие Начальники — не начальники вовсе, а группа туннельщиков-забойщиков на временном отдыхе: рожу у них и вправду забойные, поперек себя шире... Но ведь похабень от фонаря как раз и задумывалась Кимом для того, чтобы больше ударить, обидеть, сломать. Пусть сейчас мадам встанет и вмажет Киму по физиономии. Пусть она рванет на груди английский костюм и делом докажет, что Ким не прав, что он — демагог и болтун. Докажет и покажет, куда этот поезд катится, дымкою маня, — так вроде бы пелось в давней хорошей песне...

И ведь добился-таки своего, демагог и болтун!

Почти разъяренная мадам встала во весь свой нехилый рост — как там в соответствующих романах пишется? — сверкнула очами, грудь ее взволнованно вздымалась, а щеки покраснелись от праведного гнева (так пишется, так, автор такое неоднократно читал).

— Шакалы? — с хорошо слышимой злостью спросила она. — Хаваем за чужой счет?.. Что ты понимаешь, сопляк! Если кто здесь и работает, так это мы. Только мы! И без нас ни-че-го не будет: ни Светлого Будущего, ни дороги к нему, ни даже страны не будет. Мы ее держим...

— Не шакалы, выходит, ошибся, — вроде бы сам с собой заговорил Ким, — а вовсе атланты и кариатиды. Странодержцы — вот! Хороший термин...

Говорил сам с собой, а мадам — как и требовалось — прекрасно расслышала.

— Хороший термин, — подтвердила. — Главное — точный. А теперь ты убедишься в его справедливости.

— Это как? — успел поинтересоваться Ким, потому что на дополнительные вопросы времени уже не было.

Впрочем, и на этот, невольный, устного ответа он не получил, зато визуальный последовал незамедлительно. Мадам стремительно подлетела к стене (не к той, где японка, а к противоположной), полностью заклеенной закордонными фотообоями. Они превратили скучную линкрустовую переборку в старую кирпичную стену. На ней висели (якобы!) старинные натюрморты, выполненные в манере Снайдерса. По ней тянулся (якобы!) темно-зеленый плющ. В нее был встроен (якобы!) уютный камин — с мраморной облицовкой, с кованой фигурной решеткой, за которой плясало (якобы!) пламя, лизало хорошо подсушенные сосновые полешки. Славно потрудились угнетенные капиталистами фотографы и полиграфисты, правдивая получилась стена! Огонь только что не грел...

Мадам нажала какую-то кнопку, спрятанную в фотоплюще, и камин раскололся на две половинки, а из обнаружившегося входа выехал странный механизм, похожий одновременно на инвалидную коляску и робота-манипулятора, которого Ким углядел недавно в павильоне Народного Рукоприкладства на ВДНХ. Робот-коляска подъехал (или подъехала — как будет угодно!) к Киму, зарулил за спину и нагло толкнул его под коленки — так, что Ким невольно плюхнулся на мягкое сиденье, крытое прохладным кожаным заменителем.

— Что такое? — совсем уж глупо спросил Ким.

— Фирма веников не вяжет, — мадам полностью перешла на молодежно-подъездно-уличную терминологию, откуда-то ей прилично знакомую. — Сиди, чухан, и сопи в две дырки. Сейчас будет театр. Ты ведь любишь театр?..

Ким не успел спросить: откуда она знает про его любовь к театру. Робот-коляска звучно щелкнул металлическими захватами, прижавшими руки Кима к подлокотникам, а ноги — тоже к чему-то. Он дернулся, но — бесполезно: захваты держали крепко.

— Поехали, — буднично сказала мадам, как Юрий Гагарин на старте, и нажала еще одну кнопку на селекторе, который оказался вовсе не селектором.

Робот-коляска споро покатился вперед, въехал в бывший очаг, откуда появился, и Ким услышал, как стенка сзади гулко захлопнулась.

Влип, безнадежно подумал он и, похоже, был прав. Только куда он влип, Ким не видел. Он вообще ни черта не видел и не слышал, стена снова сдвинулась, наглухо отрезав его от белого дня — раз, от всех звуков — два. Он катился в коляске по какому-то черному тоннелю, и мало было надежды, что тот приведет его к светлому будущему (на сей раз со строчных букв).

Не так-то просто быть статистом в чужой работе!

Похоже, здесь практиковали специалисты, посильнее Кима в импровизации. В. И. Даль заявлял в таких случаях: нашла коса на камень.

Киму показалось, что путешествие в темноте длилось бог знает сколько, но показалось так единственно от растерянности, от нелепости ситуации, в которую он неожиданно залетел. Вероятнее всего, он только и добрался, что до конца вагона, как тут же темнота ушла и возник свет: мерзкий довольно, синюшный и неживой, будто высоко над головой разом включился десяток целебных синих ламп. Ким их не мог видеть, поскольку по-прежнему был прикован к самодвижущемуся агрегату, где жесткий подголовник мешал крутить головой, зато Ким увидел, что вагон — вопреки ожиданию! — не хотел кончаться, а — напротив! — тянулся неведь куда, мо-

жет, даже в бесконечность, что начисто перечеркивало строгие правила вагонного конструирования.

Знакомый эффект театрального освещения: приглушить, «погасить» задник так, что он исчезнет, превратится в черный бесконечный провал.

Это мы проходили, подумал Ким, этим нас не удивишь...

Роботюшка остановился, и перед Кимом в сине-покойническом мраке возник письменный канцелярский стол, а за ним — еще стол, а сбоку — еще, и с другого боку тоже, и сзади, и даже над и под первым столом, что уж не правила конструирования перечеркивало, а железные законы физики. И за каждым столом крепко торчал человек, много человечков крепко торчало перед Кимом, много лысых, волосатых, старых и не слишком, усатых и безусых, в костюмчиках и во френчиках, в гимнастерочках и мундирчиках, при галстучках, и все обязательно — в нарукавничках, в черных сатиновых нарукавничках, чтоб не протерлись рукавички на локотках.

И все столы и человечки за ними как-то перемещались в покойническом пространстве, как-то менялись местами, как-то перелетали друг над другом, а человечки за ними в то же время не спускали острых глазок с прикованного Кима, кололи его напрапалую, да так остро, что бедный Ким эти уколы шкурой чувствовал.

С одной стороны — мистика, с другой — гипотетически-научное явление, именуемое концентрацией био-полей на близком расстоянии.

Да, еще. Все уменьшительные суффиксы, возникшие в кратком описании вагонной фантазмагии, объясняются тем, что летающие видения (а как иначе все

это назвать? Не материальными же объектами, в самом деле...) и впрямь казались какими-то несерьезно маленькими, вроде бы даже лилипутами, и очень хотелось пугнуть их, как стаю летучих мышей, цыкнуть на них, кышнуть...

— Кыш! — сказал Ким, тут же получил довольно болезненный укол в щеку, ойкнул и прекратил эксперимент. Тем более что от его «кыша» никто никуда не разлетелся, а наоборот: один стол подобрался вплотную к Киму, человечек за столом мгновенным махом эстрадного манипулятора вынул левой рукой из синего воздуха канцелярскую папку — Ким успел прочитать на ней выведенное жирными буквами слово: «ДЪЛО», начертанное к тому же через «ять», — хлопнул ею по крышке стола, распахнул, нацелился в лист бумаги перьевой ручкой-вставочкой, тоже вынутой из воздуха, но — правой рукой.

— Имя! — пропищал человечек и тут же уколол Кима глазками-лазерами, не дожидаясь ответа, застрочил вставочкой на листе. — Профессия?

И отлетел в сторону, а на его месте возник другой стол с другим столоначальником, но папка «ДЪЛО» с первого стола необъяснимым образом перемахнула на этот, и новый человечек, пища в иной тональности, зачастил:

— Фамилия матери, имя-отчество, где и когда родилась, место работы, место жительства, партийность, антипартийность, была ли в плену у троцкистов, у фашистов, у страсти, у корысти?..

Не допищал, как его вытеснил третий стол с третьим поганцем, а знакомая папка уже лежала перед ним, и он колол Кима в нос, в лоб, в шею, в грудь — прямо сквозь майку и кожанку! — и пищал, пищал, пищал...

— Кто отец, где служит, где скрывается, есть ли родственники за ирано-иракской границей, когда по-

следний раз был в психдиспансере, кто входил в треугольник, кто подписал характеристику...

Ким молчал, только дергался от непрерывных уколов в разные части тела, пусть и не очень болезненных, но куда как противных и всегда неожиданных. Молчать-то он молчал, а папка «ДБЛО» пухла прямо на глазах, все новые и новые листочки влетали в нее, приклеивались, а сама она так и носилась по краешкам гробов... то есть, простите, столов... а гадкие лилипуты что-то там строчили, что-то наяривали чернильными антикварными ручками — видимо, ответы на заданные вопросы: сами задавали и сами, значит, отвечали на них.

Оговорка о гробах не случайна. Ким дотумкал наконец, что напоминает ему престранная картиночка, к которой он, надо отметить, малость притерпелся, по привык и даже с неким интересом наблюдал за вихревым столодвижением, слушал поток риторических вопросов. С молодых ногтей любимый эпизод из «Вия» — вот что она ему напоминала...

А вопросы сыпались со всех сторон, множились, повторялись, налезали один на другой, и Ким не всегда мог отделить их друг от друга: так и жили они — объединенными:

— Имеет ли правительственные награды в местах заключения?..

— Имеет ли партийные взыскания в фашистском плену?..

— Национальность в выборных органах?..

— Пол в командировках за рубеж?..

— Воинское звание по месту жительства?..

И так далее, и тому подобное...

В конце концов Ким перестал что-либо соображать. От постоянного писка, бесконечных уколов и занудного столоверчения у него трещала голова, зудела и чеса-

лась кожа. Он вспотел, почти оглох, временно ослеп и вконец потерял всякую возможность здраво оценивать ситуацию. Да и какой умник взялся бы оценить ее здраво?.. Летающий гроб у классика — невинная патриархальная забава по сравнению с воздушной атакой столодержателей. Мертвая, но несказанно прекрасная панночка — нежный отдых зрению и уму по сравнению с мерзкими рожами делопроизводителей...

Но в скоростном экспрессе, на который так опрометчиво прыгнул Ким, все процессы шли с толковой скоростью. Вопросы закончились, папка «ДБЛО» переполнилась, канцелярские столы выстроились журавлиным клином и растворились в синей темноте. Робот-коляска снялся с якоря и споро покати́л вперед — в дальнейшую неизвестность.

Ким даже обрадовался движению: ветерок откуда-то повеял, остудил лицо, и голова потише гудела. Вот только руки и ноги затекли так, что — думалось! — разжались бы сейчас захваты, кончилась пытка, так Ким ни встать, ни рукой пошевелить не смог бы. Но захваты не разжимались, робот аккуратно перевалил через какой-то бугорок на невидимом полу, через какой-то холмик — уж не вагонный ли стык? — и, проехав с метр, снова притормозил.

Свет не изменился, разве что стал чуть ярче. И в синем пространстве вагона — или сцены? — возникла новая декорация. Опять стол, только крытый суконной скатертью, зеленой, по всей вероятности, хотя при таком освещении она смотрелась синей или черной. (Типичная ошибка осветителя, машинально подумал Ким.) За столом — трое, по виду — из Больших Начальников, может быть, из тех самых, с кем Ким успел немного позаседать — так немного, что и лиц их не запомнил. Да не было, не было у них лиц! Одно Лицо на всех — сытое, гладкое, уверенное, довольное, пахнущее кремом для бритья «Жилетт», одеколоном «Табак», зубной пастой «Пепсодент», а также копченостями, вареностями,

соленостями, жареностями и пареностями, щедро отпущенными по спецталонам в спецвагоне.

Одно Лицо в трех лицах сидело перед Кимом, внимательно и недоброжелательно изучало его, закованного, а перед ним (перед ними?) на скатерти лежала давшаяся папка «ДЪЛО».

Ну почему ж через «ять», бессмысленно подумал Ким. Какой здесь намек, какая аллюзия, что имел в виду режиссер?.. Может быть, связь его, Кима, с народовольцами и чернопеределцами? Или с эсерами и эсдеками? Круто, круто...

— Вы признаете себя членом неформального объединения, именуемого «Металлический рок» или «Тяжелый металл»? — сухо спросил один из Лица.

Нет, все-таки — один из трех, Лицо составляющих, поскольку «один из Лица» хоть и верно по сути, но уж больно неграмотно по форме.

На сей раз ответа ждали.

— Не признаю, — сказал Ким.

Не был он членом никакого официального объединения, и металлистом, как мы помним, себя всерьез не числил, хотя и носил положенную униформу. А то, что назвался представителем неформалов, — так не он сам назвался, его назвали, а он лишь не спорил — из чувства здорового любопытства и чувства естественной безопасности.

— Врет, — сказала второе лицо. — Изобличен полностью. Здесь... — лицо постучало согнутым пальцем (лицо! пальцем! бедный русский язык!..) по папке, — ...все доказательства, свидетельства очевидцев, видения свидетелей. Да вы посмотрите на него, посмотрите: чистый металлист...

— Рок, а тем более металлический, — меланхолично отметило третье лицо, — есть не что иное, как форма подмены и даже полной замены всем нам дорогих духовных ценностей. Выходит, что мы не сами строим Светлое Будущее, а некая высшая сила нами руководит.

Да еще с металлической — читай: железной! — непреклонностью.

— Рок — это музыка! — объяснил Ким.

— Рок — это слепая судьба, — не согласилось третье лицо.

— Почему вы обманываете трибунал? — поинтересовалось первое — среднее! — лицо.

— Это трибунал? — позволил себе удивиться Ким.

Все-таки хорошо он себя держал, спокойно. И привычное чувство юмора вновь обрел. Как ни странно, именно канцелярская чертовня — ее полнейшая неправдоподобность и бредятина! — вернула ему уверенность в себе. А может, и головная боль помогла? Или частое иглоукалывание?..

— Трибунал, — ответило лицо.

— По какому праву?

— По праву сильного.

— С чего вы взяли, что вы — сильные?

Среднее лицо усмехнулось левой стороной рта. И два остальных лица сделали то же самое.

— Посмотрите на себя, — сказала лицо, — и потом на нас. Кто сильнее?

— Вопрос некорректен. Я один, вас — трое. Я скован, вы свободны...

— Сами того не желая, юноша, вы сформулировали некоторые принципы нашего преимущества в силе. Вы один, нас — трое. Расширьте формулу: вас — единицы, нас — множество. Дальше. Вы скованы, мы свободны. Тут и расширять нечего... Не вижу необходимости продолжать заседание. Сколько нам на него отпущено?

— Пятнадцать минут, — ответило правое лицо. — По пятнадцать минут на клиента... э-э... на обвиняемого.

— Сэкономили семь... Объявляю приговор. Двадцать лет трудового стажа с обычным поражением в правах. Товарищи, согласны?

— Где будет отбывать? — деловито поинтересовалось левое лицо.

— А где бы ни отбывать, — беспечно отвечало среднее лицо. — Широка страна моя родная. За столом никто у нас не лишний. По заслугам каждый награжден. А с его профессией он всегда на булку с изюмом зарабатывает. Лицедеи и шуты любимы народом.

— Лицедеи и шуты опасны для власти, — ввернул Ким, который ко всему происходящему относился как к странному — да! страшному — да! — но все же спектаклю. А захваты на руках и ногах, всякие там укольчики — так нынешняя режиссура на выдумку горазда...

— Глупой власти опасны, — сказала первое лицо. — Она их боится и преследует, а значит — ожесточает. Умной — нисколько. Она их награждает званиями, премиями, орденами и прочими цацками. Чем больше цацок, тем лучше служат умной власти смелые лицедеи и шуты.

— Где это они должны служить? В зоне? — с сомнением спросило правое лицо.

— Смотря что называть зоной... — среднее лицо отбросило папку «ДЪЛО» назад, и та растворилась в синеве, как давеча — журавлиный клин столоначальников. — Мне хотелось бы обратиться — не удивляйтесь! — к метеорологии. В этой науке есть один замечательный термин: зона высокого давления. Я склонен распространить этот термин на все сферы человеческой деятельности. Так, например, наказание трудовым стажем человек должен отбывать именно в этой зоне; в ней, кстати, легко происходит процесс поражения в правах... Чтобы вы не сочли меня голословным, прошу оглянуться на пройденный нами путь...

Правое лицо и левое лицо послушно оглянулись. Что уж они смогли разглядеть в синей темноте просцениума, то бишь вагона, Ким не ведал, но повернулись оба явно довольные. Видно, встал перед их мысленным взором пройденный путь, славный и радостный, который, как песня утверждает, никто у нас не отберет.

— Ну как? — поинтересовалось первое лицо.

— Верно, — сказала правое лицо.

— Единственно, — сказала левое лицо.

— Да, — вспомнило первое лицо, — вам, юноша, ясен приговор?

— А то! — сказал Ким. — Только клал я на него...

— Класть — это ваше право, — мило улыбнулось первое лицо. — У вас вообще немало прав, которыми вы поражены, кроме одного: обжаловать приговор. Он окончателен, кассировать не у кого.

— Ну и какие ж у меня права? — праздно поинтересовался Ким, изо всех сил шевеля пальцами рук, чтобы хоть как-то погонять застоявшуюся кровь.

— Не-ве-ро-ят-ны-е! — по складам отчеканило первое лицо. — Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Грызть гранит. Ковать железо. Вздывать знамя... Долго перечислять, назову лишь главное, на мой взгляд: дышать полной грудью. Я, юноша, другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. И вы не знаете. И никто не знает и знать не должен. Я прав?

— Вполне, — сказала правое лицо.

— Предельно, — сказала левое лицо.

— Встать, суд уходит, — подвело итог первое лицо, но не встало. И остальные продолжали сидеть. — Уведите приговоренного.

Никто, конечно, не явился, чтобы увести — или увезти? — Кима. Стол с троицей уплыл в темноту, слился с ней, а робот-коляска вновь ожил и покатился в следующий вагон. Или — так хотелось Киму! — в следующую декорацию, в следующую сцену. Хотя какая, к чертям, декорация, если вагон — все-таки вагон! — трясло на стыках, колеса привычно громыхали под полом, где-то впереди, в темноте, что-то лязгало, булькало и свистело. В действие снова ворвался мир железнодорожных звуков, будто театральный радист отходил ненадолго, на краткосрочную свиданку выбегал, а сейчас вернулся и врубил на полную мощность положенную по сцене фонограмму.

Каждый сходит с ума по-своему, извините за банальность. Ким играл в театр, и сей род сумасшествия помогал ему сохранить здравый рассудок. Парадокс.

Робот въехал на невидимый холмик и остановился. Металлические браслеты с сухим шелком раскрылись, и Ким немедленно вскочил. Увы ему!.. Театр, конечно, великий маг, однако реально затекшие и исколотые ноги Кима не держали. Они так же реально подогнулись — ощущение, доселе абсолютно незнакомое Киму! — и Ким, падая, ухватился за что-то тяжелое и массивное. Тяжелое и массивное легко подалось вперед, Ким, вцепившись в какую-то железяку, поволокся — буквально так! — следом и...

В этот момент он думал, конечно же, не о театре, а лишь о том, чтобы не врезаться мордой в какое-нибудь вагонное ребро жесткости, в какую-нибудь перегородку, да и вообще — не выпасть бы из вагона на всем скаку.

...очутился в полном света пространстве, света такого яркого, что Ким немедленно и сильно зажмурился. Движение — точнее: волочение! — вперед прекратилось, Ким отпустил железяку и встал на колени на что-то жесткое и покачивающееся, как пол вагона. Это и был пол вагона, что подтвердилось спустя короткое время, когда Ким смог приоткрыть глаза. Он стоял на коленях в тамбуре, упираясь руками в открытую межвагонную дверь. Стало быть, туго сообразил Ким, он вывалился из перехода между вагонами, куда довез его тюремный робот. Самого робота не было, он укатился, вероятно, в распоряжение мадам Вонг. Тамбур выглядел вполне обычным, ничем не отличающимся от того,

к примеру, на который Ким сиганул. Час назад?.. Год назад?..

Первым делом Ким попробовал встать. Удалось. Ноги хоть и плохо, но держали, руки тоже пристойно шевелились, можно было двигаться. Вопрос: куда?.. Назад, к Настасье Петровне и Таньке, к добрым женщинам, которые, поди, и не ждут уж доброго молодца?.. Хорошо бы!.. Но путь к ним лежал через владения мадам Вонг, летающих столоначальников и триединого Лица, через лихие места — прямо как в сказке! — в которые не положено возвращаться богатырю-первопроходцу.

Ким и вправду чувствовал себя таким сказочным богатырем, который прошел огонь, воду и сейчас дышит полной грудью, как наказало первое лицо, чтоб войти в медные трубы. Да и в какой пьесе богатырь сворачивал с избранного пути? Нет таких!

Так думал Ким, постепенно приходя в себя и уже с неким любопытством ожидая, что встретит он в очередном вагоне.

Не разлучницу ли Верку с голосистой гитарой?..

Открыл дверь и вошел в вагон.

Вагон был плацкартным. Ким такие знал, Ким в таких ездил по родной стране.

Проводница где-то гуляла, ее купе пустовало, на столе звенел строй стаканов в подстаканниках — грязных, заметил Ким, значит, чаек уже отпили, значит, проводница — или проводницы? — умотала на полчаса к подружкам, оставила хозяйство без верного глазу.

А хозяйство, слышал Ким, без верного глазу отлично себя чувствовало. Звенела гитара, может, даже Веркина, постанывал баян, а еще и мандолина откуда-то взвизгивала, и все это покрывалось мощным разноголосьем мужских и женских голосов. Именно разноголосьем: пели разное. Одна компания старалась пере-

кричать другую, другая — третью, третья — следующую, а в результате музыкальный Ким не смог при всем старании разобрать ни одной песни. Просто «тра-та-та, тра-та-та», и мотив общий.

Никак студенты, подумал Ким, никак комсомольцы-добровольцы в едином порыве двинулись строить Светлое Будущее? Подумал он так, осторожненько вышел в коридор — ну просто Штирлиц! А может, опыт, накопленный в предыдущих вагонах научил? — бочком, бочком, прошел по стеночке и...

Плацкартный, повторяем, вагон, ни тебе дверей, ни тебе покоя, ни тебе нормального уединения!

...немедля был замечен группой певцов, обретавшихся в первом отсеке. Не переставая могуче петь, они замахали Киму: мол, гребь сюда, кореш, мол, у нас весело, не прогадаешь. Они даже не обратили внимания, что Ким — из чужаков, что он — металлист проклятый, а может, и обратили, но не придали значения: сегодня комсомол металлистов не чурается.

Теперь-то, поскольку Ким был рядом, он без натуги врубился в песню, которую орал отсек. Она бесхитростно, хотя и на новый лад повторяла мыслишку про дальнюю дорогу, про казенный дом, который будет построен в срок, про счастливый марьяж в этом казенном доме. Ким песню слышал впервые, содержание ее понял не вполне, почему и предположил, что в отсеке едут молодые строители, которым предстоит возвести в Светлом Будущем Дворец бракосочетания. И песня эта — их фирменная.

Заметим: в том, что в вагоне обосновались именно строители Светлого Будущего, сомнений у Кима не возникло. Да и откуда сомнения? Гитара, защитные

штурмовки, комсомольские значки на лацканах, малопонятные эмблемы, вон даже надпись на чьей-то спине: «We need of Clear Future!» (что в переводе означает: «Даешь Светлое Будущее!»). Все это — всем давно привычный реквизит комсомольско-добровольческостроительно-монтажной романтики. Вздывать знамя — так, кажется, выразилось первое лицо. Что ж, лицо право: это право (простите за тавтологию) у нас неотъемлемо...

Ким вошел в отсек, добровольцы подвинулись, и Ким уместился на краешке полки. К несчастью, песня окончилась, что дало свободный выход праздным вопросам.

— Сам-то откуда? — завязав с пением, спросил Кима парень с гитарой, широкоплечий, русоволосый (волосы, конечно, непокорные), высоколобый, белозубый, голубоглазый. (Ничего не забыл из плакатного набора? Кажется, ничего...)

— Из Москвы, — лаконично ответил Ким.

— А зовут как? — встряла в разговор крепкая дивчина, русоволосая, высоколобая, белозубая, голубоглазая, разве что не широкоплечая.

— Ким, — сказал Ким.

— Кореец, что ли? — удивился парень с гитарой.

— Кореец, — подтвердил Ким, чтоб зря не повторяться.

— Непохож, — усомнилась дивчина, но на долгие сомнения ее не хватило, она плавно перешла к следующему вопросу: — От какой организации?

— Я не от организации, — честно сказал Ким. — Я здесь по приговору «тройки». Двадцать лет с поражением в правах.

В отсеке, извините за литературный штамп, воцарилось гробовое молчание. Кто-то быстро отвернулся и приник к окну, за которым — безо всякой сверхскоростной мистики — не спеша тянулись обычные среднерус-

ские пейзажи. Кто-то ловко вынул из-под задницы затрепанный детектив и принялся внимательно читать. Кто-то книге предпочел популярный журнал «Смена отцов». Парень с гитарой прислонил гитару к стенке и бочком пошел в коридор. А сердобольная дивчина, явная внучка мухинской колхозницы, подперла лицо ладошками, уставилась на Кима, спросила-таки жалобно:

— За что ж тебя так?..

В соседнем отсеке безмятежно пели про яблоки на снегу. Еще дальше — Ким уже отличал песню ближайшую от песни более отдаленной, по привычке немного — наяривали про мадонну в окне, потом — кто-то бельканто уговаривал паровоз постоять, а что пели дальше, разобрать было трудновато.

— А вас разве не по этапу? — ответил Ким вопросом на вопрос.

Он не считал нужным ломать комедию и прикидываться неформалом по мандату. Пройдя несколько кругов железнодорожного ада — или рая? — он не собирався более испытывать собственные нервы, а решил посылить ситуацию к рукам. Как это сделать, он пока не знал, не придумал, но четко усек одно: с помощью вранья, поддакивания и тихого соглашательства здесь ничего толкового не выведать, а уж тем более не добиться. Здесь надо резать правду-матку (это занятие, как мы помним, Ким любил), бить ею по размягченным мозгам пассажиров, вызывать на себя их опасную реакцию. Коса на камень, говорите? Вот и посмотрим, кто кого...

— Мы по комсомольским путевкам, — гордо и с неким даже превосходством сказала дивчина. — По зову сердца.

— И много вас таких, отзывчивых?

— Наш вагон и еще соседний. И еще один.
— Ты хоть поняла, куда идешь?
— Строить Светлое Будущее.
— Вас здесь в вагоне — человек сто. В двух других — еще сотня плюс сотня, итого — три. Триста добровольцев — не мало ли для строительства Светлого Будущего? Не надорветесь?

— Мы же не первые...

— Это точно. И не последние. Небитых дураков у нас всегда хватало. Вот когда побьют — тут некоторые поумней становятся...

Парень с гитарой (без гитары), который нервно смоллил сигаретку в районе купе проводников и, конечно, в оба уха слушал интеллектуальную беседу между чистой комсомолкой и отпетым преступником, не стерпел последней философской максимы и грубо встрял:

— Да что ты его слушаешь, урку поганого! Он же провокатор! Диссидент! Да еще с серьгой...

— За урку можно и в глаз, — спокойно сказал Ким, не вставая, однако, с полки.

А яблоки со снега уже собрали, мадонна закрыла окно и ушла спать, и до других поющих отсеков донеслись отзвуки легкого скандальчика в первом. Стихли музыкальные инструменты, смолкли молодые голоса, потянулись к первому отсеку комсомольцы-добровольцы, соскучившиеся по горячему диспуту с идейным врагом, столпились вокруг, даже свет собой заслонили.

— Ты, что ли, в глаз? — презрительно спросил парень без гитары. — Да я тебя по стене размажу, два дня отскребываться будешь.

Все слушали — никто не вмешивался. Интересно было.

— Размазать ты меня успеешь, если получится, —

спокойно сказал Ким, — а пока ответь-ка мне на простой вопрос. Если я — урка, если я — осужденный, то почему я еду с вами, а не с конвоирами? Почему я — вольный?

— Почему? — встал в тупик парень.

И дивчина не знала ответа. И все кругом молчали. Только самый начитанный, с детективом, догадался:

— Ребя, да он же нам соврал! Да он же наш с потрохами, ребя, честное комсомольское!

Почему-то никто не встретил эти слова бурным ликованием. Все ждали ответа Кима.

— Вы сами-то надолго едете? — Ким опять предпочел вопрос.

— На всю жизнь, — сказала дивчина.

— Как получится, — сказал парень без гитары.

— Пока нужны будем, — сказал любитель книг — источников знаний.

— Как там все обернется, так и порешим, — раздумчиво сказал кто-то из толпы.

— Наконец-то разумный ответ! — воскликнул Ким. — Я к нему еще вернусь, а для начала напомним: обязательный трудовой стаж в нашей стране равен... чему?.. правильно — двадцати годам. Вот на них-то меня и обрекли. Как и всякого гражданина родной страны. Как и вас, соколы орлами. Двадцать лет жизни — минимум! — каждый из нас, — он обвел рукой слушателей, — должен отдать на строительство Светлого Будущего. И вы, братцы, такие же осужденные, как я...

— Мы добровольцы, — напомнила дивчина.

— Все мы в какой-то степени добровольцы. Кто — где. Вы — здесь.

— А ты?

— А я в другом месте доброволец. Сюда меня насильно прислали.

— Как могли? У каждого есть право выбора! — реплики шли — ну, прямо из брошюр серии «В помощь

комсомольскому активисту». У Кима закономерно вяли уши, но держался он молодцом.

— Милый, — сказал Ким, глядя в чистые глаза парня с гитарой (без гитары), — разве все добровольцы — добровольцы? Разве не знаком ты с термином «добровольно-принудительный»? Разве все, что ты делал в жизни, ты делал только по зову сердца?.. — парень открыл было рот, чтобы достойно ответить, но Ким не дал, махнул рукой. — Ладно, молчи. Не о том речь. А о том, что вся ваша добровольческая армия развалится и расползется, если в Светлом Будущем, которое вы рветесь ваять на пустом месте, не будет отдельных квартир, теплых сортиров, набитых продуктами магазинов, театров, киношек, да мало ли чего... Прав товарищ: как там все обернется, так вы и порешите.

— Мы все построим сами! — крикнул кто-то. — Своими руками!

— Ты родом откуда? — Ким опять отбил вопрос вопросом.

— Из Мухачева. Город такой, — важно ответили.

Кто — Ким не видел, да и не стремился видеть: спор велся не с конкретным собеседником, а сразу со всеми. Говоря метафорично: с собеседником по имени Все.

— И что, у вас в Мухачеве все живут в отдельных квартирах? В магазинах всего завались?..

— Нет пока... Вот к двухтысячному году...

— А что ж ты, мать твою, невесть куда прешься? — со злостью перебил невидимого оппонента Ким. — Чего ж ты в своем Мухачеве не строишь того, что в Светлом Будущем собираешься? Почему, как дерьмо вывозить, так мы в конец географии рвемся? А у нас дома своего дерьма — по уши, не навывозишься... Сидел бы ты дома, делал свое дело, так, может, и двухтысячного года ждать не пришлось бы...

— Это не разговор, — сказал гитарист.

— Другого не жди, ассенизатор...

Напомним: Ким вырос в маленьком русском городке, где все решенные и нерешенные проблемы страны гляделись такими же маленькими, как и сам городок, а потому заметными всем. Все про все в городке знали: где что недовыполнили, недопоставили, недостроили, недодали, недовесили. Бесчисленные «недо» выглядели привычными, даже родными; любой, кто ни попадя, обвешивал их гирляндами красивых и важных слов, отчего «недо» смотрелись почти как «пере». Не безглазым рос Ким и не безухим; потому и подался в «правдоматколюбцы», что с детских лет нахлебался вранья из корыта с верхом. Первым туда плеснул папаныка. Потом школа щедро подлила, боевая пионерская дружина, еженедельные сборы всего-чего-не-нужно, «Будь готов! — Всегда готов!», долго перечислять. Улица добавила, родной комсомол в стороне не остался...

Сейчас стало легко. Сейчас правда вышла в почет, хотя всякий, ее несущий, по сей день считался чуть ли не героем, а вранье по-прежнему не сдавало позиций.

Волею случая Ким попал на поезд, нацеленный в Светлое Будущее. Волею Невесты Кого в поезде этом распрекрасном творилось Черт-Те Чего. Для начала Ким хотел бы узнать смутный сюжет Черт-Те Чего...

А как узнать?..

Ну, резал он правду-матку красивой мадам Вонг, ну, со святой троицей (начальник-отец, начальник-сын, начальник — дух святой) грубо разговаривал... Чего добился, бунтарь фиговый? Ничего... А потому ничего не добился, считал Ким, что любым начальникам любая правда — звук пустой. В одно ухо влетает, в другое — соответственно... У них своя прáвда, и другой они знать не хотят и не будут, как бы ни били себя в грудь, как бы ни клялись в верности демократии. Все клятвы для них — слова, слова, слова, как говаривал бессмертный герой сэра Вильяма, а слова для начальников ни хрена не стоят, задарма достаются.

Ну а с этими-то, с добровольцами, чего впустую ля-

ля разводить? Они же — не люди. Они — статисты в славном спектакле, поставленном Невесть Кем. Они — такая же нежить, как и летающие столодержатели, вечные исполнители роли «Кушать...», извините... «Строить подано», только та сцена поставлена в жанре гротеска, а эта — в героико-реалистической манере: с Истинными Героями на авансцене и с Хором у задника.

Все так, понимал Ким, все правильно. Но — будущий режиссер! — он прекрасно знал, что именно из статистов, особенно из молодых, рядовых-необученных, вылупляются театральные бунтари и даже революционеры. Именно среди них потихоньку зреют те, кому привычный текст «Строить подано» давно обрыдл, им других текстов хочется, доселе неигранных, даже неслыханных, а память у них емкая, крепкая и пока — пустая.

Вот почему Ким устраивал легкий ликбез этим макекам в штормовках — не более, чем ликбез. Для них «Краткий курс истории ВКП(б)» — почти Гегель по сложности. Формулировки Кима — чеканно-афористично-доходчиво-примитивные — вполне подошли бы для нового «Краткого курса», пока, к счастью, не написанного...

В любом случае Ким хотел разозлить добровольцев. Не на себя, как раньше мадам или Начальников, а на других. Может, как раз на мадам и на Начальников...

Зачем разозлить?.. Точного ответа Ким пока не знал.

— Погоди, — сказал парень с детективом, — а что ты там о поражении в правах плел?

— Это мур, — отмахнулся Ким. Тема его не очень волновала, посему объяснял он просто и сжато — в стиле «Краткого курса». — Вся наша жизнь — это перманентное поражение в правах, говоря языком юриспру-

денции. То есть я, конечно, не имею в виду права конституционные — на труд там, на здоровье, на подвиг. Я о каждодневных правах говорю, о житейских, о бытовых, до Конституции не доросших. Скажем, право на жилплощадь в родном городе. Есть оно у тебя? Есть. Иди в райисполком, вставай в очередь, жди — к пенсии получишь... Или вот такое смешное право: тратить свою зарплату. Имеешь его? На все сто! А как его использовать, коли тратить не на что?.. Да ладно, это неинтересно. Хотите — сами покумекайте... Я только одно скажу. У эсеров был лозунг: в борьбе обретишь ты право свое. Эсеры давным-давно на свалке, в истории — пяток фамилий остался, а мы до сих пор по их лозунгу существуем. Прямо как в песне: вся-то наша жизнь есть борьба. Борьба за то, что нам по праву положено. Разве не так?..

Публика молчала. Реплики типа: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» или «Нам нет преград ни в море, ни на суше!» к разговору явно не подходили, это даже Хор у задника понимал. Требовались в ответ свои слова, незаемные, а их-то как раз и не находилось. Будь Ким режиссером этой сцены, он ввел бы сейчас в немоту фонограмму — звук вращающихся, скрежещущих шестерен какого-нибудь гигантского механизма. Для чего? А для иллюстрации мыслительного процесса добровольцев. Очень убедительно получилось бы. И вполне новаторски, хотя и не без хамства.

А хамить ребятам, в общем, не хотелось. В чем они виноваты? В том, что кто-то сверху, все и вся решавший за них, поместил их в этот плацкартный вагон, сунул им в рот стандартные тексты проходных ролишек, примитивно просто выстроил мизансцену — по шаблону, проверенному десятилетиями, залитованному однажды и на все времена? Или в том, что они не взбунтовались против «кого-то сверху», не выплюнули изжеванные слова, не вооружились своими? Так, может, для этого Ким и помещен в поезд, в вагон, в отсек, непредвиденным

фактором введен в спектакль — для того, например, чтобы проверить: кто способен на импровизацию, а кто — нет. На импровизацию, а значит, и на большую — новую! — роль. Или иначе, житейски: кто способен на бунт...

Просто старая сказка для детей получается, думал Ким. Просто история про Карабаса-Барабаса и его несчастных актеров. А кто он, Ким, в таком случае? Никак Буратино? Никак чурбачок с длинным носом, сующий сей нос во все дырки? А коли отрубят?.. Так не отрубили же у Буратино, если верить Алексею Николаевичу, и у Кима цел пока его тоже немаленький рубильник... И уж если следовать сказке, то куклы-то взбунтовались, повязали Карабаса-Барабаса, ушли с Буратино за яркий занавес с нарисованным на нем горящим камином...

Камином?..

Ким вспомнил фотообои на стене в кабинете мадам.

Выходит, ему с самого начала уготована роль деревянного бунтаря?.. Почетно...

— Слушай, друг, — сказал наконец парень с гитарой (без гитары), — ты зачем к нам явился? Головы нам морочить?

— Угадал! — обрадовался Ким. — А что, есть что морочить?..

— Не паясничай, — сурово оборвал его гитарист, — не на тусовке. Дело говори. Что ты от нас хочешь?

Что он от них хочет? Знал бы — сказал бы...

Глядя телевизор, читая газеты, краем уха слушая радио, Ким, комсомолец с четырнадцати школьных лет, не раз задавался законным вопросом: есть у комсомоль-

цев своя голова или за них думает аппарат родного цэка вээлкаэсэм? Кто именно мчится с горящим сердцем строить все эти «бамы», «атоммаши», «катэки»?.. Что их тянет из дому? Что ищут они в стране далекой, что кинули они в краю родном? Деньги? Их там не больше, чем где-либо. Славу? Она догоняет лишь избранных — как, впрочем, везде. Романтику? Ее хватает на месяц — даже для дураков, и те, кто дразнит дураков фальшивой романтикой, отлично знают, что добрая половина через месяц-два поумнеет и всюю будет стараться смотать удочки. Останутся самые стойкие, самые честные, самые работающие и — оттого! — самые несчастные, которые вполне были бы к месту у себя дома, в родном городе, в родном селе, в родном колхозе-совхозе, где позарез не хватает стойких, честных и работающих.

Самое плановое в мире хозяйство на поверку оказывается самым бесплановым. Самым авральным. И затыкать авральные дыры — на сей сомнительный подвиг годятся только молодые, только необстрелянные и непременно — с горящими сердцами. Которых легко обмануть. Всем чем угодно: псевдоподвигами, псевдоромантикой, псевдозаработками, псевдонеобходимостью. Псевдожизнью. А псевдожизнь — это не театр, прошу не путать.

Нас бросает из крайности в крайность, и каждая крайность немедля становится передним краем битвы за... за что угодно. А кому в прорыв? Рядовым-необученным — кому ж еще, дураков больше нет! Аврал, ребята, спасай державу, только вы и можете ее спасти, винтики наши разлюбезные! Мы вас отсюда вывинтим, а сюда ввинтим, никто ничего не заметит, машинка как крутилась, так и крутится. Ну и ладно что помедленней, ну и ладно что скрипит сильно, зато какой тембр у скрипа — победный!..

А если бы каждый винтик да на своем месте, да в своей резьбе?..

Ким усмехнулся: который раз уж приходит на ум эта чужая винтичная ассоциация! Повторяешься, режиссер, штампуешь образ...

И все же: если бы каждый винтик да на своем месте? Может, и вправду не пришлось бы ждать двухтысячного года? Может, и вправду жили бы мы сегодня в сильно развитом социализме и вкусные галушки прямо в рот бы к нам прыгали?..

— Что я от вас хочу? — повторил Ким вопрос. — Да ничего, пожалуй. Задумались на секунду — и то ладушки... А вот остановиться бы нам сейчас, а вот поразмять бы ноги...

Зрело у Кима что-то такое, что-то этакое — что, он и сам толком не догадывался.

— Мы без остановок, — растерянно сказал гитарист. Виделось: он изо всех сил хочет помочь симпатичному попутчику, но нет у него на то сил, нет возможностей. — Каждая остановка — ЧП. Идем по графику...

— ЧП говоришь? ЧП — это разумно... ЧП — это выход...

— Что ты несешь? — взволновалась дивчина, до сих пор молчавшая, в разговор мужчин не вступавшая. (Да и никто, заметил Ким, в разговор не лез, кроме двух-трех персонажей. Понятно: Хор — он и есть Хор, реплик на него ни драматургом, ни режиссером не отпущено...) — Какое ЧП? Ты не заболел ли часом?

— Часом заболел, — сказал Ким. Он, похоже, понял, что делать. — Медпункт у вас здесь имеется? Градусник там, пурген, бисептол?..

— Наверно, — предположила дивчина. — Может, сзади?

— Сзади медпункта нет, — быстро сказал Ким, вспомнив декорации, сквозь которые он прошел с боями местного значения. — А что впереди?

— Два вагона с нашими, а дальше — не знаем. Я же говорила...

— Кто у вас старший?

— Вот он, — дивчина хлопнула по плечу гитариста. — Командир сводного комсомольского добровольческого...

— Понятно, — перебил Ким. — Зовут тебя как, Командир?

— Петр Иванович.

— Иванович, значит?.. Это серьезно, — усмехнулся Ким. Гитарист если и был старше его, то года на три — не больше. И уже — Иванович. А Ким — всего лишь Ким. Судьба... — Пойдем со мной, Иванович.

— Куда?

— Медпункт искать. Поможешь больному осужденному вечный покой обрести.

— Ты не болтай чушь, — строго сказал Петр Иванович. — Пойти я с тобой пойду, а потом что?

— А потом — суп с котом, — остроумно ответил Ким. — Много будешь знать, скоро состаришься...

Какого, спрашивается, рожна Ким полез в не им и не для него придуманную драматургию? (Газетные зубробизоны сочинили рабочий термин: драматургия факта...) Почему же ему так не полюбилась очередная рядовая стройка века? Одной больше, одной меньше — державы не убудет. Ну, построят они стальную магистраль, ну, дотянут ее до населенного пункта Светлое Будущее, ну, организуют там театр, рынок, стадион, универсам, дом быта, десяток унылых «черемушек», ну, заживут припеваючи, детишек нарожают, дождутся миллионного жителя и того прелестного момента, когда

их Светлое Будущее нарекут именем какого-нибудь давшего дуба Большого Начальника. Идиллия!.. Киму-то она чем помешала?.. Может, через пяток лет его в сей град пригласят, назначат главрежем аврально возведенного театра, и он легко превратит его в новый «Современник», в новую «Таганку», в новый БДТ...

А вот помешала! А вот не желает он приглашаться в Светлое Будущее! И не ищите тому разумное объяснение! Название ему, допустим, не нравится — и точка!

Медпункт, дураку ясно, предлог. Прорвавшись за нарисованный очаг, Буратино обнаружил отнюдь не идиллическую картинку всеобщего кукольного братства, а нечто иное, куда более паскудное. Что именно — графу Алексею Николаевичу боязно было раскручивать, время на дворе требовало литературных идиллий. Пройдя заветным путем Буратино, Ким очутился в Стране Дураков, куда его намеренно запустила хитрая лиса Алиса, она же — Даная, она же — мадам Вонг, чтобы доказать могущество и незаменимость своры Больших Начальников — в скромном, конечно, масштабе поезда особого назначения.

Доказала? Ким так не считал...

Кстати: о театре сказала она, а способный Ким лишь думал о нем, видел его, но пока не вмешивался, не исправлял режиссуру. Пока не мог. А теперь решил: пора!

Но это он так решил, а у лисы Алисы имелось другое мнение.

Она уже спешила к нему по вагону, вежливо отодвигая ручкою плакатноликих строителей, цокала каблучками, вся — в белом крахмальном халатике, вся — в белой короне с красным крестом, с белым же чемо-

данчиком-атташе, на коем тоже начертан был красный крест, яркий символ бесплатного милосердия. Вроде — она, а вроде — не она. Вроде — врач самой скорой помощи. А за ней неслись два медбрата с выражением сострадания на сытых физиономиях, два крепких мортуса, один к одному похожих на случайных корешей Кима из дальнего вагона охранения: на лысого топтуна в ковбойке, которому Ким ручку повредил, и на молодого курильщика в майке с надписью «Вся власть Советам!». И появились они, отметим, со стороны тепловоза, а вовсе не с хвостовой, где их оставил Ким.

Как сие могло произойти?

Два варианта. Первый: это не они, а их родичи, сестра-двойняшка Данаи — Алисы и братья-близнецы тамбурмажоров. Второй: это они, но в поезде нарушены законы пространства-времени, пассажиры (кроме Кима!) существуют не в трех привычных измерениях, а по меньшей мере в пяти-шести. Ким склонялся ко второму варианту: он был интереснее и давал куда больше возможностей.

— Посторонись! Посторонись! — взволнованно кричал бывший тамбурмажор в майке с надписью «Вся власть Советам!» (назовем его теперь молодым медбратом), а бывший топтун в ковбойке (назовем его пожилым медбратом) довольно похоже изображал сирену «скорой помощи».

Хор строителей расступился, и лиса Алиса (заметили: у нее полно кличек, придуманных Кимом, и нет собственного имени!) впорхнула в командирский отсек вагона.

— Кто вызывал врача? — красиво пропела она, распахивая тем временем медицинский чемоданчик, доставая тем временем шприц, стерильную иглу, ампулу с прозрачной жидкостью. — Кому требуется помощь? Не вам ли, молодой человек? — и подмигнула Киму, как старому приятелю. А сама уж и ампуле голову скрути-

ла, и шприц непонятной жидкостью наполнила, а крепкие медбратья схватили болезного Кима за белые руки, завели их ему за спину, и мадам обратилась к малость остолбеневшим добровольцам: — Выйдите, товарищи. Человеку плохо, человеку надо сделать животворный укол.

Приключениями Буратино уже не пахло. Наклеывалась ситуация из довольно известного романа «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», по которому поставлен всемирно известный фильм — за океаном, и ряд мало кому известных спектаклей в родной стране.

— Эй, стой! — заорал Ким, пытаясь вырваться из цепких на сей раз захватов медбратьев. — Какой укол?.. Я не хочу!.. Ребята, помогите мне!

— У больного бред, — строго сказала лиса. — Это опасно. Просьба всем покинуть помещение...

Добровольцы нехотя, но неизбежно отходили в коридор. Начальственный голос тети-доктора действовал на них гипнотически. Еще бы: она же была в белом халате, а значит, при исполнении!..

Только внучка статуи робко промолвила:

— Может, не надо? Может, так пройдет?

— Не пройдет! — утвердила лиса, вздела горé шприц и чуть прижала поршень. Жидкость брызнула коротким фонтанчиком, вытеснив лишний воздух. — Обнажите место укола, господа...

Господа, слушая и повинуюсь, одновременно потянулись к джинсам Кима, чтоб, значит, расстегнуть их и содрать с задницы, то есть с места укола. Потянулись они и, естественно, ослабили хватку. А Киму-то всего малость и требовалась. Он рванулся, освобождая руки, и, не оборачиваясь, резко и сильно ударил ими назад.

Даже не глядя. Знал, что попадет, и попал. Удары пришлись точно по шеям медбратьев. Медбратья охнули и присели. А Ким перехватил лапку тети доктора, сжал ее побольнее (а чего жалеть-то, чего политесы разводить?..) и аккуратно вынул из пальчиков шприц.

— Торопитесь, тетенька, — мило улыбаясь, сказал он. — Я еще не со всеми вашими доказательствами ознакомлен. Я еще в сомнениях. У меня еще полпоезда впереди...

Разжал пальцы: шприц упал и разбился.

Мадам молчала, приняла мелкое поражение как должное. У Кима на секунду возникло подозрение: а не проверка ли это с его стороны «на слабо»? Сейчас бы не справился с медбратьями, получил бы в задницу порцию... чего?.. снотворного, наверно, заснул бы, как суслик, а проснулся где-нибудь на полустаночке, в сельской больничке, куда сдали бы заболевшего неформала гуманные медики из серьезного поезда. За ненадобностью сдали бы. Со слабым — зачем дело иметь?.. А может, просто надоел Ким Большим Начальникам, мешать начал?..

Некогда было раздумывать. Выскочил из купе-отсека, схватил за руку Петра Ивановича:

— Рванули отсюда!

И рванули. Добровольцы поспешно расступались, давая дорогу: еще бы — сам Командир спешит. И уже на бегу посетила Кима мыслишка: если все это — обычный спектакль, запланированный Большими Начальниками, то Ким — равноправное действующее лицо. Одновременно — персонаж и актер. И появление мадам с тамбурмажорами могло означать, например, такое: кому-то нужно ускорить действие. Кому? За других Ким не ручался, но о себе знал точно: ему нужно. Слишком заговорился он с добровольцами, слишком распустил язык, на монологи нажал. А кому они нужны — монологи? Кого они когда убеждали? Привыкли мы к монологам, произносимым откуда ни попадя: «Дорогие то-

варищи!..» — и понеслось без остановки. А все в ответ: мели, Емеля...

Нет, вовремя мадам появилась, спасибо ей: убеждать тоже надо делом.

Они быстренько проскочили два таких же вагона с такими же добровольцами. Добровольцы узнавали Командира и кричали:

— Что случилось?.. Что за пожар?.. Петр Иванович, ты куда?.. Может, помощь нужна?..

А Петр Иванович не отвечал на выкрики подопечных, послушно трусил за целенаправленно рулящим Кимом. Петр Иванович вообще пока особо не выступал, поскольку роль свою не определил. То есть до сих пор она была ему ясна предельно: Командир, отец солдатам, даешь Светлое Будущее, административно-командным методам — нет, демократии — да! А теперь, когда в сюжет влился осужденный плюс он же ненормальный, плюс социальноопасный, плюс дьявольски любопытный Ким, стандартная роль Командира (и это он селезенкой чувствовал) должна была резко измениться. Молодой, но уже хорошо поигравший в жизни Петр Иванович к роли Командира готовил себя с ранней юности, оттачивал амплуа, и хотя последние годы ввели в старую роль немалые коррективы, Петр Иванович все равно был готов к ней, ибо молодость легко восприимчива к коррективам. А что касается селезенки — так плох тот актер, у которого этот орган не екает в нужный момент, и, екая, подсказывает: где гордо выждать, где скромно промолчать, где «ура!» крикнуть. Сейчас настала пора паузы. На авансцене импровизировал пришелец. Петр Иванович не чужд был импровизации, да и пришелец ему нравился. Петр Иванович терпеливо ждал своего выхода и знал: надо будет — не промахнется.

Мыслишка, которая посетила Кима на бегу, лишь притаилась, но не исчезла, теперь он продолжал ее на бегу же раскручивать.

Итак, как он предположил ранее, все это — обычный спектакль, задуманный Большими Начальниками. Допустим. Давно известно из курса истории: во все времена Большие Начальники любили масштабные постановки. Для таких постановок собираются лучшие силы, денег туда вбухивается — тьма-тьмушая, строятся гигантские декорации, верная пресса гудит от предвкушаемого народного счастья, реклама работает круглые сутки, статистов никто не жалеет, народ безмолвствует. Правда, всегда почему-то имеет место жанровая ограниченность: Большие Начальники предпочитают только героический эпос. Другое дело, что действие может неожиданно вырваться из-под контроля режиссеров и постепенно или разом перейти совсем в другой жанр. Например, в трагедию. Или в драму. Бывает, что в комедию или даже в фарс, истории такие случаи известны. Но в том-то и сила Больших Начальников и верных им режиссеров (а бывало, что Большие Начальники сами воплощали на сцене свои гигантские замыслы!), что они никогда не признавали провалов, и так, представьте себе, талантливо не признавали, что входили в историю массовых зрелищ как славные победители.

Потом, конечно, к рулю прорывались другие Начальники, которые находили в себе смелость верно оценить уровень той или иной постановки предшественников, находили, оценивали и снова готовили очередной эпос, чтобы непременно оставить нестираемый след в щедрой памяти поколений.

К слову, о поколениях. Ким (и он не оригинален) очень любил повторять к месту ту самую пушкинскую ремарку о безмолвствующем народе. Думая на бегу о спектакле, в котором он волею дуры-судьбы принимал участие, Ким складно сообразил, что весь прошлый эпос

был возможен только потому, что народ постоянно безмолвствовал. Точнее: его никто ни о чем не спрашивал. И если эпос все-таки получался героическим, то лишь благодаря народу, который, и безмолвствуя, ковал чего-то железное... Но сейчас-то народ не молчит. Сейчас он ого-го как разговорился, иной раз в ущерб делу. Сейчас без его мнения ничего не начинается, ничего не делается. К примеру, ни одного режиссера не выбрать, ни одному актеру ставку не подтвердить, а уж о репертуаре и говорить нечего. Репертуар сейчас сам народ выбирает... Тогда, позвольте, откуда бы взяться новому героическому эпосу про Светлое Будущее (хотя идея-то не нова, не нова...), если никто никого о ней не спрашивал? А народ, который едет в трех плацкартных вагонах, по-прежнему и стойко безмолвствует...

Ой, Ким, не крути сам с собой! Как будто ты не ведаешь, что старые, много раз игранные-переигранные спектакли еще вовсю играют, еще делают хорошие сборы, еще сладко живут... Ты с ходу, без репетиций, вошел в очень сложный спектакль, и сейчас от тебя зависит, куда его понесет...

Поняли, как цепко держит Кима его будущая — наилюбимейшая! — профессия? Все он точно оценил, в пространстве сцены расставил, софитами где надо подсветил — играем Жизнь, господа!.. Тяжко ему будет жить в этой Жизни, раз он ничего всерьез, взаправду не принимает, все на условный язык театра перекладывает. Но с другой стороны: воспринять происходящее как сухую реальность, как банальное железнодорожное приключение — значит признать себя потенциальным клиентом дурдома.

Лихо проскочив три вагона, набитых поющими добровольцами, Ким и Петр Иванович тормознули в очередном тамбуре.

— Прошу об одном, — сказал Ким, — ничему не удивляйся. Не ори, не беги, не падай в обморок. Держи меня за штаны и будь рядом. Ты мне нужен.

— А что будет? — малость испуганно спросил Петр Иванович.

Его, конечно, любопытство точило, не без того, но и мелкий страх не отпускал. Он-то, солидный Командир, в отличие от напарника происходящее театром не числил, он, может, в театре только в детстве и был: скажем, на спектакле про Буратино... А тут оптом — осужденный псих с поражением в правах, тетка со шприцем, могучие санитары, бегство по вагонам и таинственная просьба ничему не удивляться. Каков набор, а?..

— Может, ничего и не будет, — толково объяснил Ким. — Может, просто вагон. И Верка-проводница с гитарой. А может, и... — не договорил, так как назрел вопрос: — Кстати, у тебя какой номер вагона?

— Двенадцатый.

— Одиннадцатый и десятый — тоже ваши. Значит, следующий — девятый, как раз с Веркой... Нет, похоже, ничего там не будет. Пошли, — открыл дверь, потом вторую, потом третью — из тамбура в девятый вагон. Петр Иванович послушно шел за ним.

Самое частое действие, выпавшее на сложную долю героя этой повести, — занудное открывание дверей. Ким открыл дверь. Ким закрыл дверь. Ким взялся за ручку двери. Ким повернул ручку двери... Скучно писать, а как быть? Железнодорожный состав — не какое-нибудь бескрайнее поле, здесь особая специфика, изначальная заданность сценографии, если использовать любимую терминологию Кима.

Ким осторожно заглянул в купе проводников.

На диванчике сидел средних лет мужчина в сером железнодорожном кителе, при галстукe и даже в фуражке. Мужчина внимательно читал толстую книгу, обернутую газетой.

Что-то не приглянулось в нем излишне бдительно-му Киму, что-то насторожило. Может, неснятая фуражка?..

Но тем не менее Ким задал вопрос, потому что молчать не имело смысла — мужчина оторвался от книги и строго глянул на пришельцев: мол, в чем дело, граждaне?

— Простите, где Вера? — вот какой вопрос задал Ким.

— Вера? — задумчиво повторил мужчина в фуражке. — Вера, знаете ли, вышла...

— Куда?

— Туда, — мужчина пальцем указал и словами объяснил: — По вагону она пошла, кажется...

— Извините, — сказал Ким. — Мы тоже пойдем.

— Идите-идите, — согласился мужчина и опять в книгу уставился.

Ким шагнул из купе и... замер. Прямо у титана-кিপятильника имела место очередная дверь — на сей раз в коридор! — которой ни по каким вагоностроительным правилам существовать не могло. Лишних дверей у нас не строят!

— Мне это не нравится, — сказал Ким.

— Что? — почему-то шепотом спросил Петр Иванович.

— Откуда здесь дверь?

— Может, спецвагон? — предположил Петр Иванович. — Нас же не остановили. Значит, можно... Ты какую-то Веру ищешь, так?

— Веру, Веру...

Ким осторожно взялся за ручку двери. Ким повер-

нул ручку двери. Ким открыл дверь. (Смотри вышеперечисленный набор действий Кима.) И тут же его подхватили под белые руки, прямо-таки внесли куда-то и нежно опустили на пол. И с Петром Ивановичем тот же фортель легко проделали.

«Куда-то» оказалось отлично знакомым Киму, постановщики повторялись. В синем медицинском свете, мертво гасящем истинные размеры декорации, стоял стол, крытый длинной скатертью, а за столом покоились те же Большие Начальники, что час назад (неделю назад? Год назад?.. Пространство и время вели себя здесь прихотливо, озорничали напропалую...) осудили Кима на двадцать лет с поражением в правах. Начальники, не улыбаясь, никак не выдавая знакомства, смотрели на Кима и на ошалевшего Петра Ивановича (не послушался он Кима, не просто удивился — ошалел вон...), и взгляды их ничего хорошего не сулили. Ни первому — отпетому, как известно, преступнику, ни второму — примерному, как известно, комсомольцу и Командиру.

— Где мы? — затравленно прошептал Петр Иванович, прихватив Кима, как тот и велел, за штаны и целенаправленно припухая от страха. (Поставьте себя на его, командирское, место. Спецпоезд, ветер в груди, возвышенная цель в финале, все светло и прекрасно, а тут — зловещая темнота, явно — стол президиума, а в президиуме — уж он-то их с первого взгляда узнал! — Ба-альшие Начальники!..)

— Не бойся, — намеренно громко сказал Ким. — Сейчас нам будут промывать мозги. У тебя есть чего промывать, а, Иваныч?

— Погоди, погоди, — бормотал вконец растерянный Командир. Он, похоже, не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. — Какие мозги? Что ты несешь? У меня нет никаких мозгов...

Последняя реплика весьма понравилась среднему лицу.

Мы их станем называть так, как и ранее: среднее лицо, правое и левое. Ибо, как и ранее, они были одним Лицом — Единым в Трех Лицах. Уже упоминавшийся здесь библейский «эффект Троицы».

— Искреннее и важное признание, — задушевно сказало среднее лицо. — Другого я и не ждал. А вы? — обратился он к партнерам.

— Никогда! — сказало левое лицо.

— Всегда! — сказало правое лицо.

— Согласен, — отечески кивнуло среднее лицо. — Так, может, он еще не потерян для нас, а?..

Правое лицо с сомнением молчало. Левое тоже не спешило высказаться.

— К чему он у нас присужден? — поинтересовалось среднее лицо.

Правое лицо подняло руку, требовательно пошевелило пальцами, и в них немедленно оказалась толстая папка с надписью «ДБЛО» (через «ять»). Такая же, мы помним, и на Кима была составлена. Правое лицо нежно уложило перед средним. Среднее подуло на нее, странички мягко зашелестели, сами собой переворачивались, послушно останавливаясь, где надо.

— Особая мера пресечения, — сказало среднее лицо. — Пожизненное заключение с постепенным изменением режимов.

— Это как? — спросил Петр Иванович. То ли Кима спросил, то ли членов президиума. Поскольку члены молчали, ответил Ким:

— Это просто, Иваныч. Пожизненное — значит, до гроба. Всю жизнь будешь Светлое Будущее ваять. Ну и расти постепенно. Как они говорят, режим менять.

— Что значит «режим»?

— Ранг. Звание. Должность. Сейчас ты просто Командир, а станешь Самым Большим Командиром.

— Пра-авда? — протянул Командир. — А как же теперь?..

— Теперь надо думать, — веско сказала среднее лицо. — Вы совершили преступление. Вы связались с осужденным по другой статье и вступили с ним в сговор.

— В какой сговор? Ни в какой сговор я не вступал.

— А кто ему помог бежать?

— Так ведь напали...

— Не напали, а пришли зафиксировать. По приказу.

— Я же не знал. Надо было предъявить приказ.

— Вы — Командир. Вы обязаны предугадывать любой приказ свыше.

— Ну, знаете ли, я не провидец...

Ким с любопытством слушал диалог, сам в него не вмешивался. Неожиданная радость: Петр Иванович медленно, но верно приходил в себя. Он уже не трясся основным листком, не млея под взглядами Больших Начальников, он уже потихоньку начинал отстаивать собственное право на поступок.

— Осужденный быть Командиром должен обладать даром провидца. Это позволит ему не ошибаться в своих командах.

— Ну, нет, — не согласился Петр Иванович, — плох тот Командир, который никогда не ошибается. Это значит, что он ошибается, но делает вид, что не ошибается. И других заставляет.

Не очень складно по форме, зато верно по сути, отметил про себя Ким.

— Вы признаете право Командира на ошибку? — в голосе среднего лица слышалась патетически поставленная угроза.

Но Петр Иванович ее не уловил.

— Ясное дело, признаю, — сказал он. — А ребята на что? Чуть что не так — поправят.

— Печально, — печально констатировало среднее

лицо. — Положение, видимо, безнадежно. Не так ли, господа?

— Так ли, — сказала правое лицо.

— Увы, — сказала левое лицо.

— И каков же вывод? — спросило среднее и само ответило: — Придется менять меру пресечения... Какие будут предложения?

— Пустите его на свободу, — засмеялся Ким. Ему нравилась мизансцена. Ему нравился диалог — легкий, лаконичный, точный, нравились дурацкие персонажи. Он даже к нелепой декорации привык. — Пустите, пустите. Он на свободе одичает и погибнет.

Но Един в Трех Лицах его не слушал. (Или, вернее, не слушали?..) Лицо советовалось внутри себя.

— Расстрелять? — спросило правое.

— Круто, — поморщилось левое. — Все-таки бывший наш.

— Не был я ваш, извините, — быстро вставил Петр Иванович, напряженно вникающий в ход обсуждения, не без волнения ожидающий решения, но собственного достоинства при этом терять не желающий. — Свой я был, свой.

— Тем более, — сказала правое лицо.

— А что? — спросило среднее лицо. — Расстрелять?.. В этом что-то есть... Круто, конечно, вы правы, но каков выход? Кассировать по состоянию здоровья? Рано, молод. На дипломатическую отбывку срока? Не заслужил. Перемена статьи?..

— Точно! — утвердило левое лицо. — Перемена. Пожизненное, но — без изменения режима!

Лица понимающе переглянулись.

— Хорошо, — легко улыбнулось среднее лицо. И в тех же скупых пропорциях расцвели улыбки на лицах левом и правом. — Утверждаем. Приговор окончательный и никакому вздорному обжалованию не подлежит.

— Ну, дали! — возликовал Ким, вмазал Петру Ива-

новичу по широкой спине. — Ну, забой! Ну, улет!.. Ты хоть понял, Иваныч? Они тебе пожизненное впаяли. И — по нулям. Как был простым Командиром, так простым и помрешь. Плакали твои лампы.

Петр Иванович на приговор реагировал достойно. Петр Иванович не зарыдал, в ноги членам президиума не кинулся. Петр Иванович достал из кармана клетчатый носовой платок, трубно высморкался, аккуратно сложил его и только после этого процесса очищения заявил:

— Во-первых, плевал я на лампы. А во-вторых, еще поглядим, кто в них щеголять станет... Пошли отсюда, Ким, — и потянул Кима за карман джинсов.

Не тут-то было.

— Стоять! — громогласно воскликнуло среднее лицо. — Еще не все!

— Погоди, — сказал Петру Ивановичу Ким. — Слышал: еще не вечер.

— Напрасно паясничаете, подсудимый. Речь на сей раз пойдет о вас. («Стихи!» — быстро вставил Ким, но лицо не заметило.) Есть предложение изменить меру пресечения. Что там у нас было?.. — И точно так же, как раньше, влетела в ладонь правому лицу Кимова заветная папочка с названием через «ять», улеглась перед средним, зашелестела страничками. — Двадцать лет с поражением? Отменяем!.. Какие будут варианты?

— Расстрелять! — на сей раз мощно утвердило правое лицо.

— Расстрелять! — тоже не усомнилось левое.

— Утверждаю! — утвердило среднее лицо, достало из синего воздуха круглую печать и шлепнуло ею по соответствующей бумажке в папке с делом Кима.

Шлепок прогремел как выстрел.

— Обвиняемый, вам приговор понятен? — спросило по протоколу правое лицо.

— Чего ж не понять? — паясничал Ким. Ах, нравилась ему постановка, ну ничего бы в ней менять не хотел! И не стал, кстати. — Когда стрелять начнете?

— Немедленно, — среднее лицо взглянуло на наручные часы: — Время-то как бежит!.. К исполнению, и — обедать... Вам, кстати, туда, граждане, — и указал Киму с Петром Ивановичем на выход.

И тут же, пугая сурового Петра Ивановича, стол, как и прежде, уплыл в темноту, а на смену ему из темноты явился, стройно топая каблуками, взвод... слово бы поточнее выбрать... дружинников, так? В кожаных, подобно Кимовой, куртках, только подлиннее, до колен, крест-накрест обвешанные, подобно нынешним металлистам, лентами тяжелых патронов, в кожаных же фуранках с примятым верхом и медными бляхами на околышах — вышли из синюшных кулис двадцать (Ким точно посчитал) исторических металлистов — с историческими винтовками Мосина наперевес. Десять из них тесно окружили Петра Ивановича и повели его, несопротивляющегося, куда-то назад. Он только и успел что крикнуть:

— Ким, что будет-то?..

А Ким ему в ответ — залихватски:

— Расстреляют и — занавес.

Но и его самого повели, подталкивая примкнутыми штыками, вперед, в ту самую темноту, откуда только что появились дружинники-металлисты, и он пошел, не сопротивляясь, потому что нутром чувствовал приближение финала, и любопытно ему было: а что же это за финал такой придумают неведомые режиссеры?..

Хотя, будем честными, точила его смешная мыслишка: а вдруг патроны в винтовках окажутся настоящими?..

И опять радист пустил в сцену звук: четкий стук колес о стыки, лихой свист ветра в открытом где-то окне. И уж совсем не по-театральному ветер этот ворвался на сцену, метко ударил Кима по лицу, рванул волосы...

Декорация изображала вагон-ресторан.

Но, не исключено, это был настоящий вагон-ресторан, поскольку (Ким-фантазер сие признавал) поезд тоже был настоящим, а ресторан Ким углядел из окна вагона, когда только начинал свое путешествие. (Красиво было бы написать: «свою Голгофу», потому что, похоже, минуты Кима сочтены...)

Пустых столиков Ким не заметил. Везде сидели и пили, сидели и ели, а еще обнимали дорожных подруг, а еще целовались взад-вперед, а еще смолили табак, а еще выясняли отношения: ты меня уважаешь? я тебя уважаю? будем братьями! а если по роже? да ты у меня!.. да я у тебя!.. тише, мужики, не в пивной... Взвод (точнее, полвзвода...) грохотал по проходу: пятеро впереди, Ким с заложенными за спину руками (он читал, что подконвойные ходят именно так...), пятеро сзади — ать-два, молча, грозно, неминуемо! Но никто кругом ничего и никого не замечал.

Мимо Кима туго протиснулась потная официантка, прижимающая к грязно-белой груди (имеется в виду фартук) поднос с тарелками, на которых некрасиво корчились плохо прожаренные лангеты. «Ходят тут...» — пробормотала официантка. «Люба, заberi борщи!» — кричал из-за стойки мордатый раздатчик, а сама Люба, тоже официанточка, обсчитывала каких-то сомнительных клиентов — в кургуzych пиджачках, в тельняшках, выглядывающих из-под грязных рубах, с желтыми фиксами в слюнявых ртах. Клиенты были пьяны в дупели-

ну, хотя на столе громоздилась батарея бутылок с лимонадными этикетками. Видать, лимонад был крепким, выдержанным, забористым...

«Куда путь держим, парни?» — на ходу, продираясь между официанткой и чьим-то могучим задом, спросил Ким. «В Светлое Будущее, куда ж еще, — ответил один из клиентов, сплюнул в тарелку. — Тут, кореш, все туда лыжи наострили. А тебя никак мочить будут?» — «Точно!» — хохотнул Ким и оборвал смех, потому что идущий сзади дружинник больно кольнул его штыком в спину: «Не разговаривать!» — «Куртку порвешь, гад», — не оборачиваясь, бросил Ким. «Не разговаривать!»

А за соседним столиком гуляли мощно намазанные девчонки: помада от Кристиана Диора, тени от Эсте Лаудер, румяна от Сан-Суси, платица от Теда Лapidюса, прически от «голубого» паренька Володи из модного салончика на Олимпийском проспекте. Девоньки вкусно кушали шашлык, вкусно запивали лимонадом, вкусно перекуривали все это черными сигаретками «Мор», вкусно матерились...

«Куда тебя?» — нежно спросила Кима крайняя девочка, длинненькая, тоненькая, с глазами-рыбками. «На расстрел», — ответил Ким, стараясь пощекотать девочку за ушком, на котором качались медные целебные кольца-колеса. «Меня тоже водили. Это не больно», — равнодушно ответила девчулька, отстраняясь, теряя к Киму всякий интерес. А конвойный опять ткнул штыком: «Не разговаривать!» — «Да не коли же ты, блин!» — заорал Ким, а из-за следующего столика его ликующе окликнули: «Ким, гребни к нам, тут есть чем побалдеть...» Ким взгляделся. За столиком и вправду балдели братья-металлисты, то ли настоящие, то ли ошивающиеся около, нормальные ребятки в коже, в бамбошках, в цепях, при серьгах. А орал Киму, кстати, знакомый парнишка, то ли в МГУ лекции по научному атеизму вместе слушали, то ли в НТО ракету на Марс изобретали, то

ли в ДК хеви метал на паях лудили. «Не могу, — ответил Ким. — Занят сейчас». — «Пиф-паф, что ли? — возликовал знакомец. — Помнишь у Спрингстина: а-вау-вву-би-бап-а-ввау-ззу-джапм-па...» «Как же не помнить, — согласился Ким, — помню отлично. Там еще так было: и-чу-пчу, и-чу-пчу...» И весь стол немедленно подхватил знакомое из Спрингстина.

А конвоиры совсем зажали Кима, потому что иначе не пройти было: кто-то пер навстречу, не обращая внимания на ошестинившиеся штыками винтовки Мосина, и официантка Люба, торопящаяся к мордатову раздатчику, не исключено — сожителю и содержанту, толкалась и ругалась: «Совсем стыд потеряли... пришли расстреливать, так расстреливайте скорей, у нас план, у нас смена заканчивается...»

Но железным дружинникам начхать было на официанткины причитанья, они туго знали свое дело, они пришли сюда из тех свистящих годков, когда пуля знала точно, кого она не любит, как пел в наши уже дни склонный к временной ностальгии шансонье, кого она не любит, утверждал он, в земле сырой лежит. И лежать Киму, нет сомнений, в сырой земле, вернее — на сырой земле, куда выбросят его молодой труп из тамбура, а поезд помчится дальше — в Светлое Будущее, но уже без Кима помчится, и никто не вспомнит о нем, не уронит скупой слезы. Киму вдруг стало себя жалко.

«Может, рвануть отсюда?» — мельком подумал он. Но тут же отогнал трусливую мысль, потому что за следующим столиком сидели его знакомцы — лысый, «Вся власть Советам!» и ветеран Фесталыч, дули лимонад прямо из горла, закусывали шпротами в масле, частичком в томатном соусе и мойвой в собственном соку. Все они сделали вид, что не узнали Кима, лишь ветеран оторвался на миг от лимонада, спросил сурово у конвоиров: «Патроны не отсырели?.. Прицел не сбит?..» — И, отвернувшись, начал рассказывать собу-

тыльникам, как он, молодой еще, палил в гадов-врагов-родного-отечества и патроны у него всегда были сухими...

А мадам в ресторане Ким не увидел. Не пришла мадам проводить опекаемого в последний путь, замечталась, наверное, закрутилась, государственные дела замутили. Да и зачем ей время терять? Она свое государственное дело сделала: привела любопытного Кима прямо к финальной сцене, к драматургической развязке... А конвой довел его до конца вагона, до стойки, за которой суетился, обвешивал и обмеривал публику мордатый сожигатель официантки Любы. «Взвод, стой!» — негромко сказал один из конвойных. И все остановились. И Ким остановился, потому что дальше идти было некуда: впереди — стойка, сзади и с боков — винтовки Мосина.

«Двое прикрывают фланги, — так же негромко продолжал конвойный, старшой, видать, у них, ладный такой, крепкий, на вид чуть постарше Кима. — Я держу выход, а семеро рассредоточиваются в цепь в середине вагона. Стрелять по команде «Пли!» — И сам подался вбок, к двери, прикрывать вход и выход, а двое с винтовками развернули Кима лицом к жующей, гудящей, волнующейся массе, прислонили спиной к стойке, штыками с двух сторон подперли: чтоб, значит, не утек, стоял смирно, не возникал. А семеро — счастливое число! — пошли назад, раздвигая штыками дорогу в толпе, и вот уже добрались до середины вагона, где дурацкая полуарка делила его на две части, на две официантские сферы влияния, выстроились в цепь, прямо на лавки с ногами влезли, потеснив отдыхающих граждан, такими карающими ангелами вознеслись над толпой.

А граждане, к слову, даже не чухнулись, ни черта граждане не заметили, как будто не человека собрались при них расстреливать, а цыпленка-табака. И сквозь гул, гам и гомон легко прошел голос старшого: «Го-

товсы!..» Семеро в центре вагона вскинули винтовки, уперлись прикладами в кожаные плечи. «Цельсь!..» Прижались бритыми щеками к потемневшим от времени, полированным ложам. На Кима глядели семь стволов, семь черных круглых винтовочных зрачков, глядели не шевелясь — крепкие руки были у семерых.

И тут только Ким начал беспокоиться. Что-то уже не нравилась ему мизансцена, и реплики старшего восторга, как прежде, не вызывали. Что-то заныло, заглохало у него в животе, будто в предчувствии опасности — не театральной, а вполне настоящей. Что ж, давно пора. Давно пора вспомнить, что жизнь все-таки — не театр, что жить играючи не всегда удается. Вот сейчас пукнут в него из семи стволов и — фигейц всем его театральным иллюзиям...

«Постойте!» — закричал Ким. «Цельсь!» — повторил старшой. «Нет, погодите, не надо!..» — Ким дернулся, но колкие штыки с флангов удержали его на месте, один даже прорвал плотную кожу «металлической» куртки. А ресторация на колесах катилась в Светлое Будущее, публика гуляла по буфету, радовалась жизни, как всегда не замечая, что рядом кого-то приканчивают. «Не-е-е-ет!» — заорал Ким, пытаясь прорвать сытую плоть безразличия к своей замечательной особе. «Пли!» — сказал старшой. По-прежнему негромко и веско сказал короткое «Пли!» ладный вершитель ненужных судеб...

Вот и все. Был Ким, который не верил в то, что жизнь фантазмагоричнее театра, и нет Кима, потому что он в это, дурак, не верил. Без Кима теперь поедет-помчится в Светлое Будущее слишком специальный поезд. Впрочем, Ким и не хотел туда ехать, а хотел сойти на первой же остановке. Вот и повезло ему, вот и сойдет. Даже без остановки. Шутка.

И вдруг...

Можно зажечь и погасить свет на сцене и в зале, можно воспользоваться традиционным занавесом — на все воля режиссера. Главное — извечно емкое: «и вдруг...»

— Это где это ты шляешься? — перекрывая упомянутые гул, гам и гомон, начисто забывая их прямо-таки мордасовско-зыкиным голосовым раздольем, прогремела такая любимая, такая родненькая, такая единственно-вовремя-приходящая Настасья Петровна, врываясь в вагон-ресторан, мощно шустря по проходу и расталкивая клиентов и официанток. Проносась мимо дружинников, рывком стащила одного, крайнего, с полки, и он грохнулся в проход, не ожидая такой каверзы, грохнулся и громко загредел об пол патронташем, винтовкой, сапогами и молодой крепкой головой.

Не успел сказать «Пли!» старшой, почудилось это «Пли!» Киму, утробный (то есть возникший в животе) страх сильно поторопил события, подогнал их к логическому финалу, а финал, оказалось, еще не приспел.

— Настасья Петровна! — закричал Ким, протягивая к ней руки, как ребенок к маме.

— Полвека уж Настасья Петровна, — громогласно ворчала она, добираясь-таки до Кима, заботливо его отряхивая, приглаживая волосы, одергивая куртку. — Где тебя носит, стервец? Я заждалась, Танька извертелась, Верка гитару принесла, а тебя нет как нет. Ведь хороший, говорю, вроде парень, и вот сумку же оставил, не взял, значит, вернется, не сбежит... Где это ты куртку разодрал?

Ким чуть не плакал. Металлический Ким, весь из себя деловой-расчетливый, весь творческий-непредска-

зуемый — непредсказуемо разнюнился и совсем не творчески ткнулся носом в жаркое пространство между двойным подбородком Настасьи и ее крахмальным форменным воротничком.

— Это он куртку порвал, — счастливо наябедничал Ким на конвойного.

— Он? — удивилась Настасья Петровна. — Ты, что ли, ее покупал? — напустилась она на парня, а тот, оглядываясь на старшего, отступал, прикрываясь от Настасьи винтовкой Мосина. Но что той винтовка! Она перла на дружинника, как танк на пехотинца. — Ты откуда такой взялся? Ты почему по ресторанам шаманаешься? Из охраны? Вот и охраняй что положено, а куда не надо не ходи, не ходи... — и стучала его кулаком по кожаной груди, вроде бы отталкивая от себя, вроде бы отгоняя, а Кима между тем не отпускала: ухватила за руки и тянула за собой. Дотолкала конвойного до старшего и, поскольку оба они загораживали выход из ресторана, отпустила на минутку Кима, схватила дружинников за кожаные шивороты и отбросила назад. Ким только успел посторониться, чтобы ему штыком в глаза не попали. — Совсем обнаглели, сволочи! С винтовками по вагонам ходят. Я ж говорила тебе: не верь людям, подлые они, вот и ты чуть не обманул, хорошо — я на все плюнула, Таньку на хозяйстве бросила и — за тобой. Еле нашла... — открыла дверь, вытащила Кима в тамбур, закрыла дверь.

(На этот раз стандартные вагонные манипуляции Кима проделала Настасья Петровна. Ну, ей-то они и вовсе привычны, вся жизнь — от двери до двери...)

— Я не обманывал, — поднывал сзади донельзя счастливый Ким. — Я хотел вернуться, только в вашем поезде не знаешь, куда войдешь и где выйдешь...

— Это точно, — подтвердила Настасья, открывая очередную дверь очередного вагона. — Вот мы и до-

ма... — и втокнула Кима в знакомое купе, где на него с укором взглянула уже причесанная, уже подчепуренная, уже давно готовая к хорошему пению Танька.

Она сидела на диванчике, гоняла чаек и, похоже, ничуть не беспокоилась о том, что их вагон беспричинно и невозможно перелетел с хвоста, с шестнадцатого номера, к тепловозу. А рядом, прислоненная к стенке, красовалась желтая шестиструнка, украшенная бантом, как кошка.

Беспричинно — вряд ли. В этом поезде на все есть своя причина, Ким сие давно понял. А что до невозможности, так тоже пора бы привыкнуть к игривым шуткам железнодорожного пространства-времени...

— Нашла? — об очевидном спросила Настасью сварливая Танька.

— Еле-еле, — отвечала Настасья, тяжело плюхаясь рядом с чаевничающей девицей. — Представляешь, они там в ресторане какие-то игры затеяли, да еще с ружьями, хулиганье, ряженые какие-то, орут, все перепились, ножами машут, а наш стоит посреди — бле-едный, ну, прямо сейчас упадет. Вовремя подоспела...

— Да уж, — только и сказал Ким. И все-таки не стерпел, спросил: — Чего это ваш вагон с места на место скачет? Был шестнадцатым, стал... каким?

— Как был шестнадцатым, так и остался, — ответила Настасья Петровна, с беспокойством взглянув на Кима: не перепил ли он часом с ряженым хулиганьем.

А Танька, похоже, играла в обиду, с Кимом принципиально не разговаривала, сосала карамельку.

— Все. Вопрос снят, — успокоился Ким.

Он и вправду успокоился. Ну, подумаешь, расстрелять его хотели! Так это когда было! А сейчас он вернулся в родное (в этом поезде — несомненно!) купе, к родным женщинам, чайку ему нальют, бутерброд с кол-

басой сварганят, спать уложат... Хотя нет, постойте, эта тихая программа рассчитана на продолжение поездки к Светлому Будущему, а продолжение в планы Кима не входит. К черту колбасу! В планы Кима входит са-авсем иное...

Ким не успел сформулировать для себя, что именно входит в его планы. С грохотом распахнулась дверь, и в вагон ворвались... Кто бы вы думали?.. Конечно!.. Добровольцы-строители во главе с Петром Ивановичем. Человек сто их было... Ну, не сто, ну не меньше пятнадцати, это уж точно... С гиканьем и свистом шуранули они по вагону, Петр Иванович впереди неся и боковым зрением заметил длинную фигуру Кима в купе проводников. Но пока сигнал шел от глаза в мозг, а потом от мозга к ногам, Петр Иванович успел проскочить полвагона, там и затормозил (дошел-таки сигнал куда надо) и закричал оттуда:

— Ким, ты, что ли?..

— Вряд ли, — не замедлил с ответом Ким. — Меня же кокнули.

— Не-ет, тебя не кокнули, — ликуя, сообщил Петр Иванович, продираясь назад сквозь толпу своих же (тоже затормозивших) подопечных. — Ты, я вижу, выкрутился, тип такой, ты, я вижу, их всех натянул кое-куда...

Добрался до купе, бросился к Киму, облапил его неслабыми ручками — будто век не виделись, будто Ким и впрямь с того света в шестнадцатый вагон возвратился.

А ведь и впрямь с того света...

— Ты чего орешь? — не стерпела безобразия Настасья Петровна. — И топаєте тут, как лоси, грязи нанесли — вона сколько. А ну, кыш!

— Не возникай, тетя, — сказал Петр Иванович, не

выпуская Кима из суровых мужских объятий. — Я друга нашел, а ты меня позоришь по-черному. Нехорошо.

— А орать хорошо? — успокаиваясь, для порядка, добавила Настасья. — Нашел, так и обнимись тихонько, а не топай тут... А эти, с тобой, тоже друга нашли?

— А то! — загорланили комсомольцы. — Еще как! Сурово! Спрашиваешь, мамаша!..

Ким терпел объятия, сам себе удивлялся. Он этого Командира всего-ничего знает, даже не знает ни фига, а ведь рад ему. Впрочем, он сейчас, похоже, всему рад. Вон, Танька мрачнее мрачного, а он опять рад. Подмигнул ей из-за широкого плеча Петра Ивановича.

— Петр Иванович, познакомься с девушкой. Хорошая девушка. Таней зовут. Рекомендую.

— Кто-то, между прочим, спеть обещал, — индифферентно сказала Танька. — Кому-то, между прочим, дефицитную гитару притаранили...

— Спою, — согласился Ким, выдираясь из объятий нового друга. — Сейчас выясним кое-что и — спою, — деловой он был, Ким, ужас просто. — Настасья Петровна, остановки никакой не намечается?

— Не слыхала, — пожалала та плечами. — Указаний не поступало. Не должно быть вроде...

— Вы эту трассу знаете?

— Пока знакомая дорожка, ездил по ней. А куда свернем — не ведаю.

— Дальше, — меня не интересует, — отмахнулся Ким. — Я про сейчас. Если б мы не экспрессом шли, когда б остановились?

Все вокруг поутихли, сообразили: человек дело задумал. Какое — потом объяснит. Настасья Петровна на часы посмотрела, потом в окно заглянула. Сказала:

— Минут через десять, верно. Станция Большие Грязи называется.

— Емкое название, — улыбнулся Ким. — Подходящее... Вагоны с твоими орлами где? — это он уже Командира спросил.

— Этот наш, — ответил Командир. — И еще два — сзади...

Почему бы и нет, подумал Ким, ведь это — мой спектакль, а мне удобно, чтоб они были сзади. Чтоб они были вместе, чтоб Настасья и Танька тоже были в них. Хотя это — бред... это — бред... это — бред... повторял он про себя, словно решаясь на что-то. На преступление? На подвиг? История рассудит.

И ведь решился. Шагнул в коридор — прямо к фотографии с Красной площадью, мельком глянул на нее — хоть здесь все на месте, ничего с пространством-временем не напутано: вон — Мавзолей, вон — Спас-ская, вон — часы на ней, полдесятого показывают. Посмотрел на свои электронные забавное совпадение: на экранчике серели цифры: 21.30...

К добру, подумал он.

Повернулся, резко дернул стоп-кран.

Вскормленный калорийной системой Станиславского, Ким знал точно: если в первом действии на сцене торчит опломбированный стоп-кран, то в последнем пломба должна быть сорвана.

Вагон рванулся вперед, срываясь с колесных осей, а те не пустили его, жестко погасили инерцию, и сами с омерзительным скрежетом и визгом поволоклись по рельсам, намертво зажатые не то тормозом Матросова, не то тормозом Вестингауза, Ким точно не помнил. Он повалился на Настасью Петровну. Петр Иванович грохнулся в объятия Таньки. А комсомольцы попадали друг на друга прямо в коридоре.

— Ты что сделал, оглоед? — заорала из-под Кима вконец перепуганная Настасья, перепуганная происшедшим и теми служебными неприятностями, которые оно сулило.

— Что хотел, то и сделал, — с ходу обрезал ее Ким, вскакивая, хватая за плечо Командира, который, напротив, подниматься не спешил. — За мной!

— Ты куда? — успел спросил Командир.

Но Кима уже не было. Он мгновенно оказался в тамбуре, пошуровал в двери треугольным ключом, предусмотрительно прихваченным со стола в купе, отпер ее и спрыгнул на насыпь.

— Ты куда? — повторил Командир, появившийся на площадке.

— Никуда. Ко мне давай.

Состав стоял посреди какого-то поля, похоже — пшеничного. Но не исключено, и ржаного: Ким не слишком разбирался в злаковых культурах, у них в институте хорошо знали только картошку. Шестнадцатый вагон в новой мизансцене оказался на четырнадцатом месте. Сзади него мертво встали еще два вагона с добровольцами. Добровольцы сыпались из всех трех и бежали к Командиру с дикими воплями:

— Что случилось?.. Почему стоим?.. Авария?..

— Что случилось? — спросил у Кима Петр Иванович, и в голосе его псевдометаллист Ким уловил некий тяжелый металл: мол, хоть ты и спасся от смерти, хоть тебе сейчас многое простительно, за дурачка меня держать не стоит.

— Иваныч, милый, — взмолился Ким, — я тебе потом все объясню. Попозже. Времени совершенно нет!.. Придержи своих. Ну, отведи их в сторонку. Ну, митинг какой-нибудь организуй. И женщин на себя возьми, будь другом...

Он не видел, что принялся делать Петр Иванович: может, действительно митинг организовал или в надвигающейся темноте вывел бойцов... на что?.. предположим, на корчевание сорняков в придорожном культурном поле. Не интересовало это Кима: не мешают, не лезут с вопросами — и ладно.

Ким присел на корточки между бывшим шестнадцатым вагоном и тем, что по ходу впереди. Прикинул: как их расцепить?.. В каком-то отечественном боевике кино-супермен на полном ходу тянул на себя рычаг... Какой рычаг?.. Вот этот рычаг... Ну-ка, на себя его, на себя... Подается... Еще чуть-чуть... Ага, разошлись литавры... Неужто все?.. Нет, не все. Что это натянулось, что за кишка?.. И не кишка вовсе, а тормозной шланг, понимать надо!.. Ножом его, что ли?.. Не надо ножом, вот как просто он соединен... Повернули... Что шипит?..

Ким вынырнул из-под вагона. Вовремя! Вдоль насыпи целеустремленно шел мужчина в железнодорожной форме — тот самый, пожалуй, что давеча сидел в Веркином купе и, кстати, послал Кима с Командиром на финальную сцену суда.

— Кто дернул стоп-кран? — грозно осведомился мужчина, останавливаясь и выглядывая возможных нарушителей.

Добровольцы молчали, кореша не выдавали, сгруппировались у вагона и — молодцы! — плотно затерли в толкучке Настасью Петровну и Таньку. Те, видел Ким, рвались на авансцену, явно хотели пообщаться с мужчиной, который, не исключено, являлся их непосредственным бригадиром, хотели, конечно, выгородить Кима, взять вину на себя.

Но Киму это не требовалось.

— Я дернул, — сказал он.

Не без гордости сказал.

— Зачем? — бригадир изумился столь скоростной честности.

— Нечаянно, — соврал Ким, преданно глядя в мрачные глаза бригадира. — Нес чай, вагон качнуло, я схватился, оказалось — стоп-кран. Готов понести любое наказание.

Бригадир с сомнением оглядел нарушителя. Туго думал: что с него взять, с дурачка?..

— Придется составлять акт, — безнадежно вздохнув, сказал он.

Очень ему этого не хотелось. Составлять акт — значит, надолго садиться за качающийся стол, значит, трудно писать, то и дело вспоминая обрыдлую грамматику, значит, терять время и, главное, ничего взамен не получить.

Интересно бы знать, подумал Ким, бригадир этот из своры или настоящий? Судя по его мучительным сомнениям — настоящий. Был бы из своры, не усомнился бы, достал бы наган и пальнул нарушителю прямо в лоб.

— Я готов заплатить любой штраф, — пришел ему на помощь Ким.

— Да? — заинтересовался бригадир. Помолчал, прикидывая. Отрезал: — Десять рублей!

— Согласен. — Ким обернулся к добровольцам, поискал глазами Командира: — Ребята, выручайте...

Добрый десяток рук с зажатыми пятерками, трешками, десятками протянулся к нему. Ким взял чью-то красненькую, отдал бригадиру. Тот аккуратно сложил денежку, спрятал в нагрудный карман.

— За квитанцией зайдите ко мне в девятый.

— Всенепременно, — заверил Ким.

— По вагонам, — приказал бригадир и пошел прочь — к своему девятому, который — кто знает! — был сейчас третьим или седьмым.

— По вагонам, по вагонам, — заторопил Ким добровольцев, Петра Ивановича подтолкнул, Таньку по попе шлепнул, Настасью Петровну на ступеньку посадил.

Тепловоз трижды свистнул, предупреждая.

— Возьми у меня десятку, отдай, у кого взял, — сказала Танька.

Она, значит, решила, что пусть лучше он ей будет должен. Вроде как покупала. В другой раз Ким непременно бы похохмил на этот счет, а сейчас только и кивнул рассеянно:

— Спасибо...

Он не пошел со всеми в купе, задержался в тамбуре, смотрел в грязно-серое стекло межвагонной двери. Ночь спустилась на мир, как занавес, и неторопливо, будто нехотя, отплывал-отчаливал за этот занавес вагон, ставший теперь последним... Кто в нем? Лиса Алиса, мадам Вонг? Товарищи Большие Начальники? Охранники? Какая, в сущности, разница!.. Железнодорожное полотно впереди изгибалось, и Ким видел весь состав (минус три вагона), который, набирая скорость, парадно сверкая окнами, уверенно катил в ночь. То есть не в ночь, конечно, а в Светлое Будущее... Без Кима катил. И без комсомольцев - добровольцев-строителей-монтажников, которым это Светлое Будущее назначено возводить... Парадокс? Никакого парадокса! Зачем, сами подумайте, Большим Начальникам возводимое Светлое Будущее? Что там мадам говорила: им символ нужен. А оглоеды Петра Ивановича, поднатужившись, вдруг да переведут символ в конкретику? Что тогда делать прикажете, куда стремиться, куда народ стремить?.. Да никуда не стремить, не гонять народ с места на место, не обкладывать флагами, то есть флажками, не травить егерями? Дайте остановиться, мать вашу... Какая, сказала Настасья, станция ожидается? Большие Грязи, так?..

Ким прыгнул на насыпь, спустился по ней, оскользаясь на сыпучем гравии, сел у кромки поля, сломал колосок, понюхал: чем-то он пах, чем-то вкусным, чем-то знакомым, лень вспоминать было. Добровольцы тоже сигналы с площадок, медленно стягивались поближе к Киму — непривычно тихие, вроде даже испуганные. Танька тоже протолкалась, встала столбиком, прижимая гитару к животу. Петь она собралась, отдыхать решила, а Ким ей подлянку кинул. Что теперь будет?.. И Настасья Петровна за ней маячила — с тем же риторическим вопросом в круглых глазах. И все странно молчали, будто сил у них не осталось, будто все нужные

слова застряли в глотках, будто суперделовой Ким делом своим лихим и оглушил их, оглушил, сбил с ног, с катушек, с толку, с панталыку...

— Что притихли, артисты? — довольно усмехнулся Ким. — Одни остались? Некому за веревочки дергать? Боязно?.. — помолчал, добавил непонятно, но гордо: — А финал-то у спектакля вполне счастливый, верно?

Кому непонятно, а кому и понятно. Большие Грязи, говорите?.. Самое оно для ассенизации. Попрошу занавес, господа...

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Повесть

И он выступал под своим балахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

Ганс Христиан Андерсен

По вечерам Алексей Иванович разговаривал с чертом. Черт приходил к нему в кабинет в двадцать один час тридцать пять минут, выражаясь общедоступно — сразу после программы «Время», и минутку-другую ждал Алексея Ивановича, пока тот медленно, с передышкой, поднимался по исшарканной деревянной лестнице на второй этаж.

И как вы думаете, с чего они начинали?

Ну, конечно, с погоды они начинали, конечно, с температуры по Цельсию, конечно, с атмосферного давления в каких-то там миллиметрах таинственного ртутного столба, будь он трижды проклят!

А что, простите, может всерьез волновать двух старых людей, а точнее, старых сапиенсов, поскольку черт — никакой, конечно, не человек, а всего лишь фантом, игра воображения, прихоть старческой фантазии? Но то, что черт — сапиенс, то есть разумное существо, философ и мыслитель — сие ни у кого не должно вызывать сомнений. Да разве стал бы бережливый Алексей Иванович тратить свое драгоценное время — коего немного ему осталось! — на беседу с каким-нибудь пустельгой и легкодумом? Не стал бы, нет, и закончим на этом.



Итак, Алексей Иванович вошел в свой кабинетик, а черт уже сидел на ореховом письменном столе, грелся под включенной настольной лампой, жмурил хитрые гляделки, тер лапу о лапу, призывно бил тонким хвостом по кожаному футляру от пишущей машинки итальянской фирмы «Оливетти», которую Алексей Иванович привез из Вечного города — не фирму, вестимо, а машинку.

— Что, опять дожди? — спросил черт, прекращая барабанить и сворачивая хвост бубликом. — Опять циклон с Атлантики внес сумятицу в ваши изобары и изотермы?

— Опять двадцать пять! — тяжело вздохнул Алексей Иванович, опускаясь в жесткое рабочее кресло перед столом, в антигеморроидальное кресло с прямой к тому же спинкой. — Не лето на дворе, а просто какое-то издевательство над трудящимися. Температура скачет, давление прыгает, а что делать нам, гипертоникам и склеротикам, а, черт? Может, ложиться в гроб и ждать летального исхода? Может, может. Но где его взять — гроб? Его ж не продадут без справки о смерти. Вот тебе и замкнутый круг, черт, к тому же порочный... А давление у меня нынче — двести на сто двадцать...

— Сто восемьдесят на сто, — спокойно поправил черт, сварганив из большой гофрированной скрепки подобие хоккейной клюшки и гоняя по столешнице забытую кем-то пуговку, воображая, значит, что он — Вячеслав Старшинов, что он — братья Майоровы, что он — Фирсов, Викулов, Полупанов.

— Ну, приврал, приврал, — хитро усмехнулся Алексей Иванович. — А ты сядь, не мельтешишь, не Майоров ты вовсе и не Старшинов. Так, черт заштатный, старый к тому ж. Вон — одышка какая... А все погода проклятая. О чем они там думают — в вашей небесной канцелярии?

— Я к ней отношения не имею, — обиженно проговорил черт. — Я из другого ведомства. А они там в дрыз-

гах погрязли, сквалыжничают непрерывно, славу делят — не до погоды им. Да и нет никакой небесной канцелярии, ты что, не знаешь, что ли? Совсем старый стал, в бога поверил?.. — издевался, ехидничал, корчил рожи, серой вонял.

— Ф-фу, — махнул рукой Алексей Иванович, разгоня мерзкое амбре, — не шали, подлый... А ты, выходит, есть?

— И меня нет, — легко согласился черт.

И был чертовски прав, потому что в тот же момент в дверь без стука вошла Настасья Петровна и, не замечая на столе никакого черта, сказала сердито:

— Опять спишь перед сном? Пожалей, себя, Алексей. У тебя от снотворного — мешки под глазами. Знаешь, что бывает от злоупотребления эуноктином?

— Знаю, ты меня просвещала, — кротко кивнул Алексей Иванович, в который раз поражаясь приткостности маленького черта: только что сидел вот тут, а вошла Настасья — и слинял мгновенно, растворился в стоящем воздухе; и впрямь — фантом. — Только я, Настенька, не спал, я думал.

— О чем же, интересно? — машинально, безо всякого интереса спросила Настасья Петровна, распахивая окно в сад, впуская в комнату мокрый вечер, впуская миазмы, испарения, шепоты, стрекоты, дальние кваканья и близкие мяуканья. И не ждала ответа, не хотела его совершенно, поскольку за сорок лет совместной жизни изучила Алексея Ивановича досконально, говоря языком физики — до атомов, а то и до протонов с нейтронами, и точно знала, что все эти протоны с нейтронами вращали ей сейчас: ни о чем Алексей Иванович не думал, а просто клевал носом после ужина. — Гулять пойдем, — утвердила она непреложное и, дала Алексею Ивановичу теплую вязаную кофту, толстую и кусачую, совсем Алексеем Ивановичем не любимую. — Надевай и пошли.

Не хотел Алексей Иванович никуда идти, а хотел

почитать перед сном привезенный сыном свежий детективчик английского пера, судя по картинке на обложке — ужасно лихой детективчик, милое чтение, отдых уму и сердцу, но за те же сорок лет Алексей Иванович преотлично понял, что спорить с женой бесполезно, даже вредно для нервной системы. Настасья Петровна, женщина, несомненно, мудрая, мудро же полагала, что никакими аргументами ее мнения не расшатать, не поколебать, а раз так, то и слушать их, аргументы, совершенно бессмысленно. Иными словами, Настасья Петровна глохла, когда с ней спорили по житейским бытовым вопросам; собеседник мог биться в истерику, доказывая свою правоту, а Настасья Петровна мило улыбалась и все делала по-своему, как ей и подсказывал немалый жизненный опыт.

К слову. Раз уж речь зашла о жизненном опыте, сразу отметим: Алексей Иванович был старше супруги на некое число лет, в будущем году ожидалась круглая дата — его семидесятипятилетие, ожидалось вселенское ликование, литавры, фанфары и, естественно, раздача слонов, как говаривал бессмертный герой бессмертного произведения.

Кто — сами догадайтесь.

Дачка у Алексея Ивановича была своя, так — терем-теремок, не низок, не высок, о двух этажах со всеми удобствами. Купил он ее в самом конце сороковых, по нынешним понятиям купил за бесценок у вдовы какого-то артиллерийского генерала, а тогда казалось — деньги огромные, чуть ли не с двух книг гонорар за нее бабахнул. Участок — двадцать пять соток, сосенки, елочки, березки, сирень у забора, грядка с луком, грядка с морковкой, грядка с укропом, еще с чем-то — хозяйство домработницы Тани, которая с ними тоже почти лет сорок, как дачку справили, так Таня и возникла, при-

ехала из сибирской глухомани — то ли ему, Алексею Ивановичу, дальняя родственница, то ли Настасье Петровне — никто сейчас и не вспомнит. И что особенно радовало Алексея Ивановича — дачка находилась в большом отдалении от святых писательских мест типа Переделкина или Пахры, от суетливой литературной братии, ревниво следящей за растущим благосостоянием друг друга. А здесь Алексея Ивановича окружали люди военные, всякие генералы и полковники, которым льстило такое соседство, — все-таки живой классик, гордость отечественной прозы.

Ну, погуляли минут сорок, ну, кислородом надышались, прочистили легкие, а он, кислород, холодный, мокрый, способствующий бронхитам и плевритам, хорошо еще Алексей Иванович не забыл под кофту шерстяную водолазку надеть, горло и грудь прикрыть, о чем Настасья, естественно, не подумала. Она всю дорогу пыталась разговорить мужа, трепыхалась из-за внука Володьки, который на шестнадцатом году жизни неожиданно увлекся каратэ, что, конечно же, смертельно опасно, антигуманно и вовсе неэстетично, вот лучше бы плаванием, вот лучше бы теннисом, вот лучше бы верховой ездой — спортом королей. Алексей Иванович не отвечал жене, берег горло от случайных ангин, только кивал согласно, только ждал, когда окончится эта ужасная пытка свежим воздухом, настоящим на комарах, когда можно будет вернуться в дом, в тепло, в уют, в тишину...

Отделавшись, наконец, от Настасьи Петровны, пожелав ей спокойной ночи, Алексей Иванович поднялся к себе в кабинет, разобрал постель, таблетки сустава, адельфана, эуноктина — ишемическая болезнь сердца, неизбежная к старости гипертония, проклятая бессонница! — запил кефиром комнатной температуры, заботливо принесенным Таней, и улегся с детективом, вытянулся

блаженно под пуховым одеялом, однако читать не стал, просто лежал, закрыв глаза, улыбался, вспоминая. А вспоминал он себя — молодого, чуть старше Володьки, вспоминал он себя на ринге, на белом помосте, легко танцующего, изящно уходящего от коварных ударов чемпиона в среднем весе Вадьки Талызина, парня гонористого и хамоватого, а Алексей Иванович нырнул тогда ему под левую перчатку, и вынырнул, и врезал справа отличнейшим аперкотом — овации, цветы, только так, только так побеждает наш «Спартак». Впрочем, последнее двустушие — из дня нынешнего, из Володькиного арсенала, а тогда стихов про «Спартак» не писали, тогда, похоже, и «Спартака» не существовало, а пели иное, что-то вроде: эй, товарищ, больше жизни, запевай, не задерживай, шагай! Ах, времечко было, ах, радостное, ах, вольное!.. Много позже, лет через десять, уже забывший про бокс Алексей Иванович напишет повесть о своем отрочестве, о ринге, о Вадьке Талызине, хорошую, веселую повесть, которую переиздают до сих пор, включают в школьные программы, инсценируют, экранизируют...

Вот бы и сегодня, разнеженно думал Алексей Иванович, лежа под невесомым одеялом, чувствуя сквозь прикрытые веки неяркий свет прикроватной лампы, вот бы и сейчас попробовать сочинить что-нибудь юношеское, что-нибудь про Володьку и его приятелей, про электронный стиль «новая волна», про то, что джинсы с лейблом на заднице вряд ли испортят изначально хорошего парня, каковым Алексей Иванович считал внука, вот бы написать, исхитриться, осилить, но...

Союз «но» — символ сомнений.

Но Алексей Иванович даже в постельных мечтах был реалистом, как и в суровой прозе, и не позволял пустой фантазии отвоевывать какие-то — пусть безы-

мянные! — высотки. Лет эдак пять назад, получив очередное переиздание той давней повести, Алексей Иванович по дурости перечитал ее и надолго расстроился. Панегирики панегириками, дифирамбы дифирамбами, но Алексей-то Иванович умел здраво и трезво оценивать собственные силы, особенно — по прошествии многих лет. И сделал грустный вывод: так он больше никогда не напишет.

Спросите: как так?

А вот так — и точка.

Магическое не поддается объяснениям, магическое нисходит свыше, существует само по себе и всякие попытки проанализировать его суть, разложить по элементам, а те по критическим полочкам — не более, чем пустое шаманство, дурацкое биение в бубен, дикие пляски у ритуального костра.

Чушь!

Болела нога, тянуло ее, будто кто-то уцепился за нерв и накручивал его на катушку, накручивал с неспешным садизмом. Алексей Иванович отложил так и не раскрытую книгу на тумбочку, полез в ящик, где лежали лекарства, разгреб коробочки, облаточки, пузырьки, отыскал седалгин. В стакане оставался кефир — на донышке. Алексей Иванович, морщась, разгрыз твердую таблетку, запил безвкусной, похожей на разведенный в воде барий из рентгеновского кабинета, жидкостью, полегал, послушал себя: болела нога, болела, гадина... Впрочем, седалгин действует не сразу, минут через двадцать, можно и потерпеть.

А читать уже и не стоит, хотя этот англичанин пишет куда хуже Алексея Ивановича. Ну и что за радость? Многие пишут хуже и прекрасно себя чувствуют. И ноги у них — как новые. И спят они без снотворного... Нет,

зря, зря Алексей Иванович подумал про повесть, зря вспоминал про бокс и про Вадьку Талызина. Кстати, Вадька стал потом каким-то спортивным профессором, травматологом, что ли, он умер в прошлом году — в «Советском спорте» был некролог...

Прежде чем погасить свет, Алексей Иванович достал из тумбочки фарфоровую чашку с водой и утопил в ней зубные протезы: носил их давно, а все стеснялся, таил, даже при Настасье не снимал... И вечно же она не вовремя врывается в кабинет! Вот и сегодня — с чертом как следует не поговорил, так на погоде и заикнулся, а ведь имелась темка, имелся интерес, быть может — обоюдный. Ну да ладно: будет день — будет пища. Спать, спать, вот и нога вроде поменьше ноет...

Проснулся он рано: в семь с минутами. Знал, что Настасья Петровна еще сны глядит — она ложилась поздно и вставала чуть ли не в одиннадцать, — а Таня уже приготовила завтрак. Хотя какой там завтрак? Яйцо всмятку, блюдечко творога домашнего изготовления, тонкий кусочек черного хлеба, некрепкий чай, одна радость — горячий. А бывало — бифштекс с жареной картошкой, белого хлеба ломоть, кружка кофе горчайшего... Да мало ли что бывало! Вон, и повесть была, никуда от нее не деться...

Алексей Иванович сел на тахте, спустил на пол тонкие венозные ноги, нашарил тапочки. Сидел, опершись ладонями о край тахты, собирался с силами: не так их много осталось, чтоб вскакивать с постели как оглашенный, чтоб мчаться во двор и — что там поэт писал? — блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи. Играть особенно нечем, а что есть — стоит расходовать аккуратно и не торопясь. Он прошелся по комнате — шесть шагов от стены к стене, от книжного стеллажа до окна, специально под кабинет самую маленькую комнату выбрал, не любил огромных залов, потолков высоких

не терпел, это у Настасьи спальня, как у маркизы Помпадур, прошелся, размял ноги, посмотрел сквозь залитое дождем стекло: какой же дурак хочет, чтобы лето не кончалось, чтоб оно куда-то мчалось?.. Надел черную водолазку, черные же мягкие брюки, носки тоже черные натянул. Володька хохмил: ты, дед, как артист Боярский, только не поешь. А почему не поет? Не слышал Володька, как пел когда-то дед, как лихо пел модные в былинные времена шлягеры: в путь, в путь, кончен день забав, в поход пора, целься в грудь, маленький зуав, кричи «ура»... А любовь к черному цвету — она, конечно, невеста откуда, но ведь идет Алексею Ивановичу черное и серое, а сегодня с телевидения придут, станут его снимать для литературной программы, станут спрашивать про новый роман, только-только опубликованный, — надо выглядеть элегантно, несмотря на годы. А что годы, думал Алексей Иванович, спускаясь по лестнице в ванную комнату, умываясь, фыркая под теплой струйкой, а потом бреясь замечательной электрокосилкой фирмы «Филипс», все морщинки вылизывая, во все складочки забираясь, и еще поливая лицо крепким французским одеколоном, а что годы, думал он поутру разнеженно, это ведь только в паспорте семьдесят четыре, это ведь только вечером, когда тянет ногу и сердце покалывает, а утром — ого-го, утром — все кошки разноцветны, нога не болит, настроение отменное, а с телевидения примчится какая-нибудь средних лет дамочка, и Алексей Иванович, черновато-элегантный, будет вещать про литературу всякие умности и выглядеть молодцом, орлом, кочетом.

— Алексей Иваныч, завтракать иди, — сказала, появляясь в дверях ванной комнаты, Таня, глядя, как причесывается дальний родственник, как наводит на себя марафет. — Красивый, красивый, иди скорей, чай простынет.

— Думаешь, красивый? — спросил ее Алексей Иванович, продувая расческу, снимая с нее седые волосы:

лезли они, проклятые! — Раз красивый, могла бы и кофеек сварганить.

— Отпил ты свой кофеек, — сварливо заметила Таня, по-утиному переваливаясь впереди Алексея Ивановича в кухню, шаркая ботами «прощай, молодость», теплыми войлочными ботами, которые она не снимала и в доме, используя их как тапочки. — Отпил, отгулял, отлетал, голубь, пей чаек, не жалуйся, а то Настасья наядбедничаю.

Помимо войлочных бот, носила Таня черную — в тон Алексею Ивановичу — телогрейку, на вид — замызганную, но целую, еще — мышинового колера юбку, а волосы покрывала тканым шерстяным платком, к платкам вообще была равнодушна, сама покупала в сельмаге и в подарок принимала охотно. Володька, наезжая, подзуживал:

— Тетя Таня, ты, когда спишь, ватник снимаешь?

— Конечно, — отвечала Таня, не поддаваясь Володьке, — что ж я, бомжа какая, в одеже спать?

— И боты снимаешь? — не отставал Володька.

— И боты обязательно, — чувства юмора у Тани не было, вывести ее из равновесия — дело безнадежное, в крайнем случае Володька, если очень ей надоедал, мог схлопотать поварешкой по лбу и получал, бывало, несмотря на каратистскую реакцию.

Готовила она отменно, дом содержала в порядке, вот только на язык была несдержанна, что на уме, то и не с л а. Всем перепало, даже гостям, а среди них случались люди высокопоставленные, солидные и тоже — без чувства юмора. Ну, обижались. Настасья Петровна извинялась: мол, сами страдаем, сами все понимаем, но где сейчас найдешь верную домработницу, а Алексей Иванович, напротив, всегда радовался случайному аттракциону, даже загадывал: кому Таня сегодня нахамит. И в один прекрасный момент понял: хамит-то она только тем, кто неприятен хозяевам, о ком они за глаза дурно отзывались, а приглашали в дом лишь из какой-то

корысти, по необходимости. Ну-ка, признайтесь: у кого таких знакомых нет? То-то и оно, у всех есть... Но хамила она легко и беззлобно. Могла сказать толстяку: убери живот, всю скатерть измял. Или его грудастой половиной: не наваливайся на стол, а то сиську в борщ уронишь. И потихоньку, постепенно Таня стала своего рода достопримечательностью дома Алексея Ивановича и Настасьи Петровны. Люди шли в гости — «на Таню», на аттракцион, как, помните, заметил Алексей Иванович, и подлизывались к ней, и сами ее провоцировали на выступление, и, узнав про ее слабость, привозили ей в подарок платки.

— Когда сегодня телевизоры придут? — спросила Таня, закладывая в духовку нечто белое, что впоследствии превратится в пирог с капустой: на кухонном столе валялись ошметки капустных листов, торчала сталактитом кочерыжка.

— В двенадцать, — сказал Алексей Иванович, нехотя ковыряя творог. — Дала бы мне кочерыжечку, а, баба...

— Это с творогом-то? — засомневалась Таня. — А если прослабит? Хотя тебе полезно, на, грызи... мужик, — добавила в ответ на «бабу». — А жрать-то они станут?

— Вряд ли. Они люди казенные, у них, наверно, столовая есть, — и хрустел капустой, и хрустел. — Ты вот что. Скажи Настасье, как проснется, чтоб ко мне не лезла. Я в кабинете посижу, набросаю пару страничек — о чем говорить буду...

— Иди, — разрешила Таня, — подумай. Хотя в телевизоре что ни ляпнешь — все умным кажется. Парадокс.

Алексей Иванович, нацелившийся было на выход, аж остановился: ничего себе словечко бросила, неслабое, сказал бы Володька, и в самый цвет. Иногда Алексею Ивановичу казалось, что Таня всех ловко мистифицирует: телогрейкой своей, ботами, всякими там «одежами», «нонеча» или «ложь на место», а сама вечерами

очитывает словарь Даля и заочно окончила Плехановский институт — это в смысле того, что готовит отлично. Но рационально мыслящая Настасья Петровна сей феномен объясняла просто:

— Она с нами сто лет живет, поневоле академиком танешь.

Склонна была Настасья к сильной гиперболизации... [то ж, в таком случае, сама она в академики не выби-ась? И Алексей Иванович, хотя и лауреат всех мастей, ведь не академик, даже не кандидат каких-нибудь шивеньких наук.

— Иди-иди, — подтолкнула его Таня, — не отвле-айся попусту.

А ему и не от чего было отвлекаться. Сказал: думать ойдет, а чего зря думать? Что спросят, на то и ответит, дело привычное. Четыре года назад, к семидесяти-етию как раз, целых три часа в Останкинской концерт-ой студии на сцене проторчал — при полном зале. дачным вечер вышел, толковым. Только ноги болели отом, массажистка из поликлиники неделю к нему е-ила, однако, не бесплатно, не за казенное жалованье: [астасья Петровна денег за услуги не жалеет, каждо-у — по труду.

Алексей Иванович, придя в кабинет, закрыл дверь на люч, форточку распахнул настежь, снял с книжной олки два тома собственного собрания сочинений и на-арил за книгами плоскую пачку сигарет «Данхил». Целкнул зажигалкой, неглубоко затянулся, пополоскал от дымом, послушал себя: ничего не болело, не ныло, е стучало, хорошо было.

— Хорошо-о, — вслух протянул Алексей Иванович.

В принципе, курить ему не разрешалось. Не разреша-ось ему пить спиртное, волноваться по пустякам, есть

острое и горячее, быстро ходить, ездить в общественном транспорте, толкаться в магазинах и т. д. и т. п., список можно продолжать долго. Но Алексей Иванович к этому списку относился скептически, любил опрокинуть рюмочку-другую, суп требовал только с пылу, имел дурную, на взгляд Настасьи, привычку шататься по магазинам, — особенно писчебумажным, а иной раз позволял себе тихое развлечение и катался в метро: там, утверждал он, путешествуют славные красивые девушки, с л а в н ю ш к и, на них глаз отдыхает, а сердце радуется. Единственное, что он соблюдал непреложно, — не волновался по пустякам. Да он и в молодости на них внимания не обращал, никогда не портил себе жизнь пустой нервотрепкой.

Настасья Петровна с ним боролась. Она выкидывала сигареты, прятала спиртное, а приезжая в Москву, старалась никуда не отпускать мужа одного, порой до полного маразма доходила: отнимала у него карманные деньги.

Раздраженно говорила:

— Если тебе что надо, скажи — я куплю.

И зудела, зудела, зудела непрерывно. Как осенняя муха.

Но все ее полицейские меры, весь ее мерзкий зудеж относился Алексеем Ивановичем как раз к разряду пустяков. Сигареты он наловчился прятать виртуозно, как, впрочем, и водочку, часто менял свои с х р о н ы, а что до денег — так у какого порядочного главы семейства нет заначки? Только у одного заначка — рупь, у другого — десятка, а Алексей Иванович меньше сотни не заначивал, с молодости широк был. А зудеж? Да бог с ней, пусть развлекается. Алексея Ивановича все эти игры тоже развлекали, он чувствовал себя Штирлицем на пенсии, ушедшим от дел, но квалификации не потерявшим.

Он аккуратно загасил сигарету, спрятал пепельницу

в ящик стола, пачку вернул на место, забаррикадировал книгами. И вовремя: в дверь забарабанили.

Алексей Иванович, не торопясь, кинул в рот мятную пастилку, намеренно громко шаркая, пошел к двери, отпер. Настасья Петровна ворвалась в кабинет, как собака Баскервиль, только не фосфоресцировала. Но нюх, нюх!..

— Курил? — грозно спросила.

— Окстись, Настасьюшка, — кротко сказал Алексей Иванович, шаркая назад, к креслу, тяжело в него опускаясь, кряхтя, охая, чмокая пастилкой. — Что я, враг себе?

— Враг, — подтвердила Настасья Петровна. — Ты меня за дуручку не считай, я носом чую.

— А у меня как раз насморк, — радостно сообщил Алексей Иванович. — Ты меня простудила.

Ложный финт, уход от прямого удара, неожиданная атака противника: не забывайте, что в юности Алексей Иванович всерьез боксировал, тактику ближнего боя хорошо изучил.

Настасья на финт купилась.

— Как это простудила? — возмутилась она, забыв о своих обвинениях, чего Алексей Иванович и добивался.

— Элементарно, — объяснил он. — Я же не хотел вчера гулять: холодно, мокро, миазмы. Вот и догулялись.

— Ну-ка, дай лоб, — потребовала Настасья Петровна.

Дать лоб — тут она точно табак учует, никакая пастилка не скроет. Дать лоб — это уж фигу.

— Нету у меня температуры, нету, — быстро заявил Алексей Иванович. — Лучше отстань от меня. Я думаю, а ты мешаешь. Я же сказал Тане, чтоб не пускала...

— Еще чего! Может, мне в Москву уехать?

— Может, — предположил Алексей Иванович.

— Сейчас, только калоши надену, — Настасья Пет-

ровна выражений не выбирала. — А с телевизионщиками, значит, ты сам говорить будешь, да?

— Ну что ты, Настасьюшка, — Алексей Иванович смотрел на жену невинными выцветшими голубыми глазами, часто моргал, как провинившийся первоклашка, — с телевизионщиками ты поговоришь. Вместо меня. А я полежу, почитаю. Вот галазолинчика в нос покапаю и лягу. Я ведь кто? Так, Людовик Тринадцатый, человек болезненный и слабый. А ты у меня кардинал Ришелье, все знаешь, все умеешь.

— Не валяй дурака, — уже улыбаясь, забыв о курении, сказала Настасья Петровна. — Ты подумал, о чем говорить станешь?

— О погоде, вестимо. О видах на урожай.

— Старый болтун! — Настасья Петровна легко, не смотря на свои пять с лихом пудов, прошла по комнате, провела кончиками пальцев по корешкам книг, точно задержалась на синих томиках мужниного собрания сочинений, задумалась на мгновение и вытащила два тома. — Ага, вот она, — вроде бы про себя заметила, забрала пачку «Данхила», сунула в карман платья. — Можешь говорить все, что хочешь, но не забудь о молодых.

Алексей Иванович с томной грустью проводил сигареты взглядом, но сражаться за них не стал: Настасья молчит, и он — тоже. Спросил только:

— О каких молодых?

— О молодых прозаиках. Скажи, что в литературу пришла талантливая смена, назови пару фамилий. Не замыкайся на себе. Говорить о молодежи — хороший тон.

— Помилуй, Настасьюшка, я же никого из них не читал!

— И не надо. К тебе позавчера мальчик приезжал, книгу тебе подарил. Я интересовалась: ее читают.

— Этому мальчику, как ты изволила выразиться, под сорок.

— Какая разница! Хоть пятьдесят. Сейчас все сорокалетние — молодые, так принято.

— У кого принято? У критиков? Они же все дураки и бездари. Сами ничего не умеют, так на нашем брате паразитируют. Хочешь, я об этом скажу?

— Не вздумай! Слушай меня! Как фамилия мальчика?

— Фамилию-то я вспомню. А не вспомню — вон его книга лежит. А кого еще назвать?

— Хотя бы дочь Павла Егоровича. Я читала в «Юности» ее повесть — очень мило.

— Так и сказать: очень мило?

— Так и скажи, — обозлилась Настасья Петровна. — И не юродствуй, пожалуйста, я дело говорю.

Алексей Иванович подумал, что Настасья и вправду дело говорит. Ну, не читал он этих, с позволения сказать, молодых — что с того? Назовет их фамилии — им же реклама: живой классик отметил.

— А еще о чем? — спросил он.

— О Тюмени. Мы с тобой туда ездили, ничего придумать не придется. А там сейчас настоящая кузница кадров.

— Кузница, житница, здравница... Тюмень — кузница кадров, крематорий — здравница кадров... Подкованная ты у меня — сил нет. Только что с фамилиями делать? У меня склероз, ничего не помню.

— А я на что? Пока ты на буровых речи произносил, я все записывала. На, — она протянула Алексею Ивановичу блокнот. — Бригадиры, начальники участков, названия месторождений, а вот тут, отдельно, — цифры.

— Я сразу не разберусь, — попробовал сопротивляться Алексей Иванович.

— Сразу и не надо. Сейчас половина одиннадцатого. Сиди и читай, хватит бездельничать. Я иду завтракать. Вернусь — проверю.

Она пошла к двери — величественная, голубоватоседая, в ушах покачивались длинные и тяжелые брил-

лиантовые подвески. Алексей Иванович смотрел на нее и чувствовал себя маленьким и несмышленным. И впрямь — первоклашка.

— Мне нужен час, — все-таки заявил он сердито, собирая остатки собственного достоинства.

— Даю, — не оборачиваясь, сказала Настасья Петровна и вышла.

Алексей Иванович тихонько отодвинул блокнот с тюменскими фамилиями, посидел минутку, потом встал, потащил за собой кресло, взгромоздился на него и достал из плоского колпака люстры не «Данхила» пачку уже, а всего лишь «Явы», но зато мощно подсушенной электричеством. Прикурил, довольный, спросил сам себя:

— Интересно, что может написать дочь Павла Егоровича?.. Хотя дети не отвечают за грехи отцов.

Телевизионщики прибыли в полдвенадцатого, побникали у ворот. Алексей Иванович видел в окно, как прошлепала ботами по асфальтовой дорожке сердитая Таня — как же, как же, от пирога оторвали, от жаркой духовки! — как въехала во двор серая «Волга»-универсал, как выпорхнула из нее средних лет славнюшка, а следом вылез мрачный мужик и потащил в дом два могучих ящика-чемодана с аппаратурой. В дверь кабинета заглянула Настасья Петровна.

— Подготовился?

— Конечно-конечно, — очень правдиво соврал Алексей Иванович, искательно улыбаясь, и в доказательство ткнул пальцем в сторону стола, на коем лежал давешний блокнот.

Невесть почему Настасью этот жест убедил, а скорее некогда проверять было сомнительное мужнино утверждение, но она согласно кивнула, сказала:

— Я все устрою и тебя позову.

— Устрой все, устрой, — возликовал Алексей Ива-

ювич, хлопнул в ладоши — якобы от избытка чувств.

— Не клоунничай, — на всякий случай предупредила Настасья Петровна и скрылась — все устраивать.

Тут автору хочется сделать небольшое отступление. Почему писателей самой читающей страны мира частенько — и справедливо — упрекают в том, что они-де редко варятся в гуще народной жизни, не охватили еще своими эпохальными произведениями труд и быт представителей многих славных профессий, не работают со своими будущими героями на заводах, стройках, в колхозах и совхозах, а если и наезжают туда, то на недельную, таким кавалерийским наскоком? Почему? Да потому, что наш брат-писатель — один в поле воин: сам пишет, зачастую сам печатает рукопись, сам таскает ее по разным редакциям, сам себя всю рекламирует, без отдыха кует славу, а скоро настанет день, когда сам свои книги продавать станет — где-нибудь в метро или в подземном переходе. А был бы у него пробивной импресарио, менеджер, целое литературное агентство — помотришь, и наладился бы процесс творчества, высвободилась бы куча времени, чтобы и доярком в колхозе потрудиться, и на стройке повкалывать, и оленей в тундре попасти, и в парикмахерской ножницами пощелкать, и в баре за стойкой постоять.

Но вот вам вопрос на засыпку: а перешло бы количество в качество, что требует точная наука философия? Это вряд ли, это, как говорится, бабушка надвое сказала!..

Так, может, бог с ними — с литературными агентствами? Нет их и не надо. Пусть и в писательском деле властвуют суровые законы естественного отбора: в борьбе выживают сильнейшие. Кстати, и Алексей Иванович той же дорогой в литературу сам проторил, никто ему не по-

могал, а Настасья Петровна позже возникла. Но теперь-то она была ему и менеджером, и импресарио, и агентом: тут, надо признать, очень повезло человеку...

В гостиной на первом этаже стояли два мощных компактных софитика, два зеленых плюшевых кресла из югославского гарнитура были сдвинуты друг к другу, а перед ними на низком столике лежали книги Алексея Ивановича и раскрытые номера журналов с его последним романом. По комнате бродил мужик с переносной телекамерой на плече, натыкался на мебель, заглядывал в окуляр, примеривался, а в креслах расположились Настасья Петровна и телевизионная дама, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении никакой не славнюшкой, а пожилой толстой теткой, к тому же знакомой Алексею Ивановичу: не раз брала у него летучие интервью на разных съездах и пленумах. Как ее зовут, он, впрочем, не помнил.

— Здравствуйте, — сказал он громко. — Я не мешал?

— Что вы, что вы, — заворковала безмянная тетка, — мы вас ждем не дождемся. Садитесь, пожалуйста, — и резво вскочила с кресла.

— Спасибо, постою, — скромно сказал Алексей Иванович.

— Алексей, не придуривайся, сядь, — строго приказала Настасья Петровна и тоже встала. — Мы с Нонной Сергеевной обо всем договорились, беседа будет недлинной, ты не устанешь.

Ага, подумал Алексей Иванович, вот как ее зовут, тетку эту, попробуем не спутать. А вслух сказал:

— Я готов, как юный пионер.

Нонна Сергеевна засмеялась, как будто Алексей Иванович жуть как замечательно сострил, а мужик с камерой мрачной спросил:

— Будем снимать или шутики шутить? Время казенное...

И своей хамоватой деловитостью сразу понравился Алексею Ивановичу. Он даже с уважением глянул на оператора: тот всем своим видом показывал, что приехал работать, зарплату отрабатывать, а за пустые ля-ля ему денег не платят.

— Будем снимать, — Алексей Иванович тоже стал деловым и собранным, резво подошел к креслу, уселся, ногу на ногу закинул. — Итак, о чем речь?

Настасья Петровна отплыла в дальний угол, софиты вспыхнули, толстая Нонна скромно села на краешек кресла, одернула юбчонку на арбузных коленях и зататорила:

— К нам на телевидение приходит много писем от зрителей, которые познакомились с вашим новым романом, — она подняла журнал и показала его Алексею Ивановичу, словно он его никогда не видел, — и хотели бы услышать, как родился его замысел, кто послужил прототипом главного героя... И потом, вы так резко оборвали судьбы героев, что многие интересуются: будет ли продолжение?

Алексею Ивановичу ужасно хотелось поизгаляться. Сказать, например, что никаких прототипов не было и быть не могло, что только дураки могут ждать продолжения там, где черным по белому написано: «Конец». Не «Конец первой книги», а просто «Конец». А после потребовать у тетки оригиналы помянутых ею писем: наверняка их нет, наверняка она все сочинила. Короче, хотелось ему поставить суетливую Нонну Сергеевну в неловкое положение, но делать этого он не стал: рядом стрекотал камерой действительно занятой человек, который позавчера снимал актера Пупыркина, вчера — художника Мурмулькина или кого там еще, а сегодня служба привела его на дачу к писателю, и плевать ему было на их возвышенные откровения. Он честно отрабатывал свой хлеб, ставил свет, строил кадр, таскал тяже-

сти, а всякий честный труд Алексей Иванович уважал и никаких шуток позволить себе не мог.

Поэтому он вполне серьезно ответил:

— Два года назад мне удалось побывать в Тюменской области, познакомиться с людьми, каждый из которых имеет полное право стать героем повести или романа. Конкретно никто из моих новых знакомых не стал прототипом того или иного героя — это было бы не очень честно по отношению к людям: в моем романе есть и отрицательные персонажи, а положительные тоже не во всем положительны. Но если вспомнить известный литературоведческий термин «собирательный образ», то герои мои собрали многие черты характеров людей, умеющих и любящих делать дело, — тут Алексей Иванович со значением посмотрел на оператора, а получилось — в камеру. — Тогда, пожалуй, и родился замысел романа. А уже в Москве мне очень помогли специалисты-нефтяники, много перечитал я и специальной литературы... Впрочем, я не ставил перед собой цели писать некий научно-производственный труд, я писал о людях, об их взаимоотношениях, а уж как удалось — не мне судить...

— И ваши читатели, и критики, уже оценившие роман в прессе, — как по писаному шпарила Нонна Сергеевна, — единодушно считают его заметным явлением в литературе. Я слышала: вам предложили экранизировать его? — она улыбнулась в пол-лица, считая, видимо, себя Мэрилин Монро или Галиной Польских.

— Да, я получил предложение — как раз от телевидения, — подумать о пятисерийном киноварианте. Но пока это — далекая перспектива.

— Может быть, тогда мы и узнаем продолжение судеб полюбившихся нам героев?

— Не исключено, не исключено, — уже несколько рассеянно отвечивал Алексей Иванович, прозрачно намекая, что пора закругляться, пора гасить софиты, под которыми он малость вспотел.

И Нонна Сергеевна тоже поняла это.

— Спасибо вам за беседу, — проникновенно, с некоторой долей интимности сказала она. — Примите от всех телезрителей искренние пожелания новых творческих свершений.

Деловик-оператор тут же остановил камеру, щелкнул выключателем, и в гостиной мгновенно стало темно. То есть в ней по-прежнему гулял летний яркий день, но Алексей Иванович подумал, что искусственное освещение богаче и красочнее естественного, природного. Вот вам хитрые фокусы века НТР!

Поскольку работа завершилась, Алексей Иванович позволил себе вольную шпильку в адрес велеречивой Нонны.

— А что, — наивно поинтересовался он, — у телезрителей случаются неискренние пожелания?

Оператор, сноровисто укладывающий в чемоданы аппаратуру, громко хмыкнул, а Нонна Сергеевна с мягкой укоризной объяснила:

— Просто существует такая фразеологическая форма...

— А попросту штамп, — Алексей Иванович легко встал, шаркнул ножкой в домашней тапочке и поклонился. — Однако премного благодарен. Имею честь и все прочее, — и споро порулил к выходу.

А оператор неожиданно сказал вроде бы в пространство странную фразу, по-видимому — цитату:

— «Ее голубые глаза увлажнились слезами умиления». — Будто бы он свою напарницу в виду имел, будто бы он так иронизировал над нею.

Но Алексей-то Иванович, внешне никак не отреагировавший на заковыченную реплику, все распрекрасно понял и еще раз — не без злости, правда — оценил хитрую толковость подлеца-оператора, на сей раз — его снайперское остроумие. Цитатка была из романа Алексея Ивановича, он даже помнил — откуда: из седьмой главы, где героиня узнает, что ее муж не согласился на лестное предложение переехать из Тюмени в Москву...

Но оценить-то остроумие он оценил, а вот настрое-

ние испортилось. И, казалось бы, мелочь, легкий укол со стороны непрофессионального читателя, но ведь в большое место попал, в чувствительный нервный узелок, который давно уже подавал некие сигналы бедствия, и Алексей Иванович слышал их, а помочь ничем не мог. Говоря образно и высокопарно, он, Алексей Иванович, большой корабль в большом плавании, слишком далеко удалился от этих сигналов: радио их принимает, а доплыть — мощности двигателей не хватает.

И даже думать о том не хотелось!

Обедали в столовой. Стол там был несуразно большой, рассчитанный даже в сдвинутом состоянии на двенадцать персон, а в разобранном — на все двадцать четыре. Два года назад Алексей Иванович с супругой приглашен был в Англию, как пишут в протоколах Союза писателей — «для творческих встреч и выступлений», так Настасья Петровна чуть ли не всю валюту бухнула на покупку суперскатертей для дачного великана; дюжина скатертей, все разного цвета, из каждой можно легко сварганить палатку для пехотного взвода.

Алексей Иванович и Настасья Петровна по заведенному ею великосветскому ритуалу сидели по разные стороны стола, что Алексея Ивановича безмерно раздражало: не говорить приходилось, а орать друг другу. Впрочем, и тут Алексей Иванович придумал иезуитский ход: использовал Таню в качестве толмача.

Тане это нравилось.

Вот и сейчас, вкушая протертый овощной супец серебряной ложкой из розовой тарелки кузнецовского дорогого фарфора, Алексей Иванович попросил:

— Танюша, не откажи в любезности, узнай у Настасьи Петровны, понравилось ли ей мое выступление.

Произнес он это шепотом — так, чтобы Настасья уж точно не услышала.

Невозмутимая Танюша, безжалостно гремя половни-

ком в хрупкой кузнецовской супнице, поинтересовалась на всякий случай:

— Слышь, Настасья, что муж спрашивает?

— Не слышу, — холодно ответила Настасья Петровна.

Она сидела подчеркнуто прямо, твердой рукой несла ложку от тарелки ко рту, не расплескивая ни капли, в отличие от Алексея Ивановича, который прямо-таки нырял в суп, не ел, а хлебал варево, вел себя не «комильфо», по разумению Настасьи Петровны.

— Твоим мнением интересуется, — растолковала Таня. — Как, мол, выступил, и все такое.

— Говорил ты хорошо, — Настасья обладала громким и ясным голосом, переводчики ей не требовались, — но я же просила тебя назвать имена молодых...

— Дочери Павла Егоровича? — не без ехидства спросил.

— Пашкиной дочери? — перевела Таня.

Павла Егоровича она знала, бывал он на даче, уважения у Тани не вызывал.

— Не только, не язви. Хотя Павлу Егоровичу это было бы приятно, а от него многое зависит.

— Что от него зависит? — повысил голос Алексей Иванович так, что Таня не понадобилась.

— Многое. Не в том дело. Разговор о молодых нужен был прежде всего тебе самому... Ладно, не стал, и бог с ними. Но ты знаешь, меня возмутила эта толстая дура.

— Да ну? — удивился Алексей Иванович, отодвинул пустую тарелку. — Татьяна, второе хочу! — И к жене: — И чем же, поделись?

— Ты обратил внимание, что она вякнула в конце?

— А что она вякнула? — Таня ушла в кухню за вторым блюдом, поэтому опять пришлось говорить громко.

— Она заявила, что твой роман — заметное явление в советской литературе.

— Разве не так? По-моему, его заметили, и еще как!

— Дело не в сути, а в форме. В штампе, как ты выражаешься. «Заметное явление» — штамп для середняков. О твоём романе следовало сказать — «выдающееся явление».

— Ты находишь? — заинтересовался Алексей Иванович опять-таки полупшепотом, потому что в комнату вошла Таня с блюдом узбекского плова, лечебной пищи, весьма полезной для любого желудка, бухнула его посреди стола на место супницы и сразу включилась в беседу:

— Чегой-то ты, по-мойму, находишь, Настасья.

— Нахожу. В «Литературке», кстати, так и написали, если помнишь: выдающееся. И на пленуме по критике так говорили. Истомин, кажется. А она — «заметное»... Или она сама, по дурости, или ее накачали сверху.

— Настасьюшка, родная, ну кто ее качал? Сказала и сказала, какая разница.

— Без разницы все, — растолковала Таня кратко, потому что прекрасно видела, что все ее толмачество — тоже игра, что Настасья Петровна обладает хорошим слухом, а плов хозяева уже доели, Алексей Иванович вон всю тарелку выскреб, надо посуду собирать и о третьем позаботиться.

— Большая разница. Ты не хуже меня знаешь, какое значение имеет эпитет. Зачем давать лишний повод недоброжелателям? Заметных много, а выдающихся — раз, два и обчелся.

— Я — раз?

— Он у нас первый, — сменила вопрос на утверждение Таня, внесла в спор свое веское мнение и удалилась в кухню с грязной посудой.

— Да, первый, — яростно подтвердила Настасья Петровна, а Алексей Иванович заорал Тане вслед:

— Татьяна, я компота не хочу, буду чай! И не сироткины писи, а покрепче завари. И пирога дай.

— Пирог тебе нельзя, — мгновенноотреагировала Настасья Петровна.

— Можно. Раз я первый, мне все можно.

— Тогда позволь мне вмешаться, — Настасья опять переключилась на литературную тему, поняв, что пирог у мужа она не отспорит. — Я позвоню Давиду и попрошу, чтобы этот кусок в передаче переозвучили. Он поймет.

— Он-то поймет, — сказал Алексей Иванович, поднимаясь, стряхивая с черного своего одеяния хлебные крошки и мелкие рисинки из плова, — а я нет. И звонить ты никуда не будешь. Я не хочу, чтоб надо мной смеялись.

— Кто над тобой будет смеяться?!

— Телеоператор.

— Какой телеоператор?

— Бородатый.

— Ты с ума сошел!

— Вовсе нет. Пусть все будет, как будет.

— Все будет, как будет, — сообщила Таня, вкатывая в столовую сервировочный столик на колесах, на котором стояли кофейник, молочник и крохотная чашечка — для Настасьи Петровны, заварной чайник и стакан в серебряном подстаканнике — для Алексея Ивановича, а также тарелка с ломтями пирога — для обоих.

— Таня, мне чай — наверх. Я устал и прошу меня не беспокоить. Ни по какому поводу. Настасья, поняла? Не бес-по-ко-ить! — поднял вверх указательный перст. — Мне надоели голубые глаза со слезами умиления.

— Что ты имеешь в виду? — растерянно спросила Настасья Петровна.

За долгие годы она отлично изучила характер мужа, все его нечастые взбрыки, все его срывы спокойного обычно настроения, и знала, что в таком случае лучше не настаивать на своем, лучше отступить — на время, на время, потом она свое все равно возьмет.

— Я старый, — сообщил Алексей Иванович но-

вость, — и ты старая, хотя и хорохоришься. Мне надоела суета, я хочу покоя и тишины.

Он почти орал, сотрясал криком стены, но Таня все же сочла нужным вернуть:

— Покоя сердце просит.

Алексей Иванович на Танину эрудицию реагировать не стал, счел разговор законченным, пошел прочь. И уже в коридоре услышал, как Таня выговаривает Настасье Петровне:

— Ты, Настасья, прям как танк, прешь и прешь напролом. Не видишь, мужика бородач расстроил. Который с аппаратом.

— Чем расстроил? — спросила Настасья Петровна, в голосе ее слышалось безмерное изумление. — Он же молчал все время...

— Глухая ты, Настасья, хоть и ушастая. Слух у тебя какой-то избирательный: чего не хочешь, того не слышишь... Пусти, я чай ему снесу.

Алексей Иванович усмехнулся: ай да Таня, ай да ватник с ботами!.. А слух у Настасьи и впрямь избирательный.

Чай был крепким, пирог вкусным, настроение паскудным. Алексей Иванович, не раздеваясь, не страшась помять брюки, лег на тахтичку поверх покрывала, утопил голову в подушку, зажмурился и пожелал, чтобы пришел черт. И хотя до вечера, до программы «Время» еще ждать и ждать, черт не поленился, явился в неурочный час, уселся на привычное место под лампу на письменном столе, несмотря на день за окном, щелкнул выключателем, объяснил:

— Погреться хочу. Холодно тут у вас.

— А у вас тепло? — спросил Алексей Иванович.

— У нас климат ровный, жаркий, сухой. Очень способствует против ревматизма, спондилеза, радикулита и блуждающего миозита.

Но привычная тема сегодня не интересовала Алексея Ивановича. В конце концов, и черт являлся к нему не за тем, чтобы обсуждать работу славных метеорологов, и хотя он мало походил на делового телеоператора, все же были у него какие-то служебные обязанности, получал он за что-то свою зарплату — чертовски большую или чертовски мизерную. Или он уже пенсионер, или он уже на заслуженном отдыхе и материализуется в кабинете Алексея Ивановича только ради пустого общения?

— Черт, а, черт, — сказал Алексей Иванович, — ты еще служишь или уже на пенсии?

— Служат собаки в цирке, — грубо ответил черт, — а я работаю. Пенсия нам не положена.

— Извини... В чем же заключается твоя работа?

— В разном, — напустил туману черт, поправил лапой абажур, чтобы свет падал точно на мохнатую спину, — я специалист широкого профиля.

— Понятно, — согласился Алексей Иванович, хотя ничего не понял и продолжал крутить вокруг да около, страшился взять быка за рога. — Тогда зачем ты ко мне приходишь? Или прилетаешь...

— Телетранспортируюсь, — употребил черт фантастический термин, который, как знал Алексей Иванович, означает мгновенное перемещение объекта из одной точки пространства в другую. — А зачем? Так, любопытен ты мне: вроде бы мудрый, вроде бы талантливый, вроде бы знаменитый.

— Почему «вроде»? — Алексей Иванович почувствовал острый укол самолюбия.

— Сомневаюсь, — сказал черт, — имею право, как персонаж разумный. Истина: мыслю — значит, существую. Дополню: сомневаюсь — значит, мыслю.

— Право ты, конечно, имеешь, — неохотно подтвердил Алексей Иванович. — Может, я не мудрый, может. Может, и не талантливый. Но ведь знаменитый — это факт!

— Сомнительный, — мгновенно парировал черт. —

Тебя убедили, что ты талантлив и знаменит, убедили люди, которые сами в это не верят. А ты поверил. Значит, ты не мудр. Логично объясняю?

— Ты логичен в выводе, но исходишь из ложной посылки. Я в литературе — полвека, написал уйму книг, они издаются и переиздаются огромными тиражами. Меня никто ни в чем не убеждал, я плевать хотел на то, что обо мне пишут критики. Но ведь ты не можешь не признать, что я — история литературы?

— Не могу, согласен. Именно — история. Музей. В нем пыльно, холодно и безлюдно. И повсюду таблички: «Руками не трогать».

— Черт с тобой... — начал было Алексей Иванович, но черт перебил:

— Я сам черт, не забывайся.

— Прости. Я закончу мысль. Музеи создаются не на пустом месте, право на музей надо заслужить.

— Ты заслужил. Я читал все, что ты написал. Ты заслужил право на музей своей первой повестью, помнишь — о довоенной юности, о жарком лете тридцать какого-то... — тут черт встал на столе во весь свой полуметровый рост, приосанился и запел, невероятно фальшивя: — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, и выше, и выше... — закашлялся, кашлял трудно и, видимо, с болью. Снова сел под лампу, сказал хрипло: — Отпел я свое, старый стал. Как ты... Понимаешь, старик, ты умел верить, будто рожден для того, чтоб сказку сделать былью. Хотя бы на бумаге — в повести, в рассказе. Кстати, рассказы у тебя были — первый сорт. И вторая повесть, которую ты в сорок пятом написал — о любви на войне. Ты знал эту любовь, старик, ты верил в сказку...

— Верил, — тихо сказал Алексей Иванович.

— Ты жил, старик, и не считал, что пишешь для музея. Ты просто писал, потому что не мог не писать,

а вокруг тебя дюжие молодцы уже возводили музейные стены, наводили глянец и сдували пылинки. И ты пове-
рил, что ты — музей. Сам себе экспонат, сам хранитель,
сам научный сотрудник. И стал, как водится, увеличи-
вать экспозицию. Вон до чего наувеличивал, — черт
кивнул в сторону книжной полки, где красовались много-
численные книги авторства Алексея Ивановича. — Мне
жаль тебя, старик, твой пламенный мотор давно уже не
фурычит.

— Ты злой, зло-о-ой, — протянул с болью Алексей
Иванович.

— Ангелы добрые. У них лютни и арфы. Ангелов
вокруг тебя — пруд пруди, и все живые, все во плоти.
А ты черта придумал. Вот он я. Чего тебе надобно,
старче?

И Алексей Иванович произнес наконец заветное:

— Верни мне молодость.

Черт мерзко захихикал, забил хвостом по футляру
от «оливетти», потер ладошки.

— А взамен ты отдашь мне свою бессмертную душу?

— Бери.

— На кой она мне хрен? План по душам я давно
перевыполнил... Впрочем, разве что для коллекции? Ак-
теры у меня были, спортсменов — навалом, а вот писа-
телей... Но с другой стороны — неходовой товар.

— А Фауст?

— Нашел кого вспомнить! С ним сам Мефистофель
работал, специалист экстра-класса, наша гордость.
И то — чем все кончилось, читал?

— Верни мне молодость, черт, — настойчиво повто-
рил Алексей Иванович.

— Вот заладил... — раздраженно сказал черт. —
Ну, верну, верну, а что ты с ней делать станешь?

— Музей сломаю, — подумав, заявил Алексей Ива-
нович.

И тут в дверь постучали.

Черт мгновенно спрыгнул под стол, затаился, а Алек-

сей Иванович на стук не ответил, притворился спящим.

— Алексей, ты спишь? — спросила невидимая Настасья Петровна.

Алексей Иванович дышал ровно, даже всхрапывал для убедительности. Настасья Петровна малость потопталась за дверью, потом Алексей Иванович услышал, как заскрипели ступеньки и снизу — приглушенно — донесся голос жены:

— Таня, Алексей Иванович спит, не ходи к нему. Когда проснется, скажешь, что я уехала в Москву и буду к вечеру. Пусть ужинает без меня.

— Уехала, — произнес черт, вылезая из-под стола и умачиваясь на любимом месте. — Вот ведь зануда. Не баба, а жандармский полковник. Только без сабли. И откуда все взялось?..

— Не смей так о жене, — возмутился Алексей Иванович.

— Твои мысли повторяю. И вообще запомни: я — это ты. Альтер эго, говоря интеллигентно, только с хвостом. Уяснил идейку?

— Так что с молодостью? — Алексей Иванович, обрадованный неожиданным отъездом дражайшей половины, четко гнул свою линию.

Черт явно сдавал позиции, но еще кобенился, кочевряжился, набивал цену.

— Стар я стал, уж и не знаю, справлюсь ли...

Алексей Иванович покинул тахту и пересел в кресло — поближе к покупателю.

— Справишься, справишься, ты еще орел, не чета мне.

— Не лсти попусту, не на такого напал... Допустим, станешь ты молодым. А что с женой будет? С сыном? С внуком — каратистом?

— Перебьются, — беспечно махнул рукой Алексей Иванович. — Ты же у меня душу заберешь, я и не смогу за них переживать.

— Шусте-ер, — удивился черт. — А с виду такой

емьянин... Ладно, уговорил, нравишься ты мне, старик, помогу. Но я верну тебе твою молодость.

— Мне чужой не надо.

— Ты не понял. Я не смогу тебя сделать молодым сегодня. Я смогу лишь вернуть тебе минувшее время, проще говоря, перенести тебя в прошлое.

Алексей Иванович растерялся: он-то хотел иного.

— А как же Фауст? Его никто никуда не переносил.

— Я же сказал, — опять обозлился черт, — с ним работал лучший из нас, я так не умею. Не хочешь — будь здоров, не кашляй.

— Почему не хочу... — Алексей Иванович тянул время, лихорадочно соображая: какие выгоды сулит ему неожиданное предложение. — И я повторю свою жизнь?

— Захочешь — повторишь. Не захочешь — проживешь по-другому... Говори быстро: согласен или нет?

— Я не знаю, я не предполагал... — мямлил Алексей Иванович, и вдруг накатила на него горячая волна беспощадности, накрыла с головой: — А-а, гори все ясным огнем! Переноси!

Но черт не торопился, хотя только что сам вовсю оропил Алексея Ивановича. Он встал, заложив лапы за пину, прошелся по крышке стола, аккуратно обходя пепельницу, стакан с карандашами и ручками, иные принадлежности тяжелого малахитового письменного прибора. Поставил ногу на пресс-папье, покачал его.

— Вот что мы сделаем, — раздумчиво сказал он. — Для начала я устрою тебе экскурсию в молодость, проведу по залам музея получше иного экскурсовода. Где понравится — останешься, будешь жить. Только скажешь: «Остановись, мгновенье...» — и дальше по оригиналу. А если нигде не понравится, произнесешь: «Черт, черт, верни меня назад!» — и мгновенно окажешься здесь, на даче, в кресле твоём дурачком.

— А Настасья?

— Что Настасья?

— Если я вернусь, как объясню ей мое отсутствие?

— Ишь ты, о близких озаботился... Хотя душа-то пока при тебе... Не бойся, ничего Настасья не заметит. Я спрессую время. Захочешь вернуться — вернешься в этот же момент. Сколько на твоих электронных?

— Шестнадцать тридцать три, пятница, седьмой месяц.

— Вот и вернешься в шестнадцать тридцать три, в пятницу. А что, уже о возвращении думаешь?

— Нет-нет, что ты, — испугался Алексей Иванович, — это я на всякий случай... — Да, — вспомнил он читанное в отечественной фантастике, — а как же с эффектом «собственного дедушки»? Путешествия в прошлое невозможны, можно встретить родного дедушку, убить его, и окажется, что ты никогда не рождался. Или самого себя встретишь...

— Ты собрался убить дедушку? — заинтересовался черт.

— Теоретический интерес, — кратко объяснил Алексей Иванович.

— А-а, теоретический... Я, старик, не машина времени, а ты не писатель-фантаст. Ты не встретишь себя, ты будешь со мной. Ну что, поехали?

— Поехали, — решительно утвердил Алексей Иванович.

Черт тяжело вздохнул, поднял очи горé, между рожками, как между электродами, проскочила синяя молния, запахло серой. Алексей Иванович почувствовал, как защемило сердце, перехватило дыхание, и провалился куда-то, не исключено — в преисподнюю.

И было: серый, будто парусиновый, пол под ногами, руки в тяжелых боксерских перчатках лежат на канатах, обшитый коричневой кожей столб, к которому эти канаты прицеплены никелированными крюками, усиленный репродуктором голос судьи-информатора:

— В синем углу ринга...

И откуда-то сверху, издалека, перекрывая судью, — многоголосое, истошное:

— Ле-ха! Ле-ха! Ле-ха!..

Алексей легко пританцовывал в углу на гуттаперчевых ногах, улыбался, слушал судью, слушал скандеж болельщиков, слушал тренера. Тренер частил скороговоркой:

— Держи его левой на дистанции, не пускай в ближний бой. Он короткорукый, а дыхалка у него лучше, он тебя перестучит. Держи его левой, левой и паси — жди подбородка: он обязательно откроется...

Гонг.

Тренер впихнул ему в рот зубник, Алексей развернулся и, по-прежнему пританцовывая, пошел в центр ринга. А навстречу ему, набычившись, ссутулив плечи, шел маленький, но тяжелый, почти квадратный Вадья Талызин, кумир со слабым подбородком, шел, как на таран, смотрел на Алексея из-за сдвинутых перед лицом перчаток, и пистолетный взгляд этот — в упор! — ничего хорошего не сулил.

Судья на ринге, пригнувшись, рубанул ладонью между соперниками, как ленточку перерезал, рывкнул:

— Бокс!

«Это же я», — с ужасом и восторгом подумал сегодняшний Алексей Иванович, внезапно вырываясь из освещенного квадрата ринга, словно бы высоко воспаряя над ним, а может, то была бессмертная душа Алексея Ивановича, волею черта-искусителя способная перемещаться во времени и пространстве.

А ринг внизу вдруг погас, и в крошечной тьме Алексей Иванович услышал блудливый шепоток хвостатого приятеля:

— Как картиночка? Достояна пера?.. Мчимся дальше, старик, время у меня хоть и спрессованное, да казенное...

И сразу случился летний день, и плюс тридцать по шкале Цельсия, и не сочно-зеленая, а какая-то желтоватая, будто выгоревшая трава, и грязно-белая церковь Вознесения в селе Коломенском, похожая на многоступенчатую ракету на старте, которую рисовал гениальной старческой рукой калужский мечтатель и прожектор Константин Циолковский.

— Правда, похоже на ракету? — спросила Оля.

Она сидела на траве, поджав ноги в аккуратных белых тапочках и белых носочках с голубой каемочкой, обхватив их руками — ноги, естественно, а не носки, — и положив на колени острый подбородок. Внизу, под обрывом, текла узкая и грязноватая здесь Москва-река, на противоположном пологом берегу ее широко, как в известной песне, раскинулись поля, а еще подальше теснились низкие домишки не то деревеньки, не то дачного поселка.

— Похоже, — согласился Алексей.

Он на траве не сидел, боясь испачкать белые, естественно отглаженные брюки, которые одолжил ему на день сокурсник и сокоечник Сашка Тарасов, поэт-романтик, безнадежно в Олю влюбленный. Алексею она тоже нравилась, хотя и не очень, но зато все знали, что ей очень нравится Алексей, и благородный Тарасов сидел сейчас без штанов в их комнате-пенале на Маросейке и одиноко страдал.

— Знаешь, что Сашка сочинил? — спросил Алексей, осторожным журавлем вышагивая вокруг маленькой Оли. «Еще одна ушла, оставив след багровый, на темном небе красной лентой след. Что ждет ее за чернотой покрова? Чужой звезды неверный белый свет? Чужих миров пространства голубые? Чужих небес прозрачные глубины?» Ну как?

— Хорошие стихи, — неуверенно сказала Оля. — Только вот рифма — «голубые — глубины»... Как-то не очень, тебе не кажется?

— Рифма завтрашнего дня, — уверенно заявил Алек-

сей, все про все знающий. — Хотя стихи и вправду мурра. Налицо — полная оторванность от реальной жизни. Чужие миры, чужие небеса... Идеализм. У нас в своих небесах дел не впрокорот. Смотри, — он задрал голову. В белесом, даже облачком не замутиленном небе возник крохотный самолетик, лихой и нахальный летун, насилуя мотор, полез наверх, в вышину, заложил крутую петлю Нестерова, как с горки, скатился с нее и умчался за лес — в сторону села Дьякова. — Вот о чем писать надо, — и пропел приятным баритоном: — Все выше, и выше, и выше... — оборвал себя, воскликнул, рисуясь: — Ах, жалко, что я в свое время в Осоавиахим не двинул. Летал бы сейчас, крутил бы всякие иммельманы, а ты бы смотрела.

— Ты и так талантливый, — осторожно сказала Оля.

— А вот этого не надо, ярлыков не надо, — строго заметил Алексей, хотя, может, и чересчур строго. — Кто талантливый — время рассудит. Во всяком случае, я о чужих мирах не пишу и Сашке не советую.

— Но ведь можно и помечтать...

— Мечта должна быть реальной. Помнишь у Маяковского: весомо, грубо, зримо.

— Грубо-то зачем?

— Грубо не значит хамство. Грубо — в том смысле, чтоб не церемониться с теми, кто нам мешает.

— С Сашкой, что ли? — засмеялась Оля.

— Сашка — свой в доску, только жуткий путаник. В голове у него вместо мозгов каша «геркулес».

— Я есть хочу, — невпопад сказала Оля.

— Ага, — согласился Алексей. — У меня есть рубль.

— А у меня два, — радостно сообщила Оля.

— Тогда живем! — завопил Алексей, схватил Олю за руку, и они побежали по склону к церкви-ракете, уменьшались, уменьшались, вот уже и скрылись совсем.

— Ну что, остаешься? — спросил невидимый черт. Душа Алексея Ивановича, еще полная умиления и сладких предчувствий, неслась невесть где, в надзвездном, быть может, мире.

— Остаюсь? — спросила она, душа то есть. — Не знаю, попробовать разве?

— Некогда пробовать, мчим дальше. Только сначала — перебивка, ретроспекция, кусочек бобслея, как выражаются умные товарищи из кино.

И снова был ринг.

Алексей мягко передвигался, боком, боком, держал левую руку впереди, тревожил ею тугие перчатки Пашки, а Пашка все мельтешил, все пытался поднырнуть под его руку, провести серию по корпусу, даже войти в клинч.

Вот он качнулся влево, чуть присел, выбросил свою левую, целясь противнику в грудь, но Алексей разгадал маневр, отстранился на какой-то сантиметр, и Пашкина рука ткнула пустоту, он на мгновение расслабился, открыл лицо. Алексей — автомат, а не человек! — поймал момент и бросил правую вперед, достал Пашкин подбородок. Голова Пашки дернулась от удара, но он устоял, оловянный солдатик, снова ушел в глухую защиту, а судьи вокруг ринга наверняка все заметили, наверняка записали в своих карточках полновесное очко Алексею.

— Стоп! — сказал черт. — Конец перебивки.

И внезапно материализовалась знакомая институтская аудитория, небольшая комната со сдвинутыми к стене столами, за одиноким длинным столом посреди — комсомольское бюро в полном составе. Алексей, Оля, Нина Парфенова, Давид Любицкий, ну и, конечно, строгий секретарь Владик Семенов, драматург и очеркист,

гордость института, его статьи печатались в «Комсомолке», его пьесу в трех мощных актах поставил МХАТ, и ее много хвалили в центральной прессе.

Впрочем, Алексей тоже был гордостью института, поскольку опубликовал уже пять или шесть рассказов, а первая повесть его яростно обсуждалась на семинаре, без критики, ясное дело, не обошлось, но начхать ему было на критику, поскольку повесть взял «Новый мир» и собирался вот-вот напечатать.

А Сашка Тарасов, который сидел на стуле перед этим грозным синклитом, никакой гордостью не был, писал стихи километрами, а печатался мало, все его, безыдейного, на интимную лирику тянуло, на вредную «есенинщину». А сейчас и вообще такое открылось!..

— Все члены бюро знают суть дела? — спросил строгий Семенов.

— Все, — сказала Нина Парфенова, — давай обсуждать, чего резину тянуть.

Но строгий Семенов не терпел анархии, все в этой жизни делал последовательно, по плану.

— Скажи, Тарасов, членам бюро, откуда ты родом?

— Как будто ты не знаешь, — ошетинился Сашка.

— Я вопрос задал, — стальным тоном сказал Семенов.

— Ну, из-под Твери.

— Не «ну», а «из-под Твери». А кем был твой отец?

— Да знаешь ты!

— Слушай, Тарасов, не занимайся волокитой, отвечай, когда спрашивают, — вмешался Давка Любицкий, который тоже гордостью не был, но был зато большим общественником, что само по себе звучит гордо.

— Регентом он служил, в церкви, — отчаянно, с надрывом, закричал Сашка. — Но ведь не попом же, а регентом. Голос у него, как у Шаляпина, пел он, пел, понимаете?

— Шаляпин, между прочим, эмигрант, — заметила Нина.

— Я к примеру, — успокаиваясь, объяснил Сашка.
— Научись выбирать примеры, — сказал Давка. —
Но, замечу, Шаляпин в церковь не пошел.

— Шаляпин учился петь, а моему отцу не на что было учиться. Он шестой сын в семье. В бедняцкой, между прочим.

— Мы что, Шаляпина обсуждаем? — вроде бы в никуда, незаинтересованно спросил Алексей.

— Нет, конечно, — Семенов был абсолютно серьезен. — Шаляпин тут ни при чем. Более того, твоего отца, Тарасов, мы тоже обсуждать не собираемся. Нас интересует странное поведение комсомольца Тарасова.

— Дети не отвечают за грехи родителей, — тихо сказала молчаливая до сих пор Оля.

— Верно, — согласился секретарь. — Но комсомолец не имеет права на ложь. Что ты написал в анкете, Тарасов? Что ты написал про отца? Что он был крестьянином?

— Я имел в виду вообще сословие.

— Во-первых, революция отменила сословия, во-вторых, он был церковнослужителем. Да, дети не отвечают за грехи отцов, и если б ты, Тарасов, написал правду, мы бы сейчас не сидели здесь...

— И я бы тоже, — не без горечи перебил Сашка. — Черта с два меня приняли б в институт...

— Значит, ты сознательно пошел на обман?.. Грустно, Тарасов. Грустно, что комсомол узнает правду о своем товарище из третьих рук.

— Из чьих? — спросила Оля.

— Письмо было без подписи, но мы все проверили. Да и сам Тарасов, как видите, не отрицает... Я думаю, Нина права: нечего резину тянуть. Предлагаю исключить Тарасова из комсомола. Какие будут мнения?

— Я за, — сказал Любицкий.

— Я тоже, — подтвердила Нина.

— Может, лучше выговор? — робко вставила Оля. —
С занесением...

— Мягкотело мыслишь, Панова, — сказал Любичкий.

— А ты безграмотен, — вспыхнула Оля. — Мягкотело мыслить нельзя.

— Мы на бюро, а не на семинаре по языку, — одернул их строгий Семенов. — Панова воздерживается, так и запишем. А ты, Алексей, почему молчишь? Ты, кажется, жил вместе с Тарасовым. Он говорил тебе об отце?

— Нет, — чуть помедлив, сказал Алексей, — он мне ничего не говорил об отце.

— Твое мнение?

— Мое? — Алексей взглянул на Олю: в ее глазах явственно читалась какая-то просьба, но Алексей не понял, какая: он не умел читать по глазам. — Как большинство: исключить.

— Ну, здесь ты, конечно, не останешься, — сказал черт.

И погас свет, и снова вспыхнул.

Алексей, сдвинув локти и прикрыв перчатками лицо, передвигался вдоль канатов. Пашка не пускал его, Пашка бил непрерывно, с отчаянной яростью, и хотя удары приходились в перчатки, они были достаточно тяжелы. Дыхалка у него лучше, твердо помнил Алексей. Но ведь не двужильный же он, выдохнется когда-нибудь — работает, как паровой молот, лупит и лупит. Да только зря, впустую. Алексей прочно держал защиту, а сам п а с противника, все улучал момент для прицельного апперкота.

— Леха, работай! — заорал кто-то из зала.

Алексей, услышав крики, невольно расслабился и тут же пропустил крепкий удар по корпусу. Пашка прижимал его в угол, рассчитывая войти в ближний бой, но Алексей, обозлившись на себя, сильно ударил правой

раз, другой — пусть тоже в перчатки, но все-таки заставил Пашку на мгновение уйти в глухую защиту, а сам ужом скользнул мимо, вырвался в центр ринга, на оперативный простор. Здесь он себя куда свободнее чувствовал, здесь он — со своими-то рычагами — имел чистое преимущество в маневре. И тут же использовал его, словив Пашку на развороте двумя прямыми в голову. Так держать, Леха!

И в это время раздался гонг. Первый раунд закончился.

Минута передышки не повредит, с облегчением подумала невесомая душа Алексея Ивановича, лавируя, не исключено, в поясе астероидов, ныряя, быть может, в кольцо Сатурна, вырываясь, наконец, в открытый космос.

Но никакой передышки черт не позволил, а сразу воссоздал начальственный большой кабинет и некое Лицо за массивным письменным столом. Безбрежный стол этот был покрыт зеленым бильiardным сукном, и Алексей, скромно сидевший около, невольно подумал, что, если приделать лузы, на столе вполне можно гонять шары, играть в «американку» или в «пирамидку». Но так он, Алексей, мог только подумать, а сказать вслух ничего не мог, поскольку на сукне лежала толстая рукопись его предполагаемой книги, а Лицо, уложив пухлую длань на рукопись, стучало по ней пальцами и отечески приговаривало:

— Неплохо, молодой человек, совсем неплохо, и у товарищей такое же мнение. Будем издавать вне всяких планов.

— Спасибо, — вежливо сказал Алексей и скромно отпил крепкого чайку из стакана в подстаканнике, стоявшего не на главном столе, а на второстепенном, малень-

ком, уткнувшемся в необъятное и темное пузо большого, как теленок в корову.

— Вам спасибо, — усмехнулось Лицо. — Мы должны работать с теми, кто идет нам на смену... Да, кстати, а кто идет нам на смену?

— Кто? — спросил Алексей, потому что не знал, как ответить на довольно странный вопрос.

И в самом деле: кто идет? Он, Алексей, и идет...

— Я вас спрашиваю, Алеша, вас. Вы же лучше знаете своих ровесников... Кто еще, по-вашему, сочетает в себе... э-э... дар, как говорится, божий с идеологической, отметим, и нравственной зрелостью?

Кто еще — это значит: кто, кроме Алексея. А кто кроме?

— Не знаю, — пожал плечами Алексей. — Разве что Семенов.

— Семенов — это ясно, — с легким нетерпением согласилось Лицо. — О Семенове речи нет, его новая пьеса выдвинута на премию. Да он не так уж и молод: за тридцать, кажется?.. А из молодых, из молодых?

Алексей напряженно думал: кого назвать?

— Оля Панова хорошие рассказы пишет.

Невесть почему черт оборвал эпизод на полуфразе, не дал договорить, додумать, попасть в «яблочко».

Алексей сидел на табуретке в углу ринга, тренер протирал ему лицо мокрой губкой, выжимал воду в стоящее рядом ведро.

— Раскрываешься, парень, — сердито говорил тренер, — даешь бить. Не уходи с центра, не позволяй прижимать себя к канатам. Раунд ничейный, но симпатии судей на стороне Талызина: он хоть и впустую, но все-таки работает. А ты выжидаешь, бережешься. Надо на-

ступать. Щупай его левой, заставь самого раскрыться, навяжи свою тактику.

— Я же поймал его пару раз, — обиженно сказал Алексей.

— Мало, — рывкнул тренер. — Иди в атаку, бей первым. Он не выдержит, сорвется, начнет молотить, тут ты его и уложишь. У него дыхалка лучше, а у тебя удар правой...

Гонг!

— В атаку! — тренер нырнул за канаты.

И Алексей вновь очутился возле стола-коровы.

— Панова... — Лицо чуть заметно поморщилось. — Хорошие рассказы — этого, Алеша, мало. Хорошие рассказы нынче пишут многие. Спросите у моих работников: у них от рукописей шкафы ломятся. Если так и дальше пойдет, через полвека у нас каждый третий в литературу подается. А Союз писателей, как известно, не резиновый... Нет, я интересуюсь по большому счету.

Что ж, Лицо само подсказывало ответ.

— Если по большому — никого, — твердо заявил Алексей.

— Жаль, — сказала Лицо, но никакой жалости в его голосе почему-то не ощущалось. — А что вы думаете насчет Любичкого?

— Не писатель. Администратор, организатор — это да. Это он может.

— Толковые администраторы — народ полезный. Я вот тоже администратор, — легко засмеялось Лицо. — В литературу не рвусь, но литература без меня... — он развел руками, не договорив. — Похоже, вы разбираетесь в людях, Алеша, это отрадно. Вашу книгу мы издадим быстро, но почивать на лаврах не советую. Какие у вас замыслы?

— Все пока в чернильнице, — на всякий случай расплывчато ответил Алексей.

— Нам нужна крепкая повесть о металлургах. А лучше бы — роман. Махните-ка на Урал, Алеша, на передний край. Поваритесь там, поживите настоящей жизнью, а потом уж — к чернильнице. Идет?

— А как вы думаете, я справлюсь? — вопрос был снайперски точен, потому что Лицо немедленно расплылось в доброй улыбке.

— Справитесь, справитесь. Кому, как не вам, подымать большие пласты? А за нами, администраторами, дело не станет, мы вам зеленую улицу откроем. В добрый путь, Алеша, командировку я вам уже подписал. Заранее, на месяц. Верил, что согласитесь, и вы меня не подвели.

— Не подвел? — спросил черт откуда-то из-за Юпитера.

Алексей Иванович не ответил. Душе его было зябко в дальних космических просторах, пустовато и одиноко. Мимо пронеслась ракета, похожая на церковь Вознесения в Коломенском. Душа рванулась было следом, но где там — ракета удалялась в пустоту с субсветовой скоростью.

А на ринге дела шли вполне прилично.

Алексей внял советам тренера, не давал Пашке продохнуть. Держал его на дистанции, гонял левой, а Пашка злился и терял бдительность: Алексей уже провел отличную серию по корпусу, два точных прямых в голову и, в общем-то, совсем не устал. А Пашка, напротив, сопел, как паровоз, — вот вам и хваленая дыхалка!

Перемещаясь по рингу, Алексей уловил летучую реплику, которую бросил Пашке его тренер:

— Береги брови!

Выходит, у Пашки с л а б ы е брови?.. Алексей не знал об этом.

— Махнем на Урал? — поинтересовался неугомонный черт, который, в отличие от души Алексея Ивановича, превосходно чувствовал себя в безвоздушном пространстве, хотя и оставался невидимым. — Или пропустим месяц? Чего там интересного: железки всякие, холодрыга, сортир на дворе.

— А люди? — попробовал сопротивляться бессмертная душа.

— Люди везде одинаковы. И потом: ты же о них написал, чего зря повторяться. А я тебе других людей покажу, верных товарищей по оружию, по перу то есть...

Верные товарищи по оружию сидели в прохладном зале ресторана «Савой», пили белое сухое вино «Цинандали» и вкушали толстых карпов, поджаренных в свежей сметанке, мясистых рыбонек, хрустящих и костистых. Иные карпы, еще не ведавшие савойских сковородок, лениво плавали в бассейне посреди зала, тыкались носами в стенки, а спорые официанты ловили их сачками и волокли в кухню.

Алексей рыбу есть не умел, мучился с костями, боялся их, осторожно ковырял карпа вилкой, портил еду.

— Как на Урале? — спросил его лауреат Семенов.

— Жизнь, — Алексей был солидно лаконичен. — Мы здесь плаваем в садке, как эти карпы, — он кивнул на бассейн, — а там люди дело делают.

— Позавидовал? — Любицкий отпил из бокала вина, промокнул пухлые губы крахмальной салфеткой. — Что ж не остался? Возглавил бы тамошнюю писательскую организацию.

— Он здесь нужнее, — веско сказал Семенов.

— Мы нужнее там, где лучше кормят, — засмеялся Давка.

— Циник ты, Любицкий, — сказал Алексей, беззлобно, впрочем.

— На том стоим. А тебе, я смотрю, карпушка не по вкусу? Извини, омаров не завезли, устриц тоже.

— Мне по вкусу жареная картошка с салом. Едал?

— Были времена. Отвык, знаешь... А ты что, гонорар за роман решил на картошку бухнуть? Не много ль корнеплодов получится?

— Я его еще не написал, роман.

— Напишешь, куда денешься. Общественность ждет не дождется.

— Это ты общественность?

— Он ее полномочный представитель, — строгий Семенов позволил себе улыбнуться. — В большие люди спешит не сворачивая. Изда-тель!

— Не преувеличивай, Владик. Вы — творцы, а мы — всего лишь администраторы, следим, чтоб творческий процесс не заглох.

— Что-то подобное я уже слышал, — сказал Алексей.

— Может быть, может быть, на оригинальность не претендую. Да, о процессе. Оля Панова рукопись в издательство принесла: рассказы, повестушка какая-то... Возьми, глянь. Шеф с твоим мнением считается...

— Нет времени, — быстро ответил Алексей. — С романом надо кончать, сроки поджимают.

И кошкой по рингу, бросая тело то вправо, то влево, завлекая противника, ведя его за собой, пробивая точными ударами его защиту, но пока не сильными, не мертвыми, и все не упуская из поля зрения белесые редкие Пашкины брови, которые тот явно бдительно охранял...

— Что ты привязался к этому бою? — раздраженно спросила душа Алексея Ивановича. — Не лучший он вовсе в моей спортивной биографии, были и поинтереснее.

— Не исключаю, не исключаю, — согласился черт. — Но мне он нравится, я в нем вижу некий сюжет. Коли умел бы, рассказ сочинил, а то и повесть. Но бог талантом обидел, с богом у меня, ты знаешь, отношения напряженные.

Лена вышла в другую комнату — марафет, видать, навести, что-то там у нее в прическе разладилось или с ресницами обнаружился непорядок, — и Семенов с Алексеем остались на время одни.

— Выпьешь? — спросил Семенов.

— Вряд ли, — сказал Алексей.

— Бережешь здоровье? — спросил Семенов.

— Ленка не любит, когда пахнет, — сказал Алексей.

— Идешь на поводу? — спросил Семенов.

— Примитивно мыслишь, лауреат, — сказал Алексей. — Записывай афоризм: никогда не будь неприятным тем, кому хочешь нравиться. Особенно в мелочах быта. Тем более что это не требует больших усилий.

— Ты хочешь ей нравиться?

— Я ей уже нравлюсь.

— Где ты ее подобрал?

— Буквально на улице. Иду я, навстречу она. И так далее, вопрос техники.

— Завидую, — мечтательно сказал Семенов. — Для меня познакомиться с женщиной — мука мученическая. Поверишь, язык прилипает...

— Вот не сказал бы! Ты же сейчас болтал как заведенный. Весь вечер на арене...

— Это я на нервной почве.

— Ты и нервы? Прости, друг Семенов, не верю. У тебя вместо сердца пламенный мотор... Да, кстати, а ты ей показался.

— Считаешь?

— Уже сосчитал.

Семенов налил себе коньяк, примерился было выпить, но вдруг поставил рюмку на стол, бросил в рот маслину, зажевал невыпитое. Сказал просительно:

— Лешка, подари мне ее.

Алексей вытряхнул из пачки папиросу, помял ее, подул в мундштук, чиркнул спичкой. Долго смотрел, как струйка дыма тянется вверх, к желтому квадратному, размером в целый стол, абажуру.

Семенов ждал.

— Она не вещь, лауреат, — наконец медленно проговорил Алексей, по-прежнему глядя на действующий папиросный вулканчик, — даже не сюжет для рассказа... Допустим, уйду я сейчас, оставлю вас одних, а у тебя язык опять кое-куда прилипнет.

— Не прилипнет, — яростно сказал Семенов. — Точно знаю!

— Ишь ты, знает он... Все не так просто, Семенов, надо учитывать массу факторов. Например, такой: а что я буду делать один?

— Леха, не пудри мне мозги. У тебя таких Ленок...

— Но мне она тоже нужна, Семенов, вот ведь какая штука. А ты мне предлагаешь куковать у разбитого корыта.

— Я тебе справлю новое.

— В каком смысле?

— В переносном.

— Не понял.

— Ты издал отличный роман, Алексей.

— Тебе так кажется?

— Я в этом уверен. И, надеюсь, не только я.

— Спасибо за доброе слово, лауреат, оно, как известно, и кошке приятно... — ткнул недокуренную папиросу в яшмовую пепельницу, встал, намеренно лениво потянулся. — А мне, пожалуй, и вправду пора. Устал я что-то. Позвать Ленку?

— Не надо, — быстро проговорил Семенов. — Я скажу ей, что тебя срочно вызвали в Союз писателей.

— Она не поверит, но это — ваши проблемы... Ладно, Владик, пока, удачи тебе.

И тихонько, тихонько, чуть ли не на цыпочках — по длинному коридору неуютно-огромной квартиры Семенова, аккуратно, без стука прикрыл за собой дверь.

А Пашка Талызин ухитрился врезать Алексею, смачно шлепнуть его по скуле — да так, что поплыл Алексей, судья на ринге даже счет начал. Но Алексей в панику не впадал, слушал неторопливые: «Один... два... три...», умно пользовался неожиданной, хотя и неприятной передышкой, отдыхал, а на счете «восемь» встряхнулся, принял боевую стойку.

Судья крикнул:

— Бокс!

И Алексей с удвоенной яростью двинул на Пашку, заработавшего на нечаянном нокдауне паршивое очко, провел серию по корпусу и, не думая о дешевом джентльменстве, ударил правой в бровь противника, точно попал и сильно.

И тут раздался гонг: второй раунд закончился.

Алексей отправился в свой угол, а краем глаза заметил: Пашка шел к себе, прижав бровь перчаткой.

— Этот самый моментик мне больше всего и люб, — с садистским удовольствием сказал черт.

Где сейчас странствовала душа Алексея Ивановича? Похоже, она уже выбралась за пределы Солнечной системы, похоже, неслась она прямым ходом к Альфе Эридана или к Бете Тукана, а может, к Тау Кита она шпарила, пожирая уму непостижимые парсеки, поскольку фантасты допускают наличие разума именно в Тау Кита.

Но парсеки парсеками, а вопрос проклюнулся сам собой:

— Чем же он тебе так люб, моментик этот?

— Контрапункт боя, — немедленно ответил черт. — Переход на иной — космический! — уровень нравственности, какой, к слову, существует в планетной системе Тау Кита.

— Разве там есть жизнь? — заинтересовалась душа Алексея Ивановича.

— Смотря что считать жизнью, — философски озадачился черт. — Одни живут так, другие эдак, а третьи вовсе наоборот, не говоря уже о пятых или тридцать вторых. И каждый считает свою жизнь единственно верной, и каждый по-своему прав, уж поверь мне, я знаю, я всякого навидался. А мы живем дальше, старик!..

Ах, каким счастливым, каким радостным, каким ярким было утро воскресного дня! Газетный киоск у дома открывался в семь утра. Алексей, по пояс высунувшись в окно, смотрел на улицу, видел, как собирается небольшая очередь у киоска, как ждут люди, пока киоскер примет газеты и откроет ставенку, а когда первые покупатели отошли, разворачивая на ходу утренние номера, Алексей пулей выскочил из квартиры, рванул вниз по лестнице, живо пристроился в хвост очереди. Он знал, что сегодня опубликовано, но хотел сам, своими глазами увидеть то, о чем ему накануне под ба-альшим секретом сообщили ба-альшие люди.

Купил газету, не разворачивая, сдерживая нетерпение, вышел на Тверской бульвар, уселся на первую лавочку и только тогда глянул. Вот оно! Все точно! Свершилось: он — лауреат! Пусть третьей степени, но все же, все же! Не зря ездил на Урал, не зря мерз в дырявом бараке, жрал прогорклые макароны, не зря заполнял дешевые блокноты километрами записей, не зря

полгода не вставал из-за стола, свинчивая, склеивая, спаивая громоздкую конструкцию романа. Он не стал ему близким, этот роман, не стал плотью его и кровью, но сколько сил он в него вложил! И ведь получилось, все о том говорят! А теперь — премия...

— Читали? — вывел его из оцепенения чей-то голос.

— Что? — глянул тупо: рядом сидел высокий худой старик в длиннополном пальто, в жесткой шляпе, даже в пенсне — ну, прямо чеховский персонаж.

— Списочек, — старик ткнул в газету желтым янтарным пальцем.

— Да, просмотрел.

— А роман этот?

И само сказалось:

— Не пришлось. А вы?

— Простудировал, как же. Советую полистать: характерная вещица.

— Характерная — это как?

— Для нашего времени. Время у нас быстрое, громкое. Спешим жить. И писать спешим. Вернее, описать время.

— Плохой, что ли, роман?

— Не плохой, а характерный. Нужный сегодня.

— А завтра?

— Завтра другой нужен будет... Да вы не сомневайтесь, прочтите. Если б не нужен был, премию не дали бы, — он встал, приподнял шляпу. — Честь имею, — и удалился в аллею. Не ушел, а именно удалился.

— Что же ты делаешь, черт? — возмутилась душа Алексея Ивановича. — Не было такого разговора.

— Ты просто забыл, — нахально соврал черт.

— Ничего я не забыл. Отлично помню то утро. Я купил газету и вернулся домой, а через полчаса приехал Семенов с Леной, шампанское пили. Хорошее шампанское, брют... Передергиваешь, чертяка, сочиняешь.

И главное — плохо. Весь эпизод — чистой воды литературщина, фальшивка. Старика какого-то выдумал, сконструировал, чеховского...

— Тебе, выходит, можно конструировать, а мне нет? — защищался черт.

— Тебе нет. Обещал экскурсию в реальное прошлое — выполняй.

— Ладно, будет тебе реальное.

И все-таки устал Алексей, устал, как ни хорохорился. Сидел, расслабившись, в углу на табуретке, ловил раскрытым ртом теплый, прогретый прожекторами воздух, который гнал на него тренер, размахивая полотенцем, как веером. Он что-то говорил, тренер, но Алексей слушал и не слышал слов. Они наверняка всплывут в памяти потом, все эти правильные слова, когда главный судья стукнет молоточком по медной тарелке гонга...

Был зал, до отказа набитый собратями по перу. Алексей впервые в жизни смотрел на них сверху, из президиума, сидел там скромненько, во втором ряду с краю, внимал докладчику. А тот, среди прочего, витийствовал вот про что:

— ...В последние годы в литературу приходит талантливая молодежь, которая умеет сочетать в творчестве остроту взгляда, глубину мысли, умение видеть главное в нашей стремительной действительности и не заслонять его второстепенными деталями, не засорять подробностями быта, а подниматься над ним. Возьмем, к примеру... — тут он назвал фамилию Алексея, поискал его глазами, нашел в президиуме и удовлетворенно продолжил: — Читатели заметили еще первую его книгу — чистую, светлую, проникнутую доброй и нежной доверительностью, хотя и не во всем свободную от субъективизма. В новом своем романе молодой писатель, несомненно, шагнул вперед, ушел от частного к общему. Он

воссоздает картину жизни мазками крупными, сочными. Поскольку я прибегнул к параллелям с живописью, то сравнил бы автора с художником-монументалистом, замахнувшимся на поистине эпическое полотно. Не случайно роман так высоко отмечен... Две эти книги, столь разные по творческим приемам, позволяют предположить, что автор далеко не исчерпал собственные возможности, что впереди у него — большие свершения. Однако должен посоветовать писателю держаться того пути, который он открыл своим романом...

Это мы еще посмотрим, подумал Алексей, весьма, впрочем, довольный услышанным, это мы сами разберемся, какого пути держаться.

— Теперь правильно? — спросил черт.

— Что значит правильно? — возразила душа Алексея Ивановича. — Так и было, ты не соврал.

— Тогда продолжим...

В перерыве толклись у буфетной стойки, пили пиво, закусывали бутербродами с икрой, с розовой матовой семужкой, со свежей ветчинкой. Впереди ожидалось прения по докладу, стоило подкрепить угасшие силы.

Алексей взял бутылку боржоми и пару бутербродов. Пока пробирался к столу, откуда махал ему Давка Любицкий, заначивший от общественности свободный стул, пока лавировал между жующими собратями, получал поздравления.

— Имениннику...

— С тебя причитается...

— Алеша, дай я тебя чмокну...

И раскланиваясь, улыбаясь, уворачиваясь от объятий — к Давке, к Давке, ох, добрался, наконец!

— Охолонись, герой, — сказал Любицкий. — Чего пивка не взял?

— Мне выступать.

— Хорошо прешь, — завистливо причмокнул Давид. — Большому кораблю, как говорится... Кстати, а что сей сон значит: роман написан крупными мазками? Не понял по сарказму: похвалил он тебя или куснул?

— Почему куснул? — ошетинился Алексей.

— По нему что выходит? Раньше ты творил тонкой кисточкой, все детали прописывал, а теперь за малярную взялся.

— Дурак ты, Любичский! Ссориться с тобой не хочется, а то врезал бы по физиономии.

— Не надо, — быстро сказал Любичский. — Сам дурак, шуток не понимаешь.

— В каждой шутке есть доля правды.

— В каждой шутке есть доля шутки, — засмеялся Давид. — Ты на меня не злился, а лучше на ус намотай. Я ведь не зря про кисти сказал. Думаешь, у тебя врагов нет? Вагон и маленькая тележка. И все они в одну дуду дудеть станут. Примерно так, как я схохмил. Только я всего лишь схохмил, а им, брат, не до шуток. Им, брат, твое лауреатство — кость в горле. Но ты не бойсь, не тушуйся: у них одна дуда, а у нас — ого-го сколько. Мы их передудим. Лопай бутерброды, ветчинка здесь — пальчики оближешь...

— Хорошо строится? — спросил черт.

— Что?

— Музей.

Душа Алексея Ивановича не ответила. Она неслась туда, где разрасталась внезапно и сразу возникшая вспышка — нестерпимо-яркая, ослепительно-белая. Должно быть, чье-то старое солнце превратилось наконец в огнедышащую сверхновую звезду, и миновать ее душе Алексея Ивановича никак было нельзя.

И когда раздался звук гонга, Алексей — как и предполагал! — ясно вспомнил все, что говорил тренер:

— Так держать, парены! Врезал ему и не мучайся. И дальше бровь лови, она у него на соплях. Запомни одно: шесть минут позади, три осталось. Всего девять. И все эти девять минут Талызин — твой враг. В жизни ты с ним можешь быть не разлей вода, а на девять минут — все побоку. Бей и не промахивайся... Хотя эти девять минут, похоже, и есть жизнь. Так я считаю... Давай, парень, второй раунд — твой, не проморгай третий.

— Что там такое, черт? — душе Алексея Ивановича было страшно: она мчалась прямо в жаркий сияющий сгусток, который увеличивался, рос, заполняя собой все пространство впереди.

— Такое время, старик, горячее время, смотри, не обожгись.

— Ты имеешь в виду... — начала было душа, но черт не дал досказать, произнес официально-холодной скороговоркой профессионального экскурсовода:

— Переходим в следующий зал, товарищи, быстрее, быстрее, не задерживайтесь в дверях.

На поляне паслась лошадь. Не тонконогая, поджарая — из-под седла, а тяжелая, с толстыми бабками и провисшим животом, привыкшая к телеге, к неторопливой ходьбе по бездорожью. Алексей достал из кармана галифе сухую черную корочку, протянул ее рабочей коняжке. Она ткнулась в ладонь мягкими теплыми губами, жевала хлеб, косила на Алексея черным, удлиненным, как у восточной красавицы, глазом.

— Вкусно? — спросил Алексей.

— Вкусно, — ответила лошадь.

То есть, конечно, никакая не лошадь — что за нена-

учный бред! — а вышедшая из леса девушка. Она была юной, рыжей, коротко стриженной, в ситцевом довоенном платье — синие цветочки на голубом фоне, и почему-то — вот уж ни к селу ни к городу! — в кирзовых сапогах.

— Вы чревовещатель? — Алексей, признаться, несколько оторопел от неожиданного явления.

— Нет, я Нина, медсестра, — девушка с откровенным, детским каким-то любопытством разглядывала незнакомца. — А это вас вчера встречали?

— Сегодня, — уточнил Алексей. — Самолет пришел в час тридцать две ночи. И встречали не столько меня, сколько почти и прочее... Вы получили письмо?

— Мне никто не пишет. Мама в эвакуации, а папа в действующей, на фронте. Они не знают, где я.

— Это тайна?

— Ну, какая тайна! Просто я сама не знаю, где они. Командир послал запрос, но ответа пока нет. Может, со следующим самолетом будет... А вы корреспондент?

— Так точно.

— Будете писать о нашем отряде?

— Если получится.

— А я вас читала. Вашу повесть в «Новом мире».

— Это бывает, — сказал Алексей. Ему почему-то не хотелось говорить о повести, выслушивать дежурные комплименты, а хотелось поболтать о пустом, о мирном, хотелось легкого довоенного трепка, хотелось на время забыть о своей журналистской профессии, тем более что не ожидал он встретить в отряде девушку в ситцевом платье и с веснушками на пол-лица. — Что вы делаете сегодня вечером? Я хочу пригласить вас в городской парк покатать на колесе обозрения, угостить пломбиром и петушками на палочке.

— Я давно совершеннолетняя, — засмеялась Нина. — Вы можете заменить петушков шампанским, только

сладким, пожалуйста, и покатаь на лодке. И чур не целоваться.

— Почему? — удивился Алексей. — Вы же давно совершеннолетняя... Кстати, как давно?

— Мне уже двадцать один, — серьезно сказала Нина. — Старая, да?

— Ужасно, — подтвердил Алексей, — прямо долгожительница. Нет, правда, что вы делаете сегодня вечером?

— А что вы делаете сегодня вечером? Не знаете, товарищ корреспондент? И я не знаю. До вечера — целая вечность...

Лошадь вдруг перестала хрустеть травой, подняла голову и прислушалась. На поляну выбежал молодой парень, голый по пояс, загорелый и злой.

— Вот ты где, Нинка! Ору тебе, ору... Пошли скорей, Яков Ильич зовет. Там Васильца принесли, подшибли его... — И зверовато глянув на Алексея, развернулся и скрылся в лесу.

— Я побежала, — сказала Нина. — Вот видите, до вечера еще ой сколько!.. Но вы все-таки купите шампанское и поставьте его в погреб. Купите-купите, не пропадет.

— Вот тебе и раз, — разнеженно произнес Алексей, обнимая лошадь, глядя ее, прижимая к себе ее морду. Лошади ласки не нравились, она тряхнула головой, вырвалась, отступила: — Называется: приехал к партизанам...

— Черт, черт, где ты? — крикнула душа Алексея Ивановича на весь открытый космос.

— Ну, здесь я, слышу, чего орешь!

— Остановись, мгновенье...

— Погоди, — быстро прервал цитату черт, — не гони картину. Я понимаю: воспоминания нахлынули, сопли распустил... Но остановить мгновенье пока не в силах:

сверхновая еще не погасла. Вот погаснет, тогда можем вернуться назад, прямо на эту полянку, к кобыле... Да только зачем? Вечером ты уйдешь на операцию вместе с головной группой отряда, вернешься через три дня, ночью, к самолету. И ту-ту — в столицу. Нину не увидишь...

— Я же потом опять прилетел, через месяц.

— Верно, прилетел. Наврал начальству, что повесть задумал.

— Почему наврал? Задумал. И написал.

— Когда это будет? Через два года. А тогда ты не о повести размышлял, а о девке с веснушками, кобель несчастный!.. Шампанское хоть достал?

— Достал. Любицкий две бутылки приволок, прямо на аэродром.

— Куртуазным ты был, старик, сил нет. Чистый этот... как его... Жюль Верн.

— Дон Жуан, черт.

— Точно, он. Нелады у меня с литературой, путаю все, зря я с тобой, с писателем, связался. Но поздно, поздно. Самолет на старте, пилот в кабине, моторы крутятся. Взлет разрешаю!..

— Извините за опоздание, Нина, но честное слово, оно не по моей вине. Война, — Алексей достал из вещмешка шампанское, поставил бутылки на невысокий, грубо сколоченный стол. — Вот, как обещал...

— Неужели из Москвы? — ахнула Нина, осторожно взяла бутылку в руки, посмотрела на черную этикетку. — Сладкое... Не забыли...

Они сидели в тесной землянке «для гостей», которую командир отряда выделил Алексею, узнал, что корреспондент повесть задумал, что не налетом в отряде. В прошлый раз, к слову, Алексей жил в общей землянке, где, кроме него, храпело человек пять, а теперь — один, королем.

— А вот бокалов нет, — огорченно сказал Алексей. — Придется из кружек... Сейчас вечер. Надеюсь, вы никуда не спешите?

— Никуда.

На Нине было то же самое платье, что и тогда, на поляне, стираное, видать, перестираное, но аккуратное, даже нарядное. И не сапоги на ногах, а туфли-лодочки, такие непривычные, неуместные здесь, в этой темной и низкой норе в два наката, освещаемой тусклой однолинейной керосиновой лампой с надтреснутым стеклом. Да и Нина, чудилось Алексею, была вовсе не отсюда, не из войны...

Алексей снял с бутылки фольгу.

— Как открывать? С бабахом или без?

— Не надо с бабахом. Как тихо кругом, слышите? Тишина стояла лесная, летняя, настоящая на хвое и на смоле, обыкновенная мирная тишина.

— За вас, Нина, — сказал Алексей и поднял кружку.

— Лучше за вас. Вы все-таки гость.

— Тогда за нас. За нас двоих. Можем мы выпить за нас двоих или нет?

— Можем, — улыбнулась Нина. — Наверное, даже должны.

Свет от фитиля лампы дрожал на бревенчатом потолке, то уменьшался желтый неровный круг, то увеличивался, а после и совсем погас.

— Остановись, мгновенье... — повторила душа.

— Рано, старик, — грустно ответил черт, — сверхновой еще пылать и пылать...

И, кроме тишины, была темнота.

— Зачем ты появился? — спросила Нина.

— За тобой, — сказал Алексей.

— Командир говорил, будто ты прилетел за материалом для книги...

— За тобой, — повторил Алексей.

— Пусть это будет правдой.

— Это правда.

— Но ведь война...

— Никакой войны нет!

— Зачем ты соврал, старик? — непривычно тихо спросил черт.

— Я не соврал, — воспротивилась душа Алексея Ивановича. — Войны не было! Только Нина и я, Нина и я! Почти месяц!..

— А потом ты улетел в Москву.

— Чтобы вернуться вновь!

— Лучше бы ты не возвращался, старик...

— Пристегнитесь, товарищ писатель, — сказал Алексею радист, выходя из кабины. — Сейчас посадка.

— Спокойно долетели, — ответил Алексей, нашаривая за спиной брезентовый пояс.

— Еще сесть надо, — философски заметил радист. — А что, товарищ писатель, ребята болтают, будто у вас в отряде невеста? Верно или треп?

— Верно, радист.

— Забрали бы вы ее в Москву.

— Забрал бы, да она не хочет.

— Ишь ты! — удивился радист. — Не женское это дело — война.

— Война не спрашивает, где чье дело.

— Справедливо... Ну, счастья вам тогда, — и ушел в кабину.

Алексей смотрел в иллюминатор. В черноте ночи возникла мелкая цепочка огней — костры на взлетно-посадочной полосе. Старенький ЛИ-2 нырнул вниз по

крутой глиссаде, жестко ткнулся шасси о землю, подпрыгнул, дав «козла», и покатился. На Алексея свалился мешок с чем-то мягким, к ногам подъехал, уперся в сапоги какой-то ящик. Самолет встал.

Из кабины вышли летчики. Штурман спросил:

— Целы?

— Вроде бы, — усмехнулся Алексей, выбираясь из-под мешка. — С благополучным прибытием.

— И вас также.

Радист открыл дверь, и в самолет ворвался холодный осенний воздух. Алексей прыгнул на землю и сразу попал в объятия комиссара отряда. Тот молча и долго мял Алексея, тискал, Алексей ответно хлопал его по спине, вырвался наконец, спросил:

— Нина с вами?

Комиссар не ответил, заорал на бойца, который волок на спине давешний ящик:

— Осторожнее! Не картошку тащишь... — и пошел к самолету.

Алексей цепко взял его за плечо.

— Стой! Нина где, спрашиваю.

Комиссар обернулся.

— Нина? — в глазах его плясали крохотные языки костров. — Нет Нины, Алеша.

— Как нет?!

— Убили Нину.

— Кто? — Алексей крикнул, не понимая даже, насколько бессмысленно звучит вопрос.

— В Белозерках. На операции. Перед самым уходом.

— Кто ее пустил на операцию? — Алексей схватил комиссара за отвороты кожанки, притянул к себе. — Кто разрешил?

— Она просила... — глухо сказал комиссар. — Мы не ждали засады, думали — без боя обойдется...

— Ты? — Алексей тряс комиссара, а тот не сопротивлялся, стоял покорно. — Ты разрешил?..

Комиссар молчал.

И тогда Алексей, почти не сознавая, что делает, ударил комиссара в лицо, и не в лицо даже, а в какое-то бело-красное пятно перед собой, потому что не видел ничего, будто ослеп на мгновение, и упал вместе с этим пятном, продолжая яростно наносить удары куда попало, во что-то мягкое, податливое, бессмысленно и страшно воя:

— Сво-о-олочи!..

— Брэк! — крикнул черт. — Совсем с ума сошел...

Алексей ничего не хотел замечать — только бровь Пашки, чуть припухлый бугорок над левым глазом, а Пашка пританцовывал, качая перчатки перед лицом — вверх-вниз, вверх-вниз, словно заманивая Алексея, словно говоря: попади, попади. Алексей не стремился ударить сильно: тут достаточно было только задеть перчаткой, скользнуть по коже, расцечь ее до крови. Пашка знал это и берег бровь, Пашка забыл о защите вообще, сосредоточился только на лице, и Алексей то и дело легко попадал по корпусу, набирая очки, а сам нетерпеливо выжидал, бил левой — раз хук, два, три: да опустит же он наконец руки!..

И дождался, поймал миг, молнией метнул вперед пружиненную правую, все-таки сильно попал в бровь. Пашка отпрыгнул, но поздно: из-под белесого волосаного газончика над глазом появилась тонкая струйка крови.

— Стоп! — сказал судья на ринге, знаком руки отсылая Алексея в его угол...

— Совсем с ума сошел, — ворчливо повторил черт. — Ты хоть думал, что делаешь, когда мутузил комиссара?

- Я ничего не соображал, ничего не помнил...
- Все ты соображал. Ведь не остался, нет? Улетел тем же самолетом?
- Меня втащили в него. Комиссар приказал...
- Ах, бедолага! Втащили его... А что потом было?
- Я хотел умереть.
- Какие страсти! — вскричал черт. — Мелодрама в чистом виде! Но ведь выжил, а, Фауст?
- Выжил, — эхом откликнулась душа Алексея Ивановича.
- Хотя вел ты себя, мягко говоря, очертя голову.

Танки шли медленно, неотвратно, почти невидные в снежной пыли — черные пятна в мутном белом ореоле.

— Они нас не замечают! — крикнул лейтенант. Лицо его было мокрым и грязным, на щеке запеклась кровь впережку с копотью. — Надо отступать!

— Куда? — тоже крикнул Алексей.

Он лежал в окопчике, вжавшись в снег, до рези в глазах всматриваясь в танки, которые шли поодаль и мимо, будто и вправду не ведая о присутствии здесь орудийного расчета.

— Назад, вон туда! — лейтенант ткнул пальцем в сторону леса, откуда вылетели в низкое небо две сигнальные ракеты, зависли, растаяли в воздухе.

— А орудие?

Убитая пулеметной очередью лошадь лежала поодаль, снег уже припорошил ее, около морды образовался небольшой сугробчик.

— На себе потащим?

— Вытянем, — кричал лейтенант, — оно легкое.

Он бросился к колесу, припал к нему плечом, пытался толкнуть, но у него ничего не вышло, и он мах-

нул рукой сержанту и узбеку-рядовому. Они рванулись на помощь командиру, но Алексей заорал жутко, хрипло:

— Стоять! — солдаты замерли, узбек упал на колени, уперся голыми руками в снег, намертво утоптаный у колеса пушки. — Отставить панику, лейтенант! Приказа отступать не было. Мы еще живы, лейтенант, и пока живы, отсюда не уйдем...

Не договорил. Один из танков развернул морду и попер прямо на них. До него было рукой подать — метров сто или чуть поболее.

— Заряжай! — приказал Алексей, сам схватил снаряд и понес его к орудию. Сержант выхватил снаряд, ловко вставил в казенник. — Прямой наводкой!..

Орудие гроыхнуло, дернулось, танк впереди заволкло дымом пополам со снегом, из этого бело-серого месива выплеснулся огненный сполох и снова исчез.

— Попал! — Алексей засмеялся. Солдат-узбек повернул к нему лицо, на котором тоже стыла улыбка. — Давай-давай, ребята!..

— Смотри, майор, — сержант указывал куда-то назад.

Алексей обернулся. По ложине к лесу бежал лейтенант.

— Ах, гад... — Алексей рванул из кобуры пистолет. Замерзшие пальцы слушались плохо, да еще и клейкий холод ТТ обжигал их. — Стой! — Лейтенант бежал, по колено проваливаясь в снег, падал, снова вставал. Алексей прицелился.

— Не надо, майор, — испуганно попросил сержант.

— Нет, надо!

Алексей поймал на мушку черную фигурку, негнущимся пальцем потянул спуск. Пистолет грохнул, казалось, громче пушки. Фигурка остановилась, замерла на мгновение и рухнула в снег. Алексей сунул пистолет в кобуру и шагнул к орудию.

— Что уставились? Тоже хотите?.. Заряжай, быстро!..

Еще один танк двинулся в их сторону.

— Ты даже ранен не был, ни тогда, ни после, — завистливо сказал черт.

— Везло, — откликнулась душа Алексея Ивановича.

— А сержанта убило.

— Мы с тем узбеком остались...

— Помнишь его фамилию?

— Не спросил.

— Зря. Мог бы и написать о нем.

— О других написал.

— Знаю. Целый том очерков. И ни одной повести.

— Есть одна.

— О любви. А на войне было много другого, о чем стоило написать.

— У меня не было другого, черт...

И снова возник кабинет, и огромный письменный стол, и портрет на стене, а за столом сидел Семенов — погрузневший, тронутый сединой. Увидел Алексея, вышел из-за стола, обнял приятеля. Постояли так, обнявшись, соблюли ритуал, разошлись. Семенов — на свое место, Алексей — напротив, в кожаное кресло, утонул в нем.

— Сколько не виделись? — спросил Семенов.

— С сорок второго. Давно, — усмехнулся Алексей.

— Чего улыбаешься? Постарел я?

— Да уж не помолодел.

— Зато ты у нас орел: высоко летаешь. Вон, полная грудь цацок...

— Цацки я заработал, — жестко сказал Алексей.

— Слышал. Читал. Знаю. — Семенов говорил, как

гвозди вбивал. — Ленка над твоей повестью полночи проревела.

— Какая Ленка?

— Жена. Ты что, забыл? Сам же нас познакомил...

— Забыл. — Алексей и в правду не вспомнил никакой Ленки.

— Увидишь — вспомнишь. Вечером у меня. Идет?

— До вечера дожить надо.

— Теперь доживешь, — засмеялся Семенов. — Ишь, фаталист выискался... Нет, правда, повесть — люкс. Я такого о войне не встречал.

— Она не о войне, — поправил Алексей.

— То есть? — удивился Семенов.

— Война — смерть, а повесть — о жизни.

— Действие-то на войне происходит.

— Жизнь везде, — отделался афоризмом Алексей, давая понять, что разговор ему неприятен.

Семенов понял.

— Может быть, может быть... — протянул он. — А все ж напишешь про войну?

— Вряд ли. Война закончена. Во всяком случае, для меня. Другие напишут, это точно, а я нет.

— Слушай, Леха, ты какой-то чумной, нездешний. Очнись! Сам говоришь: война закончена. Развейся, отвлекись, махни куда-нибудь. Хоть на Днепрогэс: его сейчас восстанавливают, размах работ огромный. Получится роман — в самую жилу будет. Стройка — это же твоя тема.

— А что, — сказал Алексей, — можно и махнуть. Не все ли равно?..

— Ты бы ни черта не написал, если бы не Настасья, — сказал черт.

— Наверно, так, — согласилась душа Алексея Ивановича.

Телефон звонил долго, кто-то настойчиво рвался поговорить. Алексею надоело терпеть, он сбросил с головы подушку, резко сел на диване, взял трубку.

— Ну?

— Не нукай, не повезу, — засмеялся в трубке Давка Любицкий. — Когда вернулся, Лешка?

— Вчера ночью.

— И до сих пор дрыхнешь?.. Взгляни на часы: полдень уже.

— Шутишь? — Алексей знал, который час, а вопрос задал так просто, механически, чтоб что-то сказать

— Ничуть, — Любицкий стал деловым и четким: — Вот что, герой. Сейчас ты встанешь, примешь душ, побреешься до скрипа, а через час мы к тебе приедем.

— Кто мы?

— Я с одним товарищем.

— С каким товарищем? Видеть никого не желаю! Хочешь, один приезжай.

— Один не могу. Сюрприз, — и брякнул трубкой.

— Псих ненормальный, — беззлобно сказал Алексей и пошел бриться.

Скреб жесткую щетинку золингеневским лезвием, рассматривал в зеркале свое намыленное отражение, думал о Давке. И карьерист он, и с принципами у него напряженно, нет их, принципов, и трепач изрядный, и попрыгунчик он, этаким отечественный Фигаро: то здесь, то там, всюду успевает, все про всех ведает, без мыла в одно место влезет — глазом не моргнешь... А вот врагов у него, похоже, нет. Недоброжелателей, настороженных — этих навалом, а откровенных врагов не нашёл. Сумел так. Про Семенова, к примеру, говорят: пройдет по трупам. Про него, про Алексея, тоже много чего любопытного сочиняется, слухи доходят. А Давка — чист, аки агнец. И ведь Алексей знал точно: равнодушный человек Давка, а вся его показная доброта — от скрупулезного расчета. Не человек — арифмометр «Феликс». И Алексея он однажды высчитал и с тех пор

опекает. Как может. А по нынешним временам может он немало... Что он сейчас придумал? Что за «товарища» ведет?

Пока добрился, постоял под душем, убрал комнату — гости и подоспели: брякнул у двери механический звонок. Алексей открыл дверь. На пороге — Давка с акушерским саквояжиком под мышкой, набит саквояжик так, что не застегивается, пивные бутылки оттуда выглядывают, торчит коричневая палка сухой колбасы. А чуть поодаль, на лестничной площадке, скромненько так — «товарищ». Прилично бы ахнуть вслух — ахнул бы Алексей: неземной красоты девушка, высокая, крупная, но стройная, коса через плечо переброшена — толстая, русая, до пояса аж. Стоит — улыбается. Не коса, вестимо, а девушка.

Алексей отступил на шаг, сказал:

— Прошу, — и не удержался, добавил. — Не ожидал.

— Как так не ожидал? — зачастил Давид, влетая в прихожую. — Я ж позвонил, предупредил... А-а, догадался! Ты небось решил, что я какого-нибудь хмыря тебе приведу — из начальников, так? Ну, серый, ну, недоумок! Я тебе Настасью привел, только ты стой, не падай, смотри на нее, радуйся... А этот бирюк, Настюха, он и есть знаменитый писатель, герой сражений, орденосец и лауреат. Полюби его, Настюха, не ошибешься.

— Попробую, — сказала Настасья.

— Что попробуете? — спросил Алексей, все еще малость ошарашенный неожиданным сюрпризом Давки.

— Полюбить, — вроде бы пошутила, подыграла Давиду, а в глазах — заметил Алексей — ни смешинки, серьезными глазами были, голубыми, глубокими.

— И получится? — Алексей упорно сворачивал на шутку, ерничал.

— А это как захотите.

— Уже захотел, — Алексей вел летучий разговор по

привычной колее легкого флирта. Как в древней игре: роза, роза, я тюльпан, люби меня, как я тебя...

А Настасья, похоже, древней игры не знала.

— Не спешите, Алексей Иванович, впереди — вечность.

И как ожог: военное лето, поляна в лесу, брошенное вскользь: «До вечера — целая вечность...»

— Как вы сказали?

Умный Давид мгновенно уловил какую-то напряженность вопроса, какой-то незапланированный перепад в настроении приятеля, вмешался, завохтал:

— Потом, потом, наговоритесь еще... А ты, Настюха, похозяйничай у холостяка, кухня у него большая, но бесполезная, плита небось ни разу не включалась, разве что чайник грел. А я тут отоварился, вон — полна коробочка, дары полей и огородов. Спроворь нам, Настюха, червяка заморить, — и сам потащил в кухню саквояжик.

Настасья следом пошла, на Алексея даже не взглянула.

А Давка через миг воротился, взял Алексея под ручку и увлек в комнату.

— Какова девица, а? Красота, кто понимает, а ведь ты, Алешка, понимаешь, ты у нас знаток.

— Кто такая?

— А-а, заело, зацепило! Так я и думал, на то и рассчитывал. Обыкновенная девица-красавица, девятнадцати весен от роду, родом — не поверишь! — из деревни, от сохи, так сказать, ягодами вскормленная, росой вспоенная.

— Погоди, не юродствуй. Я серьезно.

— А серьезно, Леха, все просто, как примус. Девка и вправду из деревни, из-под Ростова, какая-то дальняя родня жены, седьмая вода на киселе. Приехала поступать в педагогический, но провалилась. А ехать назад — ни в жилу. Что у них там в деревне — навоз да силос, женихов никаких. Вот она и нашла нас, дорогих род-

ственничков, попросила помочь. Очень ей, понимаешь, столица по нраву пришлась.

— Ну и помог бы сам. Чего ко мне притащил?

— Ты что, слепой? У тебя таких баб сроду не было.

— И не надо.

— Нет, надо! — голос у Давки стал жестким, начальственным. — Я тебе никогда ничего зря не советовал, все — в цвет. И сейчас скажу: оставь ее у себя.

— То есть как?

— Обыкновенно. Ей жить негде, а у тебя — квартира. За ней уход нужен. Да и за тобой тоже.

— В домработницы мне ее предлагаешь?

— Смотри в корень — в жены.

— С ума сошел!

— И не думал. Я, Леха, в людях мало-мало разбираюсь, этого ты у меня не отнимешь. Так поверь: она тебе не просто хорошей женой будет, она из тех, кто города берет, коней на скаку останавливает и рубли кой-кому дарит. Но города, как тебе известно из опыта, в одиночку не возьмешь. Нужна армия.

— Я-то при чем?

— Ты и есть армия.

— А она, выходит, командарм?

— Выходит. Вернее, штаб армии... Да не в том, Леха, дело. Женщина она — баба на все сто, одна на миллион, поверь чутью Любичского.

— Слушай, сват, ты забыл об одной маленькой штучке. О любви.

— Я о ней всегда помню, — в голосе Любичского вдруг появилась грусть, и Алексей невольно подумал о вечно больной жене приятеля, о двух дочках-школьницах, которых, по сути, воспитывала теща, кстати и о теще, которая терпела Давку лишь потому, что он умел зарабатывать. — Была б моя воля, сам бы женился. Да только я ей — тьфу, плюнуть и растереть. Она, Леха, дорогого стоит. И я ведь не только тебе, я и ей добра хочу...

— Ишь, доброхот... — сказал Алексей.

И еще что-то сказать хотел, но Настасья не дала. Вошла в комнату, спросила:

— Где стол накрывать?

— Где? — Алексей пожал плечами. — Я обычно в кухне завтракаю.

— В кухне, Алексей Иванович, — улыбнулась Настасья, — готовить полагается. А завтракать мы здесь станем...

Душа Алексея Ивановича, изрядно поплутав в космических далях, вдруг заметила, что каким-то хитрым зигзагом возвратилась в родную Солнечную систему. Вон Сатурн, кольцо на нем, как поля у шляпы. Вон Юпитер со своими спутниками, не исключено — искусственного происхождения. Вон летят, кувыркаясь, астероиды — обломки славной планеты Фаэтон, как считает писатель-фантаст Александр Казанцев. А вон и Земля показалась, голубенький шарик, а вокруг нее тоже спутники крутятся, эти уж точно искусственные, а вон и станция «Салют», на борту которой несут очередную космическую вахту героин-космонавты.

Неужто путешествие к концу близится?..

А черт откуда-то подслушал мыслишку про путешествие, заявил ворчливо:

— Хватит, налетался! Думаешь, легко мне на старости лет временной канал удерживать? Это ж какие усилия требуются!.. Но погоди, до Земли еще долететь надо.

Алексей лежал на диване, курил и смотрел в потолок. Звонили из издательства, звонили из журнала, звонил Семенов. Всем, видите ли, любопытно, как продвигается работа над нетленным произведением, над романом века. А она, представьте себе, никак не продвигает-

ся, она, представьте себе, стоит на месте, корни в стол пустила. Две главы есть, а дальше — пусто. Писать он, что ли, разучился?..

Вошла Настасья, забрала пепельницу, полную окурков, поставила чистую. Ушла.

Алексей крикнул:

— Настя, вернись!

Она возникла на пороге, прислонилась плечом к косяку.

— Ты почему молчишь? — спросил Алексей. — Обиделась на что-то? С утра как воды в рот...

— Мешать вам не хочу, — безразлично сказала она. — Вы вроде работаете...

— Именно «вроде», — усмехнулся Алексей, — не прикладая рук...

— А вы приложите. У вас, кроме рук, и голова есть. Голова да руки — что еще нужно?

— Слушай, Настасья, я все спросить хочу: почему ты в институт не поступила? Голова да руки — что еще нужно?

Настасья смотрела на него в упор, как расстреливала. За ту неделю, что она существовала в его доме, Алексей по привычке к ее взгляду, а поначалу ежился, отводил глаза.

— Я и не поступала, — спокойно сказала Настасья.

— То есть как? — опешил Алексей.

Тут она разрешила себе улыбнуться. Улыбка очень меняла лицо: каменное, резное — оно сразу оживало, даже глаза солнцем загорались. Короче: из статуи — в живую Галатею.

— Обыкновенно. Я туда пришла, а там все такие умные, все обо всем знают: какие-то серапионы, какой-то РАПП... А еще военных много, с орденами, как вы. Я и подумала: куда мне, деревенщине, равняться с ними? И ушла. Адрес Давида Аркадьевича у меня был.

— Вруша ты, Настасья, — сказал Алексей, доволь-

ный, что поймал девушку на вольной хитрости. — Все-то ты знаешь: и про РАПП, и про серапионов. Слышал, как ты Семенову отвечала, да он и сам мне сказал. Правда, в его стиле — о стирании граней... Сознайся, было?

— Было. Только эти грани я потом стерла, позже. А тогда, в институте, сразу решила: не мое это.

— А что твое?

— Мое? — Настасья помедлила с ответом. Алексей ждал. — Мое, Алексей Иванович, в другом. Отключить у вас в кабинете телефон, принести вам чай покрепче и не мешать, — она подошла к столу. — Я тут похозяйничала вчера, разобрала ваши бумаги. Здесь — все по делу, факты, цифры, вот в этих блокнотах, вот стопочка. А в этом блокнотике вы разные случаи записывали, тоже должно пригодиться. Ну а эти, — она подняла два потертых блокнота, — эти я уберу, чтоб глаза не мозолили. Ерунда здесь, пустое, вам не понадобится... Вставайте, Алексей Иванович, нечего зря валяться. Первые две главы у вас получились, я прочла, можно и дальше.

Алексей резко поднялся. Стоял злой.

— А кто тебе позволил подходить к моему столу? — чуть ли не рыком на нее.

А Настасья — как не слышала.

— Сама подошла, без разрешения, извините, если что не так. Но давайте договоримся: я к вашему столу не подойду, если вы от него отходить не будете. У меня свой стол есть, в кухне, — и пошла прочь. У двери обернулась: — Чай я вам принесу...

Алексей смотрел на письменный стол, на аккуратно разложенные — по темам! — записи, на стопку чистой бумаги, прижатую паркеровской ручкой, подаренной Давидом. Сказал с чувством:

— Вот стерва! — Но довольства в его голосе было куда больше, чем осуждения.

— Чтой-то я о нашем бое совсем запомнил, — проклянулся чертяка. — Пора его кончать, третий раунд на исходе.

И рука Алексея снова достала злосчастную бровь Пашки Талызина.

— Стоп! — крикнул рефери.

Поднырнувший под канаты врач долго осматривал разбитую бровь, промокал кровь ваткой, потом повернулся к судье, скрестил над головой руки, запрещая Талызину продолжать бой.

Рефери пошел по рингу, собирал у судей заполненные протоколы, Алексей стоял в своем углу, тренер снял с него перчатки, разматывал бинты.

— Молоток, — сказал тренер. — И нечего было чикаться. В финале ты Машкина запросто сделаешь, он совсем удара не держит...

А зал скандировал:

— Ле-ха! Ле-ха! Ле-ха!

Правда, кое-кто и свистел, не без того.

— Сейчас я тебе один разговорчик представлю, — сообщил черт. — Не отходя от кассы.

И во тьме египетской душа Алексея Ивановича услышала следующий диалог, по всей видимости — телефонный.

— Как он? — спросил Семенов.

— Погулять пошел, — ответила Настасья.

— Работает? — спросил Семенов.

— Все время, — ответила Настасья.

— Ну и что?

— Это будет очень хороший роман, — ответила Настасья.

— А когда? — спросил Семенов.

— В урочный час, — и Настасья засмеялась. — Не волнуйтесь, Владислав Антонович, все идет нормально.

Грубый Семенов не удержался, воскликнул:

— Везет же Лехе с бабами!

— С бабами — везло, — обрезала его Настасья, холодно сказала, жестко — как умела. — А теперь с женщиной повезло. Вы это запомните, Владислав Антонович, покрепче запомните.

И грубый Семенов сразу сник, проговорил согласно:

— Уже запомнил, Настя, записал на скрижалях...

— Не было такого разговора! — страстно вскричала душа Алексея Ивановича. — Опять сочиняешь, черт, хотя и правдоподобно!

— Ну, положим, был, — лениво отвечивал черт, — и, не исключено, слышал ты его, когда с гулянья вернулся. Слышал и из башки выкинул... Не в том дело. Давай, старик, решайся: куда тебя перебросить, пока я канал не отключил?

Взволнованная и трепетная душа Алексея Ивановича присела отдохнуть на краешек солнечной батареи станции «Салют». Внизу — или наверху? — плыла родная планета, виднелись до боли знакомые очертания Европы, на которую набежал очередной мощный циклон с Атлантики, пролил обильные дожди на подмосковные поселки, дачу Алексея Ивановича тоже не обошел...

— Верни меня обратно, черт, — тихо попросила душа.

Неуютно ей было сидеть на батарее, одиноко, пусто.

— Так я и знал, — мерзко хихикая, молвил черт. — Только зря энергию на тебя истратил. И это при всемирном энергетическом кризисе! Ладно, граждане, музей закрывается, экскурсантов просят не толкаться в гардеробе. Спасибо за внимание.

Алексей Иванович очутился на собственной тахтичке, на шотландском красивом пледике, разверз зеницы и уставил их на электронный хронометр. Все, как обещано: шестнадцать часов тридцать три минуты, пятница, июнь, тютелька в тютельку. Вот они — волшебные парадоксы странствий во времени! Что о них знают дураки-фантасты!..

Черт сидел на прежнем месте, под лампой, равнодушно взирал на Алексея Ивановича.

— Ты никуда не исчезал? — изумился Алексей Иванович.

— Еще чего! — невежливо ответил черт. — Мне и здесь неплохо.

— А как... — приступил было к вопросу Алексей Иванович, но черт все без слов понял, перебил:

— Тебе не понять: Нуль-транспортировка, прокол субпространства, квазиконцентрация суперэнергии... Привет, мне пора, иду со двора, кто еще не спрятался — я не виноват, — дурачился, хвостом бил, считалку какую-то приплел не по делу.

— Но поговорить, поговорить!

— Вечером. После погоды. А сейчас, старик, тебе надо отдохнуть, прийти в себя, обдумать увиденное. Да и Настасья скоро явится.

— Она в Москву уехала.

— Размечтался! Передумала она. Увидела у магазина какую-то мадам, тормознула и поехала к ней кофий глушить. Через часок будет, помани мое слово... Ну, до побачення, — сказал почему-то по-украински и исчез.

А Алексей Иванович и вправду заснул.

Разбудила его Настасья Петровна, и было это ровно через час, черт не ошибся. Ворвалась в кабинет, поцекотала за ухом, как котяру какого.

— Вставай, соня, царство небесное проспишь.

Знала бы она, в каких таких царствах небесных транствовал ее муж, вернее, душа мужа!

— Ты же в Москве, я слышал.

— Представляешь, не доехала. У магазина стояла Анна Андреевна, помахала мне, и мы к ней завернули. Вроде бы на минутку, у нее «Бурда» новая, а получилось на час... Спускайся вниз, Таня чай собрала.

Алексей Иванович еле поднялся с тахты: чувствовал себя усталым и побитым, будто и впрямь отмахал расстояние от Земли до Тау Кита. Давило затылок. Отыскал в тумбочке коробку стугерона, проглотил сразу две таблетки. Зашаркал по лестнице, держась за перила. Перила предательски пошатывались, и Алексей Иванович мимоходом подумал, что надо бы позвать столяра, пусть укрепит. А то и свалиться недолго.

Скорая на руку Таня кремовый торт сварганила, и от обеденного пирога половина осталась.

— Что-то чувствую себя хреновато, — пожаловался Алексей Иванович, тяжело усаживаясь на стул. — Давление, что ли?

— Циклон с Атлантики, — объяснила Настасья Петровна.

— Видел, — проговорился Алексей Петрович, потому что, как мы знаем, действительно видел циклон, но Настасья Петровна оговорку во внимание не приняла, спросила:

— Померить давление?

— Потом. Я таблетки принял.

Странно, конечно, но Настасья Петровна нарушила ритуал, села за стол рядом с мужем. Однако с другой стороны, чай — не обед, зачем по пустякам политесы разводить?

— Мне тортику можно? — тихонько поинтересовался Алексей Иванович.

— Съешь кусочек, — Настасья нынче была — сама доброта. — Кстати, я Давиду позвонила: они переозвучат, нет проблем.

— Зачем, Настасьюшка? Я же тебя просил... Какая разница: эпохальный, гениальный, видный, заметный?

Я от этого лучше не стану, хуже тоже. Помнишь, в песне: стремиться к великой цели, а слава тебя найдет?

Настасья Петровна отколупнула серебряной ложечкой кремовую розочку, подозрительно осмотрела ее и отправила в рот. Алексей Иванович, в свою очередь, осматривал интеллигентно жующую Настасью, интеллигентно пьющую жасминовый чай из фарфоровой китайской чашечки, осматривал жену пристрастно и сравнивал с той, что явилась к нему час назад, а точнее, сорок лет назад, и, если верить поэту, как с полки жизнь его достала и пыль обдула. Постарела — факт, пополнила, отяжелела, косу давным-давно сбросила, поседела, но не красилась, не скрывала седину. И лицо стало грузным, только глаза навеки сохранили свою озерную глубину, молодыми были глаза, не властно над ними время. Когда-то — деревенская девушка, барышня-крестьянка, теперь — светская дама, попробуй подступишь!..

Она аккуратно поставила чашку на блюде.

— Слава, Алешенька, дама гордая, независимая, сама по клиентам не ходит. Ее завоевать нужно, любовь ее, а завоевав, держать изо всех сил.

— У меня нет сил, — сообщил Алексей Иванович.

— У тебя нет, — согласилась Настасья Петровна. — Зато у меня пока есть.

Алексей Иванович торт докусал, губы салфеткой утер и спросил — скромник из скромников:

— Настасьюшка, а ты у меня дама гордая?

— Что ты имеешь в виду? — зная мужа, Настасья заподозрила некий подвох.

— Ты ко мне сама пришла, я тебя не завоевывал.

— Не говори глупостей, — вроде бы рассердилась Настасья Петровна, но Алексей-то Иванович за сорок лет жену — на зубок и сейчас понял: реплика проходная, своего рода кошачий удар левой в перчатки, если пользоваться боксерскими аналогиями, своего рода

отвлекающий маневр с хитрой целью вызвать атаку, заставить противника раскрыться.

А чего ж не раскрыться?..

— Хочешь, напомним твои первые слова, когда вы с Давидом пришли?

— Напомни.

То ли еще один тычок левой, то ли и впрямь забыла...

— Давка сказал: «Полюби его, Настюха, не ошибешься». А ты ответила: «Попробую».

— Ну и что? Попробовала и полюбила. Не ошиблась.

— Настасьюшка, я тебя никогда ни о чем не спрашивал. Сегодня впервые. Скажи честно: как вы тогда с Давидом договорились?

Настасья Петровна с шумом отодвинула стул и поднялась — этакой разгневанной Фелицей.

— Я тебя не понимаю, Алексей. И разговор мне неприятен, продолжать его не желаю.

Алексей Иванович смотрел на жену снизу вверх и благостно улыбался.

— Не желаешь — не надо. Извини, родная... Только замечу: свою славу я еще до войны зацепил. Сам. И представь — удерживал.

Настасья, которая Алексея Ивановича тоже вдоль и поперек изучила, услышала в его тихом воркованье нечто опасное, нечто, быть может, грозное, пахнущее бунтом на корабле, что заставило ее мгновенно сменить роль, перестроиться на ходу, выдать примиряющее:

— Сам, конечно, кто спорит?.. — и с легкой горечью: — Просто я думала, что была тебе помощницей, а выходит... — в душевном расстройстве махнула рукой, безнадежно так махнула, пошла из гостиной.

И Алексей Иванович всполошился, вскочил, догнал жену — она ему позволила себя догнать! — схватил за руку.

— Ну, не сердись, Настасьюшка, осел я старый...

Сон мне приснился пакостный, ерунда всякая — «из раньше».

Настасья остановилась, повернулась к мужу, пристально посмотрела в его виноватые глаза, проверила: действительно ли виноватые, не ломает ли комедию? Потом поцеловала в лоб, как клюнула, сказала настаивательно:

— Никогда не верь снам «из раньше». Они врут. И воспоминания тоже врут. Что было, то было, а все, что было — было хорошо.

— Очень много «было», — машинально заметил Алексей Иванович, имея в виду тавтологию в Настасьином афоризме.

А Настасья Петровна поняла по-своему:

— Верно, много. Но все — наше. Общее. Твое и мое... — и вдруг смиростивилась, пошла на уступку: — Хочешь, я опять Давиду позвоню, скажу, чтоб ничего не делал?

— Позвони, Настасьюшка, прошу тебя. Мне так спокойнее.

И Алексей Иванович почувствовал себя победителем.

Но вот вам парадоксы человеческой психики: Настасья Петровна тоже чувствовала себя победительницей. В самом деле, какая разница: видный, заметный, гениальный, талантливый? Все это — слова. А дело-то давным-давно сделано.

— Выходит, зря путешествовал? — ехидно спросил черт, когда Алексей Иванович, отсмотрев программу «Время», поднялся к себе и привычно устроился в кресле у письменного ветерана-работяги.

— Не зря, — не согласился Алексей Иванович, закуривая тайную вечернюю сигарету и пуская дым прямо в чертячью рожу. Но тот и не поморщился: дым для него — одна приятность. — Спасибо тебе, черт.

— За что? — черт искренне удивился. — Просил

вернуть молодость, жаждал остаться на той полянке, а все ж воротился? Как-то не по-фаустовски получается...

— Прожитого не исправишь. А спасибо — за вновь пережитое.

— Как не исправишь? Ты же хотел разрушить музей...

— Поздно, черт. Силы не те, воля не та. Да и музей уже — не только мой.

— Значит, все будет по-прежнему: большой человек, повелитель бумаги?..

— Не трать зря иронию: я себе цену знаю. Сам утверждал: ты — это я. И наоборот.

— Вроде как большая совесть писателя?

— Больная, черт. Ты же вернул мне лишь те мгновенья, которые и вспоминать-то больно.

— А приход Настасьи?

— Разве что это... Так она и сейчас со мной.

— Ну, а не оставил бы ты ее у себя, ушла бы она тогда?

— Ничего бы не изменилось, черт. Она — это тоже я, только писать не умеет.

— Выходит, будем доживать?

— Много ли осталось?

— Верно, немного, — со вздохом согласился черт. — Только холодно у тебя в музее, — поежился, передернул плечами.

— Хочешь, я лампочку посильнее вверну? — заботливо спросил Алексей Иванович.

— Не надо. Дай-ка мне сигаретку, подымлю с тобой, — щелкнул пальцами — между ними возник синий огонек. Черт прикурил, затянулся, пустил дым кольцами. — А ничего табачок, приятный... Так что у нас там с погодой?

— Сам знаешь: циклон. Область низкого давления, обложные дожди, температура — шестнадцать по Цельсию.

— Совсем в этом году лета нет.

— И не говори! Одно расстройство...

Сигаретный дым плавал по комнате, внизу шептал телевизор, ветер раскачивал деревья в саду, космическая станция «Салют» совершала очередной виток вокруг дождливой планеты, где-то в созвездии Кита готовилась вспыхнуть сверхновая, свет от которой, если верить астрономам, дойдет до нас еще очень-очень не скоро.

СОДЕРЖАНИЕ

СТЕНА (*повесть*)
5

НЕФОРМАШКИ (*фантазмагория*)
87

СТОП-КРАН (*театральная фантазмагория*)
195

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ (*повесть*)
283

Абрамов С. А.

А 16 Новое платье короля : Повести. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 364[4] с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

ISBN 5-235-00857-X

В книгу вошли четыре повести Сергея Абрамова. Фантастика в них — всего лишь прием, позволяющий писателю войти в мир личных и общественных отношений, показать их сложность, противоречивость, особенно в наши дни, когда в стране происходят перемены.

А $\frac{4702010201-034}{078(02)-90}$ 136—90

ББК 84Р7

ИБ № 6431

Абрамов Сергей Александрович

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ

Заведующий редакцией В. Щербанов

Редактор В. Родинов

Художник М. Туровский

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор З. Ахметова

Корректоры Н. Хасаия, Т. Пескова

**Сдано в набор 05.09.89. Подписано в печать 24.11.89.
Формат 70×108^{1/32} Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,1. Усл. кр.-
отт. 16,45. Учетно-изд. л. 16,6. Тираж 100 000 экз. Цена
1 р. 30 к. Заказ 2176.**

**Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцеская, 21.**

ISBN 5-235-00857-X